

АНДРЕЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

ПОБЕГ С ВЕРТИКАЛИ



«...Это поле было вертикальным -
оно действовало, как смерч,
вырывая человека из того пространства,
которое называется обыденной жизнью -
то есть жизнью в каждодневном труде,
семейных заботах,
общении с близкими.

Господствующая вертикаль
втягивала в себя, порождая
отвращение к «рутине»,
заставляя отказываться от каких-либо
усилий,

направленных на
сферу личного бытия, -
напомню, «русскому
интеллекту и
счастья-то личного
не нужно».

Уделом того,
кто попал в это поле,
оказывалась борьба
за всеобщее счастье -
«и будет новая земля
и новое небо».



АНДРЕЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

ПОБЕГ С ВЕРТИКАЛИ

Исторические очерки.

Эссе.

Воспоминания



Псков 2005

ББК 83.3 (2 Рос=Рус)6
Л 162

Левандовский А. А.

Л 162 Побег с вертикали: Исторические очерки. Эссе.
Воспоминания. – Псков, 2005. – 456 с.

ISBN 5-94542-145-6

© А. А. Левандовский, 2005

© ГП «Псковская областная типография», 2005

Необходимое объяснение

«...тонко чувствует и умеет это передать. Но – почему он, гад, не пишет??? Баська».

Это написано обо мне. На интернетовском sachk-e. Вообще-то, волею судеб и характера, я остался вне технического прогресса, не сумев наладить отношения даже с пишущей машинкой. О компьютере и говорить не приходится – у нас с ним отвращение друг от друга взаимное; сидел я как-то перед этим чудищем – знаю... Поэтому интернетовская стихия для меня – чистая абстракция; листочек с распечаткой той части sachk-a, которая относится непосредственно ко мне, я совсем недавно получил от одного доброжелателя. Нет никакой необходимости делать вид, что мне безразлично то, что там написано, – совсем безразлично, потому что пишут – свои, хотя со многими из них я, очевидно, не знаком лично. Все равно: студентов чужих не бывает. Если я с кем и готов объясняться, то именно с ними. В силу того как сложилась жизнь, для меня это почти то же самое, что объясняться с самим собой. Давно собирался...

Так вот, уважаемая Баська, в целом, вы, со своей энергичной формулировкой, почти правы. Писать-то я пишу, у меня даже книги кое-какие есть, но кто их помнит, кроме нескольких любителей?.. Давно все это было, в другой жизни. В последнее время я пишу действительно мало и на вопрос «почему?» ответить, кажется, готов (сразу же отбросив житейские неурядицы, необходимость подработок, изрядную лень и отсутствие внутренней дисциплины и многие другие вторичные, маловажные и искусственные причины, сиречь отговорки). Есть одно решающее обстоятельство, не позволяющее мне сейчас работать так интенсивно, как хотелось бы (писать я, вообще-то, люблю).

Видите ли, уважаемая Баська, со мной с годами, очевидно, происходит то же самое, что со многими людьми, кото-

рые на протяжении всей своей жизни занимались одним делом – пусть и не очень усердно и успешно. Это дело – если оно, конечно же, по-настоящему твое – неизбежно проникает в душу и становится ее частью – все более важной, значительной, определяющей, наконец. И душа твоя, соответственно, все в большей степени начинает проявляться именно в том, что ты делаешь, строишь, растишь, в данном случае – пишешь. Во всяком случае должно быть именно так. Но это «должно быть» не реализуется ведь автоматически.

Ремесло историка, если относиться к нему именно как к ремеслу, требует вполне определенных качеств: добросовестности, эрудиции, большой работоспособности и так далее. В молодые годы я искренне пытался всему этому соответствовать и, скажем, своей кандидатской диссертацией, опубликованной четверть века назад, по-моему, могу гордиться – она вполне отвечает высоким критериям академической науки. Но только вот гордиться я ей могу, а перечитывать – нет: скулы сводит...

Если же история становится частью твоего духовного бытия, то всего этого уже мало – ты неизбежно начинаешь стремиться к тому, чтобы создаваемые тобой тексты были твоему бытию адекватны. Ты самовыражаешься... А вы, уважаемая Баська, представляете, как это трудно – самовыражаться? Это нелегко даже на уровне обыденного трёпа – выразить себя, ничего не исказив. Что уж тут говорить о скольконибудь серьезном научном исследовании! Вот попробуйте для интереса – хотя бы на уровне курсовой.

Мне хочется, чтобы мир хоть немного узнал именно меня, неповторимого, не похожего на всех остальных. И, поверьте, уважаемая Баська, дело здесь не в гордости, а всего лишь в том, что называется личным достоинством, – в качестве, без которого человека как такового, собственно, и нет. К текстам своим я отношусь очень серьезно, и поскольку особыми талантами Бог меня не наградил, работаю медленно, многому раз переделываю написанное, и на выходе в результате получается всего ничего.

...Но, может быть, птенчик, то есть уважаемая Баська, если этот сборник попадет к вам в руки и вы его полистаете – вдруг Вам да понравится что-то? Это было бы ценно...

Предисловие

Предлагаемый читателю сборник состоит из трех частей, которые, совершенно очевидно, неравноценны. Это естественно – время-то сумасшедшее, мир меняется на глазах, и я вместе с ним.

От прошлого в сборнике вторая часть – «Государственная вертикаль». Она состоит из очерков, которые явились результатом многолетней работы – лекционной, семинарской, исследовательской. В них достаточно ясно выражено мое представление об общем ходе исторического процесса в России – то представление, которое складывалось десятилетиями и которое сейчас этот самый исторический процесс подвергает самому серьезному испытанию на прочность...

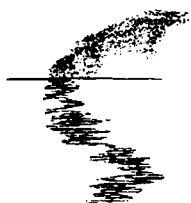
Для меня нынешнего наиболее важны и дороги очерки, вошедшие в первую часть – «В зеркале мифа». В них я пытался не только освоить новые для себя проблемы, но и по-новому взглянуть на историю моей страны и, следовательно, на себя самого. О результатах мне судить трудно, но работа над «Зурбаганом» или «Последней заставой» иногда доставляла мне удовольствие, ранее никогда не испытываемое; писать было интересно...

Третья часть – «Ученая республика» – носит самый личный характер, потому что посвящена тому пространству, которое называется Университет и в котором прошла вся моя сознательная жизнь. Частично она состоит из очерков, посвященных тем людям, которые, на мой взгляд, наиболее полно воплощали в себе университетскую идею, а частично... Именно в этом, 2004 году я впервые понял, что пришло время писать мемуары.

При всей разнородности содержания сборника в нем, я надеюсь, есть некий стержень (см. выше «Необходимое объяснение»).

Глубокую благодарность выражаю С. А. Биговчому – без него вся эта мозаика так и осталась бы безнадежно рассыпанной.

В ЗЕРКАЛЕ МИФА



МИФ КАК СРЕДСТВО

Проблема, заявленная в названии, представляется чрезвычайно важной вообще; для России же – в особенности. Миф как средство легитимации использовался здесь властью постоянно и до недавнего времени с неизменным успехом. Однако именно в последние годы стало очевидно, что это оружие в значительной степени сработалось: миф о власти, на протяжении веков обладавший огромной силой воздействия на массы, именно сейчас, на наших глазах, теряет своё обаяние, всё в большей степени обретает свойство анекдота (и анекдота скверного...) – иными словами, превращается в псевдомиф¹.

На то есть глубинные, органичные причины, в которых я и попытаюсь разобраться. Но для этого неизбежно придётся совершить краткий экскурс в прошлое – проследить, хотя бы в общих чертах, историческую судьбу мифа о власти в России. Это тем более необходимо, что, по моему глубокому убеждению, мы не только жили на протяжении многих веков, но и сейчас продолжаем жить в объятиях одного и того же мифа. Он лишь несколько видоизменяется внешне, в полной мере сохраняя свои сущностные черты.

Господствующий миф: цель – повиновение

Этот миф, очевидно, стал оформляться на рубеже XV–XVI вв., одновременно с завершением объединения русских земель вокруг Москвы, свержением татаро-монгольского ига, зарождением дворянства, началом закрепощения крестьян и т. п. Иными словами, миф о власти родился именно

тогда, когда в нём возникла необходимость – в процессе создания принципиально нового, единого, централизованного государства. Этот вполне реальный процесс, охвативший сферу внутренней и внешней политики, социальных и хозяйственных отношений, неизбежно должен был сказаться и в сфере идеологии. В своё время В. О. Ключевский очень хорошо показал постепенность и вместе с тем неизбежность происходивших здесь перемен: «Страна, населённая целым народом, для которого она стала отечеством, соединившимся под одной властью, не могла оставаться вотчинной собственностью носителей этой власти. В Москве заявляли притязание на всю Русскую землю как на целый народ во имя государственного начала, а обладать ею хотели как вотчиной на частном удельном праве. В этом состояло внутреннее противоречие...». И далее: «...С тех пор, как обеспечен был успех московского собирания Руси, в Иване III, его старшем сыне и внуке начинают бороться вотчинник и государь, самовластный хозяин и носитель верховной государственной власти»².

Младшей ветви дома Рюриковичей, за 200 лет до описываемых событий взявшей старт с ничтожно маленькой площадки – миниатюрного Московского удела, – необходимо было обосновать своё великодержавие... Именно в это время появляется целый комплекс мифов, на основе которых постепенно складывается единая мифологема, надолго – на века – ставшая определяющей для русской государственности. В самом начале XVI в. возникает «Сказание о князьях Владимирских», утверждавшее вековечность московской династии, возводя её происхождение в незапамятные для русского человека времена – в древний Рим, к императору Августу. Практически одновременно с этим Иосиф Волоцкий разрабатывает теорию божественного происхождения царской власти, «созданной по подобию небесной»³. Наконец, тогда же в посланиях старца Филофея Москва провозглашается Третьим Римом, а московские государи – преемниками византийских императоров в святом деле защиты истинной христианской веры. Иван Грозный не только

реализует эти идеи на практике, венчаясь на царство, сам становясь кесарем, но и продолжает развивать их в своей переписке с князем Курбским, доводя до предела, рассматривая любое сопротивление царской власти как оскорбление Божией воли: «Не полагай, что это справедливо – разъярившись на человека, выступать против Бога...»⁴.

Именно Грозный столь же последовательно довёл до логического конца и другое определяющее направление мифа. Его знаменитое «А жаловать мы своих холопов всегда были вольны, вольны были и казнить»⁵ как нельзя лучше выражало идею равенства всех – вне зависимости от сословной принадлежности – перед верховной властью. Самодержавие в процессе своего становления декларировало самое себя как источник высшей справедливости. Вера в подобную «надсословную» справедливость поддерживалась в частности такими актами верховной власти, как её борьба с новгородским боярством при Иване III и со всем боярством в целом при том же Грозном, – в массах возникало устойчивое ощущение, что на богатых и знатных появилась, наконец, управа...

Таким образом, уже на рубеже XV–XVI вв. закладываются основы мифологемы, устойчиво порождающей те настроения, которые в советской историографии определялись как «царистские иллюзии». Царская власть в народном сознании представлялась чуть ли не извечной, уходящей корнями своими в незапамятные времена; она была освящена Божьей волей, в соответствии с которой царь вел своих подданных по особому, Богом избранному – и, следовательно, единственно верному – пути. На этом пути царь побеждал внешних врагов, собирал воедино разрушенные земли, наводил порядок внутри страны, заботясь отнюдь не о тех или иных избранных сословиях, а о всем народе в целом. Как писал юрист М. Зызыкин, известный в русских эмигрантских кругах 1920-х гг. авторитет по вопросу о легитимности царской власти, «идея царя строителя земли, царя земского вместе с идеей царя хранителя веры окончательно преобладает над идеей хозяина-вотчинника»⁶.

В дальнейшем – в трудах Юрия Крижанича и Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича, Н. М. Карамзина – вплоть до уваровской теории «официальной народности» – шла разработка отдельных положений мифа, тех или иных его деталей – не более того. Главное было сказано уже в XVI в. Уже в это время совершенно чётко определилась суть мифа, на протяжении нескольких веков господствовавшего в России: он буквально обожествлял существующую власть, превознося её не только как лучшую из возможных, но как единственно возможную в России. Эта власть брала на себя полную ответственность за всё происходящее в стране. От тех же, кто не входил во властные структуры, требовалось одно: безоговорочное повиновение. С прозрачной ясностью этот основной принцип бытия любого россиянина был сформулирован уже в XIX в., в годы правления Николая I – истинного апофеоза самодержавия – жандармским генералом Л.В. Дубельтом: «...Ежели можно жить где-нибудь счастливо, так это, конечно, в России. Это зависит от себя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь нигде такой свободы, как у нас, и проведёшь жизнь свою, как в царствии небесном»⁷.

Столь удивительная стабильность и в то же время статичность мифологемы конечно же не случайна. Миф пал на «добрую почву». Ведь он был не просто навязан сверху, а имел серьёзную и сложную взаимосвязь с реалиями русской жизни: московские князья, а затем русские цари действительно защищали православную веру, собирали земли, наводили порядок. Естественно, попадая в пространство мифа, эти реалии искажались самым причудливым образом – но, тем не менее, они были... Свою основную задачу – легитимации верховной власти – миф «отрабатывал» как нельзя лучше на протяжении нескольких столетий. Ситуация изменилась лишь к концу XIX и особенно к началу XX века.

Миф – оппозиция; цель – революционный взрыв

Пережив реформы 1860-х гг., Россия начала меняться со стремительной быстротой. Процесс перемен всё в большей степени принимал обвальный характер: рухнуло крепостное право, на глазах стали расползаться, деформироваться чрезвычайно устойчивые прежде сословные структуры, резко вырос процент городского населения, не менее резко – процент грамотных. Естественно, что все эти перемены оказывали мощное воздействие на мировоззрение как высших слоев, так и народных масс, затрагивали самые глубинные пласты сознания и, в конечном итоге, подрывали самые основы господствующей мифологемы.

Помимо этих вполне объективных обстоятельств, способствовавших крушению старого мифа, были и другие. Чрезвычайно важную роль в этом процессе сыграла российская интеллигенция. Можно сказать, что духовно эта удивительная общность родилась накануне эпохи реформ, в противостоянии с одной из самых ярких и законченных форм господствующей мифологемы – теорией «официальной народности». Главной целью создателей этой теории – прежде всего С. С. Уварова, на протяжении 16 лет занимавшего пост министра народного просвещения при Николае I, – было воздействие на умы образованных людей постулатом «самодержавия, православия, народности», с тем чтобы загнать их в существующие государственные и социальные структуры, заставить безропотно принять российскую действительность, раствориться в ней... Новорожденная же интеллигенция в лице своих лидеров – Белинского, Грановского, Герцена – решительно противостояла этому напору, стремясь вырваться из объятий традиционного мифа, увести за собой образованное общество, а в отдалённой перспективе – и весь народ.

На эту характернейшую черту – рождение и становление интеллигенции в постоянной борьбе, во всё нарастаю-

щем противостоянии с властью – следует обратить особое внимание. Вспомним, что в николаевской России весь пафос господствующей мифологемы заключался в предельной идеализации существующего положения вещей. Основной же, стержневой идеей зачинавшейся интеллигентской мифологии, вне зависимости от её позитивного содержания, был революционный акт, разрушение и низвержение существующего. В отличие от мифологии власти, разрабатывавшейся на основе реального бытия России, интеллигентская мифологема была результатом весьма болезненного и опасного процесса – отчуждения от российской действительности. Именно эту черту Герцен справедливо выделял как главную у всех своих единомышленников в 1840-е гг.: «Глубокое отчуждение от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из неё, а у некоторых порывистое желание вывести и её самое»⁸. Доказательством тому служат слова Белинского, подобных которым людьми 1840-х было сказано и написано во множестве: «Говорят: отрицание убивает верование. Нет, не убивает, а очищает его». Только через отрицание можно прийти к «той истинной любви к Отечеству», которая «должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину – значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества...»⁹.

Итак, к «идеалу человечества» через непримиримое отрицание существующего – реальной России. Подобный подход был характерен для подавляющего большинства русской интеллигенции – на всех уровнях сознания, на всех уровнях деятельности. При этом «идеалы» – различные у разных интеллигентских групп – всегда были достаточно туманны и умозрительны; отрицание же – максимально конкретным и жестким. Именно на нём заквашивалась принципиально новая мифологема, определявшая путь ко всеобщему благоденствию, как грандиозный революционный катаклизм, переворот, который изменит всё. «...И будет новая земля и новое небо» – в данном случае это цитата не из Апокалипсиса, а из Белинского¹⁰.

Особенно ярко эта капитальнейшая черта новой мифологии проявилась в первое пореформенное десятилетие, когда определяющей фигурой русской общественной жизни стал нигилист, когда в честь духовного и социального отщепенства слагались восторженные гимны: «Есть люди, поклявшиеся жить свободно... Они не хотели смешаться с толпою и взять в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни была им невыносима... Отщепенцы – спокойные безумцы, восторженные труженики... Отщепенцы – беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь знамя...»¹¹.

Естественно, что интеллигенция разрабатывает и позитивную сторону своей мифологии. На рубеже 1860–1870-х гг. появляются народники с их идеалами общины и народовластия, в 1880-х – марксисты, сделавшие ставку на рабочий класс; постоянно, с эпохи реформ, существуют либералы, видевшие панацею от всех бед в законности и конституции. В наши задачи, естественно, не входит анализ политических программ по реальному переустройству России. Отметим лишь, что все они носили достаточно групповой характер, разделялись лишь частью интеллигенции и, главное, находили очень слабый отклик в народных массах. А вот надежда (нередко подсознательная) на кардинальный перелом, переворот, взрыв как на единственную в своем роде социальную силу, способную разрушить ненавистное бытие и открыть путь в светлое будущее, – подобная надежда согревала большую часть интеллигенции.

В тисках мифологем

Таким образом, реальная Россия попала в воистину железные тиски, созданные двумя мифами диаметрально противоположной направленности. Один, господствующий, трактовал истерзанную серьезными проблемами страну как

край всеобщего благоденствия и был нацелен на сохранение существующего положения вещей, постулируя бесприкословное повиновение власти. Другой, революционный, обещал это благоденствие после грандиозного переворота во всех сферах русской жизни, нацеливая массы на отчаянную борьбу с властью за это предполагаемое светлое будущее. В жуткий зазор, образованный непримиримыми мифологемами, неизбежно попадали те, кто пытался рассуждать взвешенно и прагматично, исходя именно из реалий русской жизни. Хорошо известна печальная (с карьерной точки зрения) судьба либеральной бюрократии 1860-х, М. Т. Лорис-Меликова, С. Ю. Витте, пытавшихся решать проблемы путём постепенных, последовательных преобразований. Невостребованность или непопулярность, в свою очередь, была уделом тех представителей интеллигенции, которые пытались противодействовать революционным идеям в своей среде, – таких как Б. Н. Чичерин в 1860-х гг. или П. Б. Струве в начале XX в.¹²

Естественно, что царское правительство приняло интеллигенцию за абсолютное зло, а та ответила своему противнику полной взаимностью. Уже в 1860-х гг. её представители начинают действовать по принципу «клин клином вышибают». Вся мощная негативная сила созданного ею мифа о «революционном обновлении» была направлена на ниспровержение господствующей мифологемы. В сфере реального бытия это нашло своё яркое выражение в той беспощадной охоте на царя-реформатора, которую развязывают народовольцы. И точно так же господствующая власть начинает трактовать образованное общество как источник чуть ли не всех зол, обрушивая на него разнообразные репрессии.

В конце XIX и особенно в начале XX вв. борьба мифов становится поистине всепоглощающей. И в этой борьбе все преимущества были на стороне революционной мифологемы – хотя бы потому, что она воспевала никому неведомое будущее, обличая настоящее. Господствующий же миф, направленный на идеализацию переживавшей страшный

кризис реальной России, всё в большей степени изживал себя, превращаясь в псевдомиф, искусственно навязываемый сверху. Всё большая часть россиян теряет «царистские иллюзии», приобретая новые, попадая под обаяние мифа «революционного обновления». В 1905–1907 гг. эта борьба выплескивается на улицы и площади российских городов, определяя собой содержание митинговых речей и газетной публицистики – уже в легальной, расходящейся многими тысячами экземпляров печати, – ход забастовок и думских заседаний. Подавление революции отнюдь не было идентично восстановлению власти старого мифа. Напротив, он всё в большей степени терял своё обаяние, терял поклонников и в годы несчастной для страны войны сгинул, казалось, окончательно – вместе с последним царем и всей верной ему старой Россией. Революционная мифологема одержала безоговорочную победу.

Новая власть сумела использовать миф «революционного обновления» в полную силу. Нет сомнений, что и сами лидеры большевиков были поначалу захвачены ими. Свидетельством тому могут быть и ленинские мечты об отмирании государства, и соответствующие меры большевистского правительства в первые послереволюционные дни: замена армии ополчением, полная ликвидация карательных структур старого режима, выборность судей и проч. Да и знаменитый декрет о «рабочем контроле» вполне отвечал духу новой мифологемы. Далее, как известно, реальный ход событий заставил большевиков создать грандиозную армию, организовать ВЧК, поставить всю промышленность под безоговорочный контроль государства. Миф в то же время продолжал жить и воздействовать на массы.

Через ужасы грандиозной войны, голод, холод, нищету, через беспощадную борьбу с врагами – в царство справедливости и всеобщего благоденствия... Нехитрая формула была быстро усвоена значительной частью населения страны и послужила не только основой легитимации власти большевиков, но и оправданием всех вышеназванных ужасов и жестокостей, в значительной степени идущих именно

от неё – как неизбежной, искупительной платы за будущее благоденствие.

То, что этот миф был тогда «живым», находил опору в сознании масс в не меньшей степени, чем в своё время миф о «добром царе», доказывает сама судьба новой власти, не имевшей, казалось бы, никаких шансов победить своих многочисленных врагов – и победившей; выбраться из практически полной, невероятной разрухи – и в короткий срок успешно восстановившей экономику. Естественно, что не в этом очерке мы будем выяснять соотношение между значимостью мифа и реальной политикой большевиков, но то, что новая мифологема сыграла роль из ряда вон выходящую, – в этом, на наш взгляд, не может быть сомнений. Массовые проявления героизма в годы гражданской войны на фронтах и «революционного энтузиазма» – тогда же – в тылу и после, в годы восстановления хозяйства, постоянная поддержка со стороны масс, которую большевики ощущали, невзирая на свою, нередко изуверскую, политику, – всё это трудно объяснить только ненавистью к белым, гением Ленина, хорошей организацией новой власти и пр. Многие события тех лет вообще плохо поддаются рациональному объяснению – как это бывает всегда, когда в историю вторгается мифологема – да ещё с такой силой.

Итак, миф о Богом избранном царе, хозяине земли русской, воплощении порядка и законности, ведущем свой народ по единственно верному пути, сменил миф о трудовом народе, который, совершив Великую революцию, в лице лучших своих представителей взял власть в свои руки – с тем чтобы идти опять-таки по единственно верному пути в светлое будущее... Самое уязвимое звено этой мифологемы было в определении «лучших представителей» – как известно, «диктатура пролетариата» изначально представляла собой диктатуру партии, в руководстве которой представительство от рабочих имело чисто декоративный характер. Но это противоречие легко снималось формулой «последовательных защитников интересов трудящихся», страдавших за эти интересы при царском режиме, сражавшихся за них в годы Гражданской войны. С другой стороны, в мас-

сы последовательно внедрялась мысль о духовной и более того – бытовой близости с ними вождей, и прежде всего самого Ленина: да, это гениальный человек, но одновременно с этим он – «прост как правда», предельно скромен в своих потребностях и т. п. Ну и наконец период диктатуры постулировался как переходный к тем благословенным временам, когда «каждая кухарка сможет управлять государством».

Таким образом, миф «работал» – до поры до времени...

Скрытое родство

Здесь необходимо сделать небольшое отступление: хорошо известно, что большевистские лидеры, воспользовавшиеся в полной мере плодами победы над старой властью, не только составляли незначительную часть «идейной» интеллигенции, но и изначально играли в её среде роль своего рода изгоев. Если попытаться выяснить причины этой духовной изоляции – которая, впрочем, большевиков не только не смущала, но, скорее, наполняла гордостью, – то основной из них, на наш взгляд, будет следующая: в отличие от большинства прочих представителей этой общности большевики никогда ни в грош не ставили так называемые демократические начала – выборность, свободу дискуссий, автономность личности и т. п.

Я ни в коем случае не собираюсь идеализировать в этом отношении всю интеллигенцию в целом. Её вполне реальные и постоянно проявлявшиеся доктринёрство, интеллектуальное высокомерие, снобизм и т. п. – всё это имело место быть, и всё это – тема для особого разговора. Но в идеале интеллигенция была настроена на взаимопонимание с себе подобными, на терпимость и поиски компромисса, на уважение к личности. Большевиками же все эти качества изначально воспринимались как нечто сугубо отрицательное, как проявление «гнилой» интеллигентности.

Роль Ленина в консолидации подобной силы невозможно переоценить. Вождь, как известно, был беспощаден к идей-

ным врагам и совершенно безапелляционен в их определении. Чуткий и дельный современник, хорошо знавший Ильича и на себе испытавший, что означает его принципиальность, совершенно справедливо, на мой взгляд, проводил сравнение между Лениным и лидером меньшевиков Мартовым: «Это два разных психологических типа. С тем и другим пришлось обсуждать одни и те же вопросы, а какая разница в подходах к ним. Мартов прежде, чем их откинуть, хочет понять. Ленин же... считает, что надо лепить бубновый туз, даже не разбираясь; Мартов говорит – нужен не наскок, а серьёзная критика, Ленин же, очертив вокруг себя круг, всё, что вне его, топчет ногами, рубит топором. И опять, уже не первый раз, меня укусила мысль: большевик ли я...?»¹³. Конец цитаты не случаен: вождь подбирал партию под себя. Горе инакомыслящим...

Подобные деятели, беспощадные и нестигаемые, были среди интеллигенции всегда – и всегда были в меньшинстве. Ленин, вне всяких сомнений, был законным продолжателем той линии, которая пунктиром пробивается через всё русское общественное движение XIX – начала XX вв.: Пестель, Нечаев, Ленин... Представители этого направления решительно отбрасывали (или отодвигали на задний план) идеи народовластия, парламентаризма, правового государства и пр. Вместе со всей интеллигенцией они стремились к революционному взрыву – и вместе с тем желали этим взрывом управлять. Речь шла не только и не столько о том, чтобы «освободить массы от векового гнета», сколько о том, чтобы задать им нужное – с точки зрения идеологов – направление, не стесняясь при этом применения насилия. Для нас чрезвычайно важно отметить, что в данном случае создатели новой мифологии обнаруживали совершенно неожиданную, на первый взгляд, взаимосвязь с поклонниками старой: ведь в сущности, уничтожая последнего царя со всей его семьёй, они в конечном итоге стремились занять его место... В большевистской интерпретации «революционное обновление» в конце концов неизбежно должно было привести к новому «доброму Царю»

(Вождю, Хозяину – как угодно, но обязательно с большой буквы), который, обладая всей полнотой власти, будет собирать земли, защищать пределы, а главное – наводить порядок внутри страны. Новая мифологема в большевистской интерпретации, таким образом, не уничтожала старую не-возвратно, а становилась лишь средством к тому, чтобы «перехватить» старый миф в свои руки, использовать его в своих целях. Эта мина замедленного действия должна была сработать неизбежно...

Сталинский сплав

Конечно же, почти с самого начала господства большевиков в России миф «революционного обновления» прикрывал чрезвычайно жёсткую и прямолинейную политику большевиков во всех сферах – в управлении государством, социальных отношениях, экономике. Но какое-то время эти в глаза бросающиеся противоречия достаточно успешно объяснялись большевистским руководством всем – и в первую очередь самому себе – тяжелым положением в стране, чрезвычайно низкой стартовой площадкой в «светлое будущее»: в стране разруха, тёмное, несознательное население преобладает, враги – внутренние и внешние – навязывают новой власти беспощадную войну и т. п. Поэтому «раскрепощение масс», всеобщие свобода и благоденствие, предполагаемые «революционным обновлением», – всё это откладывалось... ненадолго, вплоть до скорой и неизбежной победы мировой революции. «...И добивают последних буржуев на Амазонке отряды Коминтерна...»¹⁴.

Достаточно вспомнить, с каким искренним нетерпением лидеры большевиков в 1918 г. ожидали известий о начале мировой революции, которая в соответствии с их насквозь мифологизированной идеологией неизбежно должна была начаться сразу же после революции в России. Су-ровая необходимость «строить социализм в одной отдельно взятой стране» стала, очевидно, одним из первых ударов по новой мифологеме.

Вторым, ещё более чувствительным ударом стало неизбежное отступление от «революционных завоеваний», принятое в годы НЭПа. Эта политика, к которой большевики прибегли не от хорошей жизни, была антимифологична по своей сути. Более того, она косвенным образом подрывала самую идею «революционного обновления» – ведь волей-неволей лидеры большевиков признали, что невозможно построить социализм без отступления в капитализм, т.е. без возвращения на путь постепенного, последовательного, «рационального» развития экономики. НЭП, в сущности, был уступкой здравому смыслу, которого не выносит никакая мифология. В середине 1920-х гг. революционная мифология затрещала по всем швам, а с нею – и тотальное господство большевиков. При нормальном развитии страны – без революционных эксцессов и рывков в «светлое будущее» – власть большевиков представлялась совсем не обязательной, более того, ненужной – она, по сути, теряла свою легитимность.

Не удивительно, что из двух концепций экономического развития – прагматичной и рациональной Бухарина, являвшейся, по существу, последовательным развитием НЭПа, и насквозь мифологичной, возвращающейся на новом уровне к «революционному обновлению» Троцкого – большевистское руководство после недолгих сомнений решительно выбрала последнюю. Сталин, уничтожив обоих идеологов-соперников, пошёл по пути, предложенному Троцким, создав в результате квазисоциалистического монстра. При этом он сумел как бы реанимировать миф «революционного обновления», сплавив его воедино с возрожденным старым мифом о «добром царе» – в данном случае Хозяине.

Нужно отметить, что возвращение к традиционной мифологии произошло не только вследствие её несомненной жизненности, укоренённости в народном менталитете; немалую роль здесь сыграли и личные проблемы Сталина, возникшие в ходе борьбы за власть. Революционная мифология не лучшим образом соответствовала личным качествам этого человека – «наиболее выдающейся посредст-

венности нашей партии», по характеристике Троцкого. Зато как рыба в воде в её пространстве должен был чувствовать себя автор вышеприведённых слов – пламенный трибун, глашатай перманентной революции, обладавший мощным интеллектом и исключительным личным обаянием. После смерти Ленина Троцкий имел все основания претендовать на роль единоличного лидера – в рамках революционной мифологии ему просто не было равных. Ведь она требовала от Вождя именно таких качеств... Троцкий легко и непосредственно мог возглавить первое в мире социалистического государство. Сталину же необходимо было провести «предварительную работу», создать своего рода миф в мифе – свой собственный образ, образ Хозяина... Ему необходимо было укрыться за мощным пропагандистским щитом, за обезличенным партийно-государственным аппаратом, уйти в надзвездные выси, управлять с Олимпа... Легитимация власти Сталина предполагала её отчуждение от масс, придание ей сакрального характера.

В исторической литературе отмечен тот момент, с которого начался этот поразительно интересный процесс, – знаменитая речь Сталина 26 января 1924 г., на траурном заседании II съезда Советов, посвященном памяти только что умершего Ленина. «Своей формой и языком речь... очевидно, обязана влиянию духовного образования, полученного Сталиным в юности. Её отличал библейский слог. Структурно речь напоминала антифон: каждая последующая заповедь Ленина чередовалась с однообразными ответами от имени тех, кто поклонялся ему...»¹⁵.

Этот неожиданный, казалось бы, переход к совершенно не свойственной, более того – неприемлемой прежде для большевиков «сакральной» риторике был, конечно же, не случаен. «Многим большевикам, – замечает тот же исследователь, – подобная ритуальная экзальтация лидера, должно быть, показалась столь же чуждой, какой она была для самого Ленина. Но для тех, кто вырос в условиях России, не зная западных традиций, эта речь могла задеть некоторые знакомые, полузабытые струны их души...»¹⁶. Про-

ще говоря, эта речь знаменовала собой начало возврата «к России» – к старому, традиционному мифу. Следом за речью последовало захоронение в мавзолее – знал бы Ильич – и вся последующая сакрализация Ленина, создание его культа.

По разным причинам, в суть которых мы входить здесь не будем, создание культа Ленина было поддержано всеми его «наследниками»¹⁷. Для главного же и, как вскоре выяснилось, единственного «законного» из них – Сталина – культ Ленина, конечно же, никогда не был самоцелью. «Это был двойной культ, при котором Ленин и Сталин как два прославляемых вождя оказывались неразрывно связанными с исторической судьбой русского коммунизма... Взяв на себя инициативу в деле создания народного культа Ленина, Сталин выразил глубоко скрытые мысли и (возможно, подсознательно) приготовил почву для будущего культа второго вождя»¹⁸, причём этот культ – «второго вождя» – очень скоро подмял под себя культ вождя первого¹⁹. Вслед за сакрализацией власти, по мере того как идея мировой революции выдыхалась всё в большей степени и Советский Союз поневоле приходилось воспринимать как единственную надёжную опору «нового строя», – по мере этого революционный миф всё в большей степени приходилось вписывать в исторический контекст «особого пути» России. Разгром школы М. Н. Покровского, добросовестнейшим образом обслуживающей мифологему «революционного обновления», был одним из первых признаков поворота в этом направлении. В 1930-х гг. всё явственнее проявляется интерес Сталина к своим «великим предшественникам», Петру I и особенно Ивану Грозному, – речь идёт о своего рода преемственности... Но в полную силу этот процесс разворачивается во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Он ярко проявил себя в возрождении «патриотических традиций», величании российских полководцев, трактовавшихся ранее как «прислужники самодержавия», официальных восторгах перед «российским гением» – все великие изобретения, как выяснилось в период борьбы

с космополитизмом, были сделаны в России, изображавшейся в первые послереволюционные годы безоговорочно отсталой страной, и т. п.

В результате всех этих трансформаций возник своеобразный мифологический сплав. Советский Союз оказывался естественным продолжением царской России – он шёл впереди всех прочих государств и народов, прокладывая путь в светлое социалистическое будущее. На этом пути им руководил Хозяин – гениальный вождь, не совершающий ошибок, обладающий сверхчеловеческой мудростью, днём и ночью пекущийся о благе всего государства в целом и каждого его гражданина в отдельности, беспощадно истребляющий его врагов, и т.д. и т.п. Безоговорочное повиновение Хозяину, таким образом, представлялось единственно верным образом действия на этом пути.

Революционная мифологема, таким образом, обрела принципиально новые очертания, «обогатившись» старым, традиционным мифом, который врос в неё так же прочно, как в своё время на Руси традиционное язычество – в православие. Старый миф, так глубоко вошедший в народное сознание, в процессе приспособления его к новым условиям также видоизменился. Его основные составляющие доводятся до предела, почти – до изнеможения. В самом деле – раньше самодержавие определялось как власть от Бога; теперь в стране, где официально господствует атеизм, её глава сам, по сути дела, становится Богом... Царская власть трактовалась как изначальная, от века господствующая в России; Сталин, став не только главным, но единственным воплощением новой власти, сам претендовал чуть ли не на бессмертие. Россия шла единственно верным путем, храня и оберегая истинную веру, готовя народ к Царствию Небесному; Советский Союз должен был стать воплощением Царства Божия на земле.

Революционный миф в сочетании с традиционным приобретал всё более жуткие, противоестественные черты – и тем не менее жил, действовал, работал, подчиняя себе реальную жизнь, коверкая её, превращаясь в воплощённый кошмар...

От мифа к анекдоту

Но именно это безумное напряжение «усовершенствованной» мифологемы полагало ей предел. Слишком уж прочно она была увязана – не с государственной системой, идеологией или другой сферой бытия, имеющей сколько-нибудь значительное протяжение во времени, а с быстротечной жизнью одного вполне конкретного человека. Сталин воспользовался покоряющей силой мифа в полной мере, высав из него все соки. Со смертью Хозяина мифология, сконцентрированная на его личности, неизбежно должна была потерять свою творящую силу. Казалось бы.

Однако ещё несколько десятилетий она продолжала существовать и оказывать достаточно мощное воздействие на реальную жизнь, хотя и существование это и влияние начинают приобретать всё более сомнительный, ложный характер. Происходило это, очевидно, потому, что Хозяин оставил после себя целую когорту хозяйчиков – партийно-хозяйственную номенклатуру. При жизни Сталина эта когорта в значительной степени обслуживала его, после смерти – стала работать на себя.

И сразу же ей пришлось решать вопрос о легитимации собственной власти, причём вопрос этот, как известно, решался в отчаянной междоусобной борьбе.

В силу вышеизложенных причин те представители номенклатуры, которые попытались воспользоваться господствующим мифом без каких-либо перемен, объявив себя наследниками Сталина, борьбу проиграли – у Хозяина, живого Бога, достойных наследников быть не могло по самой сути мифологемы. Выиграл Хрущев, объявивший себя наследником Ленина...

Как показали последующие события, ничего принципиально нового ни в мифологии, ни в какой другой сфере номенклатура породить не могла, поскольку лишена была творческой силы по определению, по самим принципам отбора в свою среду. Однако рамки старой мифологемы ещё позволяли проводить некоторые маневры. И Хрущев сумел-

таки сманеврировать, максимально усилив революционный аспект мифологии за счёт традиционного. Речь шла о том, чтобы очистить сплав мифологем, совершенный при Сталине, от его культа, вернувшись к подлинному золоту «революционного обновления».

В результате получалось некое подобие диалектического развития мифа – точнее, его имитация. Сталин искажил ленинские заветы во всех мыслимых сферах – государственного управления, партийного строительства, экономической, культурной и пр. Суть искажения – привнесение в революционную идеологию (мифологию) своего культа, глубоко чуждого ей по существу. Отсюда многочисленные ошибки, ненужные жертвы, неоправданные потери на пути социалистического строительства. Тем не менее советский народ продолжал идти по избранному пути и много в том преуспел. Избавившись же от последствий культа, он устремится вперед неудержимо и вскоре вступит в вождеденное коммунистическое будущее.

И в этой интерпретации мифологема в очередной раз сработала. Восстановление «ленинских норм» в государственном управлении и партийном строительстве – при всей условности этого понятия признание необходимости удовлетворить насущные нужды «трудового человека» не только в коммунистическом завтра, но и в социалистической действительности, апелляция к сознательности народных масс, к их трудовому энтузиазму – всё это вызвало поддержку и понимание у подавляющего большинства населения. Именно в качестве «наследника Ленина» Хрущев обошел своих незадачливых соперников, достиг вершин власти и сумел закрепиться там. Но перлом его мифологических изысков стала, несомненно, третья Программа КПСС – программа построения коммунизма в 20 лет... Миф «революционного обновления» достиг высшей точки своего развития.

Какое-то время работало и это усовершенствование, превращавшее миф в откровенно ненаучную фантастику. Особенно поражали, конечно, чёткие, конкретные сроки... Но, как

справедливо отмечали исследователи этого периода истории, «в самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашёл в Программе желаемое для себя»²⁰.

Однако долго эта вера продолжаться не могла. У мифологии свои законы. Для того чтобы воздействовать на народные массы, она, очевидно, должна находиться в живой взаимосвязи с реальным положением дел. Так, большевики во главе с Лениным заявляли о том, что совершают грандиозный революционный переворот – и действительно, в корне изменяли социальные, экономические и прочие отношения в стране (хотя, как выяснилось впоследствии, эти перемены привели совсем не к тем результатам, которые были обещаны). Сталин, возрождая миф о добром и благом Царе – Хозяине, действительно Хозяином был (хотя не благим и не добрым). Создание же совнархозов и переустройство парторганизаций по производственному принципу – пожалуй, самые значительные из хрущевских «реформ» – принять за построение коммунизма мог только человек, очень не адекватно воспринимающий реальность...

В сущности Хрущев сотворил с революционным мифом то же, что Сталин – с традиционным: напряг его до невозможности, выпил из него все живые соки и тем самым лишил творящей силы. К тому же он не выполнил поставленную задачу – очистить революционную мифологию от «накипи сталинизма»: на месте великого и страшного культа он создал свой, маленький и потешный, превратив саму идею «Хозяина» в посмешище. Всё это, вместе взятое, подрывало возможность мифа как средства легитимации власти – не только самого Хрущева, но и руководимой им и в конце концов сожравшей его номенклатуры.

Долгий период правления Брежнева, на наш взгляд, выпадает из мифологического пространства. Власть Брежнев получил без всякой опоры на ту или иную трансформацию мифологии – он был поставлен номенклатурой, имевшей реальную власть, поскольку полностью эту номенклатуру

устраивал и всю свою деятельность направлял прежде всего на удовлетворение её интересов. По справедливому замечанию одного из своих референтов, Брежнев «был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата»²¹.

Естественно, что ни Брежнев, ни номенклатура без мифологии обойтись не могли. Но и в этой сфере так же, как и во всех прочих, властвовали застой и гниение... По сути, последние два десятилетия Советской власти (до начала перестройки) шло бесконечное повторение давно уже пройденного, причём привычная мифологема выхолащивалась поистине беспощадно. Вместо всемогущего Хозяина она предлагала стране «коллективный разум» группы лиц, истинные «достоинства» которых были известны чуть ли не всему населению; вместо «революционного обновления», создания царства всеобщей справедливости и благоденствия – возможность насладиться вдоволь реалиями «развитого социализма», вызывавшими всё большую тоску и раздражение. В эти годы миф окончательно вырождается, формализуется до предела, превращается в псевдомиф. Своеобразным символом этой трансформации является анекдотическая фигура самого Генерального секретаря, произносящего по бумажке, шамкая, совершенно безликие тексты. Какой уж тут миф... Поистине «кошмарный сон пропагандиста»²².

Поскольку же свято место пусто не бывает – в нашей державе, во всяком случае – умирающий миф получает свою оппозицию, причём питательной средой для «контр-мифов» является всё та же интеллигенция – битая-перебитая, трансформировавшаяся во многих отношениях почти до неузнаваемости и всё-таки сохранившая определённое духовное сродство со своими дореволюционными предшественниками. Именно в это время идёт в рост диссидентское движение; да и за его формальными пределами на пресловутых кухнях муслируются новые мифы о некоем «истинном марксизме», загубленном номенклатурой, с одной стороны, и о столь же «истинной демократии» (западной) – с другой; возрождаются старые, в частности об осо-

бом пути России, на котором социализм по-ленински лишь временное испытание. Но естественно, что в условиях тотальной слежки, цензуры, расправ с инакомыслящими вся эта «оппозиционная» мифология пребывала в зачаточном состоянии. Таким образом, на какое-то недолгое время в этой сфере возникла своего рода лагуна, мёртвая зона, в которую и ворвался Горбачёв со своей идеей «перестройки».

Перестройка – передышка?..

Первые годы правления Горбачёва, на мой взгляд, вполне выдерживают сравнение с недолгими периодами преобладания либеральной бюрократии в царском правительстве, с периодом НЭПа – т.е. с теми временами, когда прагматический, рациональный подход к делу рассеивал мифологический туман – как правило, на очень недолгий срок, потому что жить и работать в России, а тем более управлять ею вне мифологии и сложно, и очень опасно. Очевидно, для того чтобы победить миф, необходимо было обладать целым рядом редких, если не исключительных, качеств: способностью трезво оценивать ситуацию и в случае необходимости сознательно идти на серьёзные жертвы во имя достижения главной цели; чувством ответственности за свои дела; готовностью спокойно принимать неудачи и непонимание со стороны тех, на кого работаешь. А главное, нужно было постоянно преодолевать соблазн использовать – пусть и во благо – такое заманчивое, такое привычное в этих широтах и такое опасное оружие мифа...

Для достижения тех целей, которые ставили перед собой Горбачёв и выдвинувшая его наиболее здравомыслящая часть номенклатуры, традиционная мифология, собственно, была не нужна. Ведь так же, как и в конце 1850-х – начале 1860-х, в начале 1880-х, в 1920-х гг. речь шла не о сохранении – любыми средствами – существующего порядка вещей и не о стремительном рывке в будущее с обязательным низвержением в бездну «проклятой действитель-

ности», а о спокойной, планомерной работе по преобразованию этой действительности путём последовательных реформ. Горбачёв и его окружение стремились «всего-навсего» вывести страну из застоя с наименьшими потерями, преобразовав казавшийся незыблемым социалистический строй так, чтобы он получил возможность нормально развиваться.

Подобные прагматические установки явно противоречили всему духу российской мифологии, само подчёркнуто скромное понятие «перестройка» никак не вписывалось в мифологический контекст – так же, впрочем, как и естественная манера держаться нового главы государства, обыденный, чуждый всякой высокопарности стиль его выступлений. Даже характерные речевые огрехи Горбачёва, ставшие вскоре мишенью для более или менее злобных издевательств, поначалу лишь усиливали общее впечатление человечности, производимого этой фигурой, явно находившейся вне мифологического пространства. И тем более характерно, что очень скоро Горбачев и его сотрудники разделили печальные судьбы всех российских и советских деятелей, пытавшихся это пространство покинуть, попав в беспощадные жернова враждебных мифологем.

С одной стороны, после первых взрывов энтузиазма, когда стало очевидно, что привычный строй жизни колеблется, расплывается, теряет устойчивые очертания, произошла реанимация советской мифологии, которая в данных условиях ещё больше трансформировалась, приобретая безоговорочно консервативный, традиционный характер. Публикация в центральной прессе статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» стала одним из первых и чрезвычайно ярких проявлений этого. Хотя взгляды, высказанные в статье, по мере того как перестройка заходила в тупик, обретали всё больше сторонников в массах, сейчас очевидно, что эта публикация отвечала прежде всего интересам консервативно настроенной номенклатуры²³. В дальнейшем, по мере развития событий, она консолидировалась, привлекала к себе всё больше сторонников и в конце кон-

цов дала своеобразное «партийно-патриотическое» движение, главной целью которого было сохранение существующего строя. В восприятии представителей этого движения Горбачёв стал символом предательства «идеалов социализма». Более того, его втягивают-таки в мифологическое пространство, но уже в образе Врага, страшного злодея – то ли главы жидомасонов, то ли наймита США, а то и того ещё круче...²⁴

В консервативных кругах, по сути дела, шла интенсивная работа по реанимации старого мифа со всеми привычными идеалами, постулируемыми им: Хозяин (необходимо найти), порядок (нужно восстановить во что бы то ни стало), особый путь (Запад сгнил и влияет на нас тлетворно) и главное – повиновение (разбаловались, управы на вас нет и т. д.). На этой основе происходит, на первый взгляд, совершенно невозможное, а на самом деле предопределенное характером мифологемы и потому абсолютно органичное слияние так называемых коммунистов с так называемыми патриотами. И для тех и для других Хозяин, порядок, повиновение – понятия определяющие, первичные, вне зависимости от смысла, который в них вкладывается. С самого начала перестройки это был достаточно серьёзный – хотя, поначалу, и негласный противник. В значительной степени именно для борьбы с ним Горбачёв и открыл «шлюзы гласности», вызвав тем самым настоящий пропагандистский потоп.

В сущности, во второй половине 1980-х гг. повторилась ситуация начала века, когда интеллигенция, имея достаточно смутную и абстрактную в позитивном отношении программу деятельности, всю свою энергию, накопившуюся за долгие годы вынужденного молчания, выплеснула в безудержной критике прошлого и настоящего... Из массы публицистических материалов того времени, слившихся в мощный обличительный поток, следовал, собственно, один неизбежный вывод: 70 лет Советской власти – это безоговорочно черный период в истории России, исполненный насилия над объективными процессами развития, кровавы-

ми безобразиями по отношению к отдельным людям и целым народам. То, что создано за эти годы, не имеет права на существование и должно быть беспощадно уничтожено. Речь снова шла о революционном перевороте, о «новой земле и новом небе» — на этот раз капиталистических...

Так же, как и в начале века, всё это писалось — и говорилось на митингах, ставших практически перманентными, — с большой искренностью и убедительностью; так же, как и тогда, все эти обличения обладали мощным воздействием на массы, поскольку касались того, что действительно угнетало, наводило тоску, мешало нормально жить и работать. Будущее рисовалось обличителями крайне неясно, зато раскрашивалось в голубые и розовые тона — при условии как можно более решительных и радикальных перемен. У защитников советского строя не было никаких шансов на победу в этой информационно-публицистической войне, тем более что «пламя гласности» поначалу усиленно раздувалось самой властью, очевидно, видевшей в нём надёжное прикрытие для своей реформаторской деятельности.

Однако прошло совсем немного времени и это пламя опалило самого творца перестройки... Уже в том же 1988 г. Горбачёва и его окружение начинают упрекать в слабости, непоследовательности и наконец просто в нежелании проводить «настоящие» — т.е. максимально радикальные — преобразования. Проходит совсем немного времени — и «прорабы перестройки», само появление которых стало возможным только благодаря Горбачеву, начинают шельмовать его как символ предательства и двурушничества, обвиняя в стремлении «свернуть с пути реформ».

Одной из самых значительных вех на крестном пути Горбачёва стал знаменитый I съезд народных депутатов. По справедливому замечанию чуткого и объективного наблюдателя, выборы на этот съезд, «несмотря на всевозможные ограничения, явились невероятным прорывом в демократическом развитии страны», а сам съезд — «явно по воле своего председателя (Горбачёва. — А. Л.) стал концом демократии, распределяемой сверху, и началом новой демокра-

тии, где все действующие лица должны были чему-то научиться, где со священной власти был окончательно снят покров неприкосновенности»²⁵. Сам Горбачёв занял на этом съезде свою обычную и, казалось бы, вполне оправданную позицию. «Я буду искать, – заявил он, – какую-то середину, чтобы были и точки зрения представлены и атмосфера сохранялась. По-моему, это самая главная забота»²⁶. И тем не менее – а может быть, именно поэтому – на съезде, в условиях «торжества гласности», Горбачев на глазах – и к радости – всего населения страны, прильнувшего к телевизорам, был буквально сокрушён беспощадными ударами, наносившимися открыто сторонниками радикальных перемен и – исподволь – защитниками «идеалов социализма».

Мифология взяла своё... Поставив себя вне мифа, не сумев – или не захотев – использовать эту мощную силу, Горбачёв постепенно становится никому не нужным. И характерно, что августовские события 1991 г., когда беспощадная борьба мифологем обрела реальное воплощение – сторонники одной вывели на улицы Москвы танки, сторонники другой – толпу, – в высшей степени характерно, что эти события обошлись практически без него, главы правящей партии и государства. А по прошествии совсем небольшого времени исчезли и это государство, и эта партия.

Хорал в ритме джаза

Снова, второй раз за столетие, победу одержала революция – именно так, поскольку победители предполагали провести и провели в жизнь изменения, революционные по сути. И в то же время это была победа мифа, поскольку реальные преобразования, надолго обескровившие и всё государство в целом, и подавляющее большинство его граждан, пропагандировались как очередной прорыв в «светлое будущее», причём в кратчайшие сроки и без каких-либо серьёзных потерь и затрат. И пропаганда эта работала – в миф о будущем, в котором каждая кухарка сможет зани-

маться бизнесом и получать доходы от капиталовложений, — в этот миф верили, хотя он был сработан грубо и цинично, до наглости — до такой степени, что больше походил на самую обычную ложь.

Столь же грубо был сработан и образ главного носителя этого мифа. Здесь перед «мифологами» вообще встали серьезные проблемы. По мере того как заканчивалась романтическая эпоха митингов и демонстраций, эпоха борьбы с тоталитаризмом и начинался вполне реальный делёж власти, из-за спин «перестроечной» интеллигенции, пламенных трибунов и публицистов все отчетливей выдвигались упитанные фигуры «молодых реформаторов»-радикалов. Все они в основном были плоть от плоти всё той же номенклатуры, благодаря чему обладали и связями, и информацией, и капиталами; все они готовы были совершенно беззастенчиво использовать «девятый вал гласности» — обличений, дискредитаций власти и существующего строя — в своих интересах, так же как в своё время это сделали большевики.

Но при всём внешнем сходстве ситуаций, сложившихся в 1917 и в начале 1990-х гг., была серьезнейшая разница между теми, кто стремился извлечь из этих ситуаций максимальную выгоду. Большевики, вне всяких сомнений, были сами захвачены революционным мифом и во многом соответствовали ему своими личными качествами, своей судьбой: боролись, страдали, подвергались гонениям... «Реформаторы» же при Советской власти в подавляющем большинстве своем принадлежали к привилегированному слою советского общества и «под гнетом тоталитаризма» жили припеваючи. Между тем раскручиваемый ими революционный миф требовал своего воплощения, своего героя, который хоть в какой-то степени, хоть внешне должен был отвечать его сущности.

Найти подобных людей в стране, где на протяжении 70 лет беспощадно подавлялось инакомыслие в любых своих проявлениях, где даже в относительно «мирные» времена застоя счёт репрессированных за политические убеждения

вёлся на многие сотни, казалось бы, не представляло особой сложности. Но в том-то и дело, что диссиденты старой школы «реформаторов» не устраивали по вполне понятным причинам: они были принципиальными, честными и, главное, исполнены веры в «идеалы демократии» — т. е. вкладывали в это слово совсем не то содержание, каким наполняли его «реформаторы», стремившиеся прежде всего к разграблению государственной собственности. Что общего могло быть между ними и всеми этими бывшими правдистами, цекистами, гебистами, выпускниками высших партийной и комсомольской школ, работниками административно-хозяйственных структур и пр.? Этим деятелям нужен был свой герой, которого они и слепили, успешно подведя его под покров мифа о «революционном обновлении».

Вся эта фантасмагория сейчас, по прошествии неполных десяти лет со времени её претворения, плохо понятна даже нам, современникам, самим принимавшим в ней посильное участие. Что-то скажут и напишут потомки... Им ещё предстоит проследить во всех подробностях, как выковывался этот поразительный миф в мифе, миф о Борисе Николаевича Ельцине, типичнейшем партийно-номенклатурном работнике, чудесным образом превратившемся в борца-реформатора.

Мы же лишь напомним, что этот иконописный лик создавался в основном двумя красками. Во-первых, Ельцин преподносился как борец с привилегиями. Это был безошибочный ход — сказочное, по советским меркам, житьё номенклатуры всегда вызывало сильное чувство в массах. Ельцин же и в выступлениях своих, и в приснопамятной «Исповеди» умело разрабатывал эту жилу. Вспомним: «Может быть, я выскажу небесспорное мнение, но думаю, что перестройка не застопорилась бы даже при всех ошибках, которые были совершены, если бы Горбачёв лично мог переломить себя в вопросах спецблаг. Если бы сам отказался от совершенно ненужных, но привычных и приятных привилегий»²⁷. Но Горбачёву и его окружению сие было не дано

(вспомним опять же усердно раздуваемые СМИ скандалы с «незаконными благами», присваиваемыми горбачёвцами, в частности с бриллиантами Раисы Максимовны, с дачей скромнейшего Н. И. Рыжкова и т. п.). А вот Ельцин отказался, очистился от этой скверны. Сцена его записи в районную поликлинику, изумление и восторг регистратора – «такая пожилая женщина... даже ручку чуть не выронила»²⁸ – настоящий апофеоз «Исповеди».

Подобный образ действий выводил Ельцина за рамки ненавистной народу номенклатуры, делал его привлекательным – почти родным... У номенклатуры же он, соответственно, вызывал звериную ненависть – она травила борца с привилегиями всеми способами, преследовала, стремилась сжить со света. Максимально обыгрывая своё смещение с поста первого секретаря Московского горкома партии – действительно проведённое в духе старых традиций, – Ельцин и поддерживающие его «демократические» СМИ создавали другую ипостась «лидера реформаторов» – страдальца за «народное дело». «Как назвать то, когда человека убивают словами, потому что это было похоже на настоящее убийство?.. Да это была стая, готовая растерзать на части»²⁹.

При этом из той же «Исповеди» совершенно невозможно понять, в чём состоит это дело, какова позитивная программа автора – за исключением одной чётко сформулированной задачи: необходимо беспощадно сломать старый тоталитарный режим, уничтожить партийно-бюрократическую машину. И всё будет хорошо... Поистине мифологическими были эти времена: сознание народа, так же как и в 1917 году, было открыто мифу, способность критически оценивать людей события – вообще-то в наших краях не очень сильно развитая – казалось, совсем угасла. И новоиспеченные «реформаторы» пользовались этим без зазрения совести... «А ведь власть совсем не такова, какой она представляется правителям. Она такова, какой её представляет народ. Ему нужен лидер, низвергающий старые, ставшие идиологией идеалы. Народ (пополо) хочет, чтобы его желания и требования громко

провозглашались его лидером. Так чем же плох “популизм” Ельцина?»³⁰.

Как бы то ни было, этого громко провозглашённого стремления к ниспровержению «старых идеалов» вполне хватило Ельцину и его «группе поддержки» для того, чтобы прорваться к власти. «Избранный на всеобщих выборах президент России смог превзойти в отношении легитимности президента СССР, получившего свой пост из рук парламентариев...»³¹. Победа же эта, несомненно, была обеспечена исключительно благодаря безудержной эксплуатации революционного мифа. А затем, продолжая в том же духе, президент России развалил СССР – в значительной степени для того, чтобы окончательно оградить себя от конкуренции со стороны его президента...

Вся эта операция была проведена в рамках всё того же мифа «революционного обновления», знаменующего полный разрыв с «проклятым прошлым», – и проведена быстро, лихо и беззастенчиво. А затем, когда Союз был разрушен и «шоковая терапия» отбросила за черту бедности большую часть населения, страна увидела другого Ельцина. Этот Ельцин расстреливал Белый дом и вводил войска в Чечню – боролся с врагами реформ, собирал страну, наводил порядок... «Молодые реформаторы» отступили на заранее подготовленные позиции – в банковские структуры, частные компании, элитарные вузы, – а на первый план вышли генералы типа Грачёва, охранники типа Коржакова и пр. С поразительной, поистине кинематографической быстротой миф о герое-революционере, освободителе и обновителе был переплавлен в миф о Хозяине... При этом если и в первом из них было немало комического, то второй, в ельцинском исполнении, приобрел откровенно фарсовый характер (впрочем, и за фарс пришлось платить кровью); черты лжемифа, навязываемого сверху, и к тому же весьма неискусно, проявлялись в нём с самого начала. Это было тем более очевидно, что Хозяин всё время болел – и болеет – неясными болезнями; паузы в его публичных выступлениях становились – и становятся – всё длиннее; скандальных слухов,

связанных с ним самим, его близкими, его окружением, распространяется всё больше... А мы слишком долго жили при «застое», слишком долго слушали выступления Брежнева и жадно ловили слухи о воровстве и коррупции «на самом верху», чтобы не почувствовать этот ни с чем не сравнимый аромат гниения, развала, безысходности... Запах умирающего мифа.

Перспективы

Таким образом, на наших глазах всего за десяток лет был повторен мифологический цикл, уже пережитый нашей страной в XX в. – причём пережитый тогда всерьёз, воплотившийся в одну из самых великих трагедий в истории человечества. Сейчас же мы «проиграли» его в самой извращенной и приниженной форме. Мифологема, взятая на вооружение большевиками, во всех своих ипостасях привела к страшному кровопролитию, во имя её были принесены грандиозные жертвы. В постперестроечном же своём воплощении эта мифологема почти сразу же приобрела свойства почти что фарсовые, была скомпрометирована донельзя. Правда, теперь мы отделались «малой кровью»: вместо миллионов репрессированных – сотни погибших при защите Белого дома; вместо грандиозных потерь в Отечественной войне – «всего» несколько тысяч погибших – и продолжающих погибать – в Чечне; вместо страшных голодных лет и массовых выселений целых народов – полунищее существование большинства населения и «добровольное» бегство с окраин... Эта «малая кровь», кстати, защитниками новой власти постоянно ставится ей в заслугу.

Оценка реальной деятельности власти – ни нынешней, ни предыдущих – не входит в наши задачи. Мы можем лишь констатировать, что в конце XX в. в России были ниспровергнуты не только социализм в его российском «оформлении», советский строй, коммунистическая идеология и т. п. Совершенно очевидно, что мы присутствуем при серьезнейшем кризисе традиционной мифологии, которая представ-

ляется сегодня если и не исчерпанной до дна, то в значительной степени потерявшей своё обаяние для масс. Ждать что-либо подобного взрывам энтузиазма, как конструктивного, так и деструктивного, сейчас как будто не приходится. Всё больше усиливается впечатление, что мы надорвались вместе с нашей мифологией и начинаем стремиться к покою, порядку, возможности нормально работать и зарабатывать и т. п. Поразительно высокий рейтинг такого почтенного, но ничем особенно не выдающегося человека, как Примаков, объясняется, по-моему, именно этим стремлением – хочется стабильности...

Таковы, по крайней мере, внешние впечатления. Но я слишком долго занимаюсь русской историей, чтобы забыть об удивительном свойстве нашей родной мифологии – возрождаться из пепла подобно Фениксу. Да, собственно, и сейчас, я думаю, миф не умер – он затаился, он живёт в наших душах и ждёт своего часа. Ведь что греха таить, кто из нас в тяжёлые минуты – а из них в основном и складывается наша сегодняшняя жизнь – не ловил себя на мысли: «Вот бы появился Он... Сильный, умный, печальник за дела народные, беспощадный к мафии, чиновной сволочи, к продажной прессе (чеченцам, евреям – у кого что...), ко всем прочим врагам, внутренним и внешним – так, чтобы стало посправедливому...» Как бы мы Его все поддержали – если бы поверили, если бы Он сумел нас убедить... А как показывает история, убедить нас в том, во что мы сами хотим поверить, не так уж и сложно³².

Примечания

¹ Об отличии псевдомифа от мифа истинного нам еще придётся говорить ниже. Подробнее же смотри об этом: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 333–338.

² Ключевский В.О. Сочинения. Т. III. М., 1988. С. 120–121.

³ Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. С. 134–135.

⁴ Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981. С. 123.

⁵ Там же. С. 136.

⁶ Зызыкин М. Царская власть. София, 1921. С. 29.

⁷ Голос минувшего. 1913, № 3. С. 151-152.

⁸ Герцен А.И. Собр. соч. Т. VIII. М., 1958. С.348,

⁹ Белинский В.Г. Собр. соч. Т.4. С. 225.

¹⁰ Он же. Собр. соч. Т. 9. М., 1982. С. 215.

¹¹ Шестидесятники. М., 1984. С. 167.

¹² Об особом характере российского либерализма» о его «левизне», нежелании искать компромиссные решения см.: Лемотович В.В. История либерализма в России. М., 1995. С. 484-486.

¹³ Валентинов Н. Недорисованный портрет. М., 1993. С. 205-206.

¹⁴ Кибилов Тимур. Избранные послания. СПб., 1998. С. 34.

¹⁵ «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь!» И так раз за разом: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам... Клянемся тебе, товарищ Ленин...» – много раз. Карр Э. История Советской России. Т. 4. М., 1989. С. 258.

¹⁶ Там же. С. 259.

¹⁷ Чрезвычайно любопытно и поучительно в этом отношении письмо Крупской (которую всерьёз к «наследникам» относить, конечно, не приходится), опубликованное в «Правде» 30 января 1924 г. и обращенное ко всем почитателям умершего вождя: «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т.д. – всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим... Хотите почтить имя Владимира Ильича – устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки...» Цит. по: Карр Э. Указ. соч. С. 335. Все эти, несомненно, в высшей степени искренние строки выдержаны в духе «классической» революционной мифологемы, в центре которой народный вождь, «простой, как правда», живущий одной с народом жизнью, понятный ему и доступный... В ближайшие годы этой мифологеме предстояло измениться почти до неузнаваемости.

¹⁸ Такер Р. Сталин. Путь к власти. М., 1991. С. 258-259.

¹⁹ «К 1933 г. культ Ленина находился в низшей точке, тогда как культ Сталина расцвёл пышным цветом». Тумаркин Н. Ленин жив! СПб., 1997. С. 223.

²⁰ Вайль Петр, Генис Александр. 60-е. М., 1996. С. 13.

²¹ Цит. по: Медведев Рой. Личность и эпоха. Политический портрет Брежнев. Книга I. М., 1991. С. 310.

²² Там же. С.283.

²³ Верт Н. История Советского государства. М., 1992. С. 443.

²⁴ В начале 1990-х годов мне попала в руки брошюрка Миколы Олейника – в своё время преуспевающего советского писателя, – в которой Горбачёв объявлялся Антихристом. Не больше не меньше...

²⁵ Кьева Дж. Переход к демократии. М., 1993. С. 207-208. Цит. по: Кьева Дж. Указ. соч. С.91.

²⁶ Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990. С. 120.

²⁷ Там же. С. 127.

²⁸ Там же. С. 139.

²⁹ Из послесловия некоего Владимира Тихонова к «Исповеди» в издании Союза советских писателей. Указ. соч. С. 185.

³⁰ Верт Н. Указ. соч. С. 458.

³¹ Статья была написана в сентябре.

³² Путин казался одной из многих проходных, более или менее случайных фигур в большой политике. С тех пор многое изменилось. Но у меня, кажется, есть все основания не переписывать последние строки – оставить всё как есть...

КАК ПОПАСТЬ В ЗУРБАГАН, ИЛИ ПОБЕГ С ВЕРТИКАЛИ

И.С. Хромовой посвящаю

Александр Грин славен тем, что создал новый, полный очарования мир, во многом антагонистичный по отношению к реальной России своего времени (да и всех остальных времен, включая нынешнее, тоже); создал – и проложил туда путь всем желающим. Мне этот мир представляется совершенно реальным, а путь туда – торным. Зурбаган вполне достижим¹, он – рядом. Иррациональны и фантастичны, на мой взгляд, не эти удивительные края, а те препятствия, которые отделяют нас от них; препятствия, чей монолит существовал при жизни Грина и в полной мере сохранился до наших дней. Зурбаган ведь лежит не «за полями, за горами, за дремучими лесами»; путь туда преграждают наши стереотипные представления о самих себе и окружающей нас действительности, наше традиционное равнодушие к тому, ради чего, казалось бы, только и живет человек, – к личному счастью. Грин же создал мир, в котором это счастье, *правильно понятое*, является главной определяющей, если не единственной жизненной ценностью, не его вина, что в той реальной стране, где Грину пришлось творить свои чудеса, они оказались почти никому не нужны.

Чужак

С тех пор, как пароходное сообщение приблизило нас к материку, то и дело высаживаются разные проходимцы, толкаются здесь, берут участки, а через год улепетывают в город, где есть женщины и все, от чего трудно отказаться.

Александр Грин. Колония Ланфиер

Александр Грин как писатель был – да и остается – чужим в русской литературе. Эта отчужденность Грина бросалась в глаза уже современникам, причем настолько, что констатация ее стала общим местом в воспоминаниях о писателе². Однако в контексте моей статьи конкретные факты, составляющие это общее место, представляют настолько живой интерес, что некоторые из них имеет смысл вспомнить.

Грин начал публиковаться с 1906 года. Его первые рассказы, посвященные эсеровскому подполью, в деятельности которого сам Грин одно время активно участвовал, составили сборник «Шапка-невидимка», изданный в 1908 году. Эти рассказы были написаны в сугубо реалистической манере; современники их почти не заметили. В 1909 году был опубликован рассказ Грина «Остров Рено», который традиционно оценивается как первый шаг писателя на пути открытия им нового мира. Затем в 1909–1910 годах, перемежаясь с произведениями, написанными Грином в традиционной манере, один за другим начинают публиковаться произведения, в русской литературе до тех пор небывалые. Они были очень разными, совсем неравноценными друг другу: остросюжетная, с четко выписанными характеристиками героев «Колония Ланфиер»; небольшие по объему, тщательно обработанные, выходящие на уровень притчи «Промисшествие на улице Пса» и «Имение Хонса»; эскизный и до сих пор потрясающий своей экспрессией «Штурман четырех ветров», – но все они в равной степени играли роль вех на этом пути, на пути в Зурбаган...

Грин уходил туда постепенно. Вплоть до революции «зурбаганские» произведения в творчестве писателя продолжают соседствовать с реалистическими. Сравнить их друг с другом чрезвычайно интересно – «Ксению Турпанову» и «Синий каскад Теллури», «Пассажира Пыжикова» и «Зурбаганского стрелка». Буквально уши закладывает, как при подъеме из морских глубин или спуске с большой высоты – перепад давления сказывается... После революции это творческое сосуществование двух миров практически прекращается: Грин уходит в Зурбаган окончательно. Насовсем.

В отличие от первых рассказов писателя произведения, знаменовавшие его путь в иной, дивный мир, впечатление на современников произвели. То, что Грин в своей новой ипостаси приобрел популярность, подтверждала востребованность его творчества – в современной печати отказа «зурбаганским» произведениям не было, публиковали их охотно. Имелось и другое, не менее убедительное доказательство этой популярности: о Грине заговорили и в литературной среде, и в читающей публике. Таким образом, после первой неудачи писатель как будто успешно входил в русскую литературу, и само заглавие этой части текста – «Чужак» – может показаться надуманным. Однако все дело в том, где публиковался Грин и что о нем говорили.

В. Шкловский впоследствии вспоминал: «Грин печатался в маленьких уличных журнальчиках. Один из них назывался «Панорама» и с каким-то еще прилагательным, вроде «Всемирная». У журнала была красная невзрачная обложка. Были еще журнальчики, которые никак не могли пробиться к публике, в них печатались неизвестные писатели, но уже появлялись слухи, что молодой писатель, которого, кажется, звали Мальгинов (под этим именем Грин жил на нелегальном положении в 1906–1910 годах. – А.Л.), человек талантливый»³. Все это вполне справедливо – и в отношении талантливости, и в отношении «журнальчиков». Кроме вышеупомянутой «Всемирной панорамы», Грин печатался в журналах, названия которых говорят сами за

себя: «Мир», «Весь мир», «Вселенная» (!) и, наконец, издание с названием не столь космическим, но зато совершенно откровенным – «Новый журнал для всех» (именно там был опубликован «Остров Рено»). Все это были журналы всеядные, сознательно безыдейные, рассчитанные на самого невзыскательного читателя. Над ними Монбланом возвышалась «Нива» со своими хорошо отработанными, солидными издательскими приемами и относительно строгим отбором материала. (В «Ниве» Грин, кстати, тоже хоть и редко, но публиковался; здесь, в частности, в 1913 году был напечатан «Зурбаганский стрелок» – рассказ, на мой взгляд, программный для писателя). В солидные, «толстые» журналы, издававшиеся целенаправленно для «сознательной интеллигенции» разных оттенков и направлений, – такие, как либеральная «Русская мысль» или народническое «Русское богатство», – Грину заведомо ходу не было. Так же, впрочем, как и в противостоящие этим «идейным» изданиям декадентские «Весы» или «Золотое руно». Здесь, в разреженной атмосфере духовных вершин, «зурбаганские» произведения Грина изначально воспринимались как «что-то на потребу...» Характерно, что сам Грин никогда даже и не пытался проникнуть в эту интеллигентскую элиту, очевидно, прекрасно сознавая свою с ней несовместимость.

С другой стороны, несомненный читательский успех, позволивший Грину жить исключительно литературным трудом, тоже носил совершенно небывалый, невозможный для «серьезного» русского писателя характер. «Шли слухи...»⁴ Суть этих слухов, о которых поминают чуть ли не все авторы воспоминаний, знавшие Грина в 1910-х годах, лучше всех передал Н. Вержбицкий: в околосредовой среде, писал он, упорно говорили о том, что человек, печатавший рассказы под псевдонимом А. Грин, никакой не писатель, а «просто-напросто полуграмотный матрос, не умеющий связать двух слов. А рассказы, которые он печатает, украдены у какого-то капитана дальнего плавания, погибшего во время кораблекрушения. Особо осведомленные скептики и

фантазеры доходили даже до подробностей, рисуя картину, как во время этой катастрофы сам Грин спасается, привязав себя к сундуку, в котором находились рукописи капитана...»⁵

По первому впечатлению может показаться, что подобные сведения недорого стоят и не много дают для понимания положения Грина в литературной среде – мало ли, что болтают досужие сплетники. Оказывается, однако, все эти нелепые слухи имели самый широкий резонанс.

Незадолго до начала войны Грин попытался вступить в Литературный фонд. Быть принятым в эту организацию, оказывавшую своим членам материальную помощь, означало, помимо всего прочего, публичное признание твоей адекватности высокому званию «русский писатель». Так вот, у Грина с этим признанием возникли серьезные проблемы, которые озвучил один из видных функционеров фонда С.А. Венгеров – известный историк литературы и библиограф, пользовавшийся большим уважением в интеллигентских кругах (я уж не говорю о том, что ему суждено стать одним из героев этой статьи, – см. ниже). Встретив на каком-то литературном вечере эсера Н.Я. Быховского, хорошо знавшего Грина, Венгеров попросил развеять сомнения, обуревавшие руководство фонда, по поводу последнего: «...говорят, что он беглый каторжник, что он убил свою первую жену, а потом английского капитана, у которого украл чемодан с рукописями; теперь он их переводит и выдает за свои произведения. Мы в большом затруднении – можно ли принять его в Литературный фонд?» Затруднение, согласитесь, и впрямь не слабое... И всю эту бредятину всерьез и не краснея проговаривал человек, считавшийся одним из самых серьезных знатоков русской литературы того времени! Быховский сумел успокоить почтенного ученого, сообщив ему утешительные сведения, что Грин, во-первых, сидел в тюрьме исключительно «за политику», а во-вторых, не владеет иностранными языками и потому вынужден писать самостоятельно...⁶ В Литературный фонд Грина, в конце концов, при-

няли, но, согласитесь, подобный «имидж» писателя нуждается в разъяснении.

Любые слухи вообще интересны для историка – если, конечно, отнестись к ним разумно. Один же из главных постулатов подобного отношения заключается, наверное, в следующем: слухи почти всегда лживы, но они, как правило, не случайны. В них выражается подсознательное и потому, на первый, взгляд иррациональное восприятие ситуации – или человека, как в данном случае: бушующее море, Грин на сундуке с рукописями, а в отдалении дрейфует тело капитана-утопленника... Но за этой бредовой картиной скрывалось вполне реальное ощущение не только непривычности, но и чуждости творчества Грина устойчивым стереотипам русской литературы: писатель «вплывал» в нее извне, неведомо откуда, без опознавательных знаков... Тематика, разработка сюжета, стилистика – всё было непривычным. Чужим. Причем это касалось не только литературы «классического» образца, но и декадентской: ведь последняя обычно была «обратным общим местом»... Декадентство активно и сознательно *противостояло* русской литературной традиции и тем самым было с ней неразрывно связано. Творчество же Грина все в большей степени оказывалось *вне* традиции. Только этим можно объяснить, что такой знаток именно традиционной литературы, как Венгеров, предпочитал видеть в Грине не писателя, а убийцу-плагиатора.

Стесненный рамками статьи, я из множества подтверждений тезиса «Грин – чужак» приведу еще лишь одно, чрезвычайно характерное. «Зурбаганские» рассказы Грина долгое время путали с переводными произведениями английской писательницы А.К. Грин, довольно популярными среди русской читающей публики. Путали до такой степени, что Грин, по воспоминаниям его первой жены В. Калицкой, «приобрел привычку представляться А.эС. Грин⁷ – с подчеркнутым ударением на «эС». Между тем они были совершенно разными и непохожими – Александр Грин, на ощупь, с оглядкой, но без усталости пробивавшийся в свой дивный, новый

мир, и Анна Катарина Грин, автор вполне заурядных, хотя и ладно скроенных детективных романов. Какие бы то ни было сходные черты в их творчестве обнаружить вообще невозможно – за исключением лишь одной, чисто негативной, но в данном случае решающей: вполне обычные для западной, особенно для английской литературы произведения А.К. Грин были совершенно чужды литературе русской. Точно так же, как и то, что писалось в это время А. эС. Грином. Этого ощущения необычности, вкупе с совпадением имен, вполне хватило для путаницы.

При этом «путалась» не только рядовая читающая публика. Сам Грин вспоминал, что, когда его представили А.Н. Толстому, тот «с восторгом отметил поразившее его умение Грина строить сюжет. Подумав мгновение, он для примера назвал прочитанный им недавно роман «Рука и кольцо». А.С. ответил, что, к его печальному сожалению, это написала Анна Катарина Грин»⁸.

Прошло время; произведения А.К. Грин благополучно забылись. То, что написал Александр Грин, в русской литературе, несомненно, осталось. На особом положении – как нечто чужое, более того, чуждое духу этой литературы. Революция здесь ничего не изменила, что и понятно: ведь неизменными оставались обе противостоящие величины. Грин во все времена был писателем предельно «непластичным», игнорирующим давление внешнего мира; русская же литература, при всех неисчислимых формальных переменах, сопутствующих ее превращению в советскую, тоже вполне сохранила свой дух, свой совершенно особый характер.

Чужак-2

Простим угрюмство...

А. Блок

Об этом характере, обрекавшем писателя Грина на литературное изгойство, нам неизбежно придется говорить особо. Но прежде мне предстоит «продублировать» первую

подглавку статьи, сопоставив литературную судьбу Грина с его судьбой человеческой, дела писательские с делами житейскими. У Грина первое со вторым было переплетено столь неразрывно, что сплошь и рядом не поймешь, что первично, за какую ниточку надо тянуть, чтобы распутать тот или иной узел биографии. Жил, как писал; писал, как жил, — так говорят о многих, но всегда ли справедливо? Для Грина это утверждение верно без малейших оговорок.

И прежде всего оно верно в отношении интересующей нас темы. Отчуждение Грина от современников было не только литературным, но и житейским. Одиночество окрасило большую часть его жизни в свои печальные тона.

Ощущение одиночества пронизывает «Автобиографическую повесть» Грина, производя впечатление неизбежности просто кармической. От этой последней и самой русской книги Грина веет холодом и тоской — возможно, по контрасту с залитым солнечным светом Зурбаганом, в который писателю удалось-таки прорваться, невзирая на все преграды... Однако автобиография обрывается на событиях, связанных с первой русской революцией, освобождением эсера Гриневского из тюрьмы, — то есть именно тогда, когда вот-вот должно было произойти рождение нового писателя и начаться его творческая биография. И здесь, казалось бы, могли произойти серьезные перемены к лучшему. Мало ли писателей, поэтов, художников, начинающих свою жизнь в самых стесненных обстоятельствах, вплоть до полной нищеты, нахлебавшихся горя досыта, переживших разнообразные унижения, добивались успеха — и меняли свое отношение к миру, поскольку мир изменил свое отношение к ним. «Прорыв» Максима Горького, старшего современника Грина, из бродяг в великие писатели был, конечно, явлением исключительным по своей грандиозности; ну а более камерным свершениям и достижениям трудно и счет вести.

Однако, как свидетельствуют те, кто знал Грина в последние годы существования старой России, во время Великой революции и после, перемена судьбы, превращение из ре-

волюционера в писателя мало что изменило в его отношениях с миром. В русскую литературу он вошел не на правах мастера, а в качестве подёнщика; успех его – если здесь вообще можно было говорить об успехе – носил почти скандальный характер. И в литературной среде своего времени он оказался чужим; он не вписывался в нее точно так же, как его произведения не вписывались в литературный контекст эпохи.

О. Лесная, секретарь «Нового Сатирикона», в редакции которого в предреволюционные годы периодически появлялся писатель, вспоминала: «Грина считали мрачным, угрюмым человеком, говорили: «Он странный». Он был глубоко замкнутым – таким его сделала жизнь»⁹. Почти дословно повторяет ее Всеволод Рождественский, познакомившийся с Грином в голодном 18 году, в Петрограде – в знаменитом ДИСКе¹⁰. «Он словно сам заботился о том, чтобы, окружив себя атмосферой неприязни, отгородиться нарочитой грубостью от всякого вмешательства в его внутренний мир. Годы бесприютной скитальческой жизни и порою полуголодного существования даже в относительно благополучные для литературной среды времена приучили его к настороженности и осторожности»¹¹.

Естественно, что все это предопределяло одиночество Грина. «С ним, – писал В. Рождественский, – мало кто хотел водиться. К тому же кое-кто и побаивался его острого насмешливого взгляда и неприязненного ко всем отношения. Один из старых литераторов, сам человек нервный и желчный, заметил однажды: «Грин – пренеприятнейший субъект. Заговоришь с ним и ждешь, что вот-вот нарвешься на какую-нибудь дерзость». В этом была крупница истины, Грин мог быть порою и резким, и грубоватым»¹². Буквально то же пишет М. Слонимский: «Александр Грин умел внушать страх иным людям. Он умел отвечать резко, сговорчивостью и ложным благодушием он не отличался»¹³.

Школа жизни, на которую ссылаются авторы воспоминаний, объясняя ее уроками нелюдимость писателя, Грину действительно досталась с каторжным уклоном. И все же

дело было не только в ней. Ведь жизненная каторга, которую пришлось пройти Грину именно в те годы, когда личность, формируясь, открыта всем внешним влияниям, не сделала его человеконенавистником. Отсутствие мизантропии у Грина подтверждается не только авторством «Алых парусов», «Бегущей по волнам», да и вообще всем его творчеством. Такие-то фокусы жизнь как раз вытворяет постоянно – несоответствие между вдохновенным ликом того или иного служителя муз и его обыденным обликом дело самое обычное; я думаю, у историка литературы не вызовет ни малейшего удивления возвышенный романтик-идеалист, оказывающийся мелочным скрягой или семейным деспотом по жизни. Но Грин, повторяю, жил, как писал, и свидетельств тому вполне достаточно.

Одних изумительных воспоминаний второй жены Грина Нины Николаевны с лихвою хватило бы для того, чтобы показать, какой удивительной душой обладал этот внешне угрюмый, замкнутый человек. Но к ним мы обратимся позже, потому что они – весть из того дивного мира, путь в который нашим героем еще не пройден... Но и первая жена писателя В. Калицкая, женщина волевая, сдержанная, совершенно не склонная к лишним сантиментам и достаточно критически относящаяся к своему бывшему мужу, пишет: «В первые шесть лет наша жизнь с Александром Степановичем держалась на его способности к *подлинной большой нежности* (выделено мной. – А.Л.). Эта нежность не имела никакого отношения к страстности чувств, она была детская». И далее – поразительно меткое замечание: «Мне кажется, что подлинная, чисто человеческая нежность была одной из черт, которые перекидывали мост от Грина к Гриневскому»¹⁴. Писал, как жил...

Ник. Вержбицкий, чуть ли не единственный человек, который в отношениях с Грином мог претендовать на нечто большее, чем простое знакомство, – на дружбу, несколько лет деливший с ним угол, кусок хлеба и все тяготы полунищей, неустроенной жизни, свой очерк о писателе назвал «Светлая душа». «Из так называемых нравственных ка-

честв, — писал он, — которые я имел возможность отметить у Грина, меня больше всего привлекали: доброта, врожденная и естественная деликатность и то, что мы понимаем под словом порядочность, — душевная чистота»¹⁵.

Доброта, деликатность, нежность... Те немногие, кому Грин открывался с этой стороны, видели в нем уже не примерного ученика «жестокой школы жизни», а человека, принципиально не желавшего учить ее уроки. Констатируя так же, как и все другие авторы, что «прошлое Грина, полное тяжелых испытаний — моральных и физических, — даже у очень выносливого человека могло бы воспитать одно только отвращение к жизни», Вержбицкий твердо заключает: «этого не случилось» — и объясняет почему: «Может быть оттого, что он еще в детстве привык просто *убегать* (выделено мной. — А.Л.) от всех мерзостей, которые его окружали в семье, в школе, на улице. Он запоем читал и перечитывал книги, где правда переплеталась с причудливой, веселой и трогательной выдумкой»¹⁶. Отметим для себя, что человек, любивший и понимавший Грина, главное объяснение его удивительной душевной стойкости видел в способности *убегать* от мерзостей жизни в некий мир. Отметим и — запомним, ибо впереди у нас сказание о побеге, совершенном успешно и безвозвратно.

Но как бы то ни было, объяснять отчужденность Грина от литературной среды исключительно его нелюдимостью и угрюмством нельзя. А между тем он в нее — если иметь в виду среду, хоть сколько-нибудь «идейную», — совершенно не вписывался, точно так же, как его произведения не вписывались в литературный контекст своего времени. Грин явно пришелся здесь не ко двору — да, судя по всему, его самого этот двор совсем не привлекал, и на то были самые серьезные основания.

О героическом характере русской литературы и русского читателя

... Ничему не следует учить...

Осип Мандельштам

...Русская литература всегда была кафедрой, с которой раздавалось удивительное учительное слово... И звало всегда учительное слово русской литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию.

*С.А. Венгеров. Героический характер
русской литературы*

С.А. Венгеров, замечательный в своем роде историк русской литературы и общественной мысли, текст которого я намерен широко использовать в этой подглавке, отнюдь не отличался особой оригинальностью своих научных подходов и смелостью взглядов. Напротив, суждения, подобные венгеровским, постоянно появлялись на страницах периодики и научных изданий, звучали с университетских кафедр, «прокручивались» в частных беседах. Интересующая нас книга Венгерова «Героический характер русской литературы», в которой эти суждения были приведены в систему, простую, цельную и стройную, тем и хороша, что является воплощенным общим местом – так думала, говорила и писала подавляющая часть интеллигенции того времени.

При этом книга Венгерова хороша не только содержанием, но и формой: ее автор в совершенстве владел интеллигентским сленгом – тем стереотипным языком, который, право же, заслуживал бы специального исследования. На нем тогда не только книги писались, но и создавались воззвания, произносились речи и тосты. На похоронах выступали...

Итак, «русская литература всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово...» Это, в сущности, основная мысль книги. На стержень «учительства» автор «накручивает» всю русскую литературу, начиная с Канте-

мира и кончая декадентством¹⁷. При этом Венгеров констатирует, что с ходом времени «общественно-учительские тенденции» в русской литературе все больше усиливаются. Определяющим для литературного произведения здесь становится понятие «направление» – и, замечает Венгеров, это чисто русское понятие: в европейской критике подобный термин «прямо неизвестен»¹⁸.

Все это было, в принципе, справедливо и не могло вызвать ни малейшего возражения у современников – так же, как не вызывает их и сейчас. Однако подобные рассуждения, подводя вплотную к вопросу о сути дела, еще не давали прямого ответа на него. Ведь главное, очевидно, было в том, чему именно учит русская литература, что она проповедует. Ответ на этот вопрос Венгеров давал в заключительном «этюде» и весьма выразительно; мне, во всяком случае, нигде больше не встречались столь четкие формулировки «избранничества» русской литературы, столь убедительное противопоставление ее литературе западной. В своих рассуждениях Венгеров исходил из тезиса, заявленного в начале книги: «русская литература есть центральное проявление русского духа»¹⁹. А «русский дух», по его убеждению, проявляется прежде всего в альтруизме, в «жажде подвига», в «самопожертвовании и самоотвержении».

На Западе, пишет Венгеров, все и всегда борются за свои интересы – личные или классовые. Например, западноевропейский пролетариат стремится улучшить свое материальное положение – и дай ему Бог: это явление «вполне нормальное и вполне законное». Но, продолжал Венгеров, «умиляет (sic!), заставляет преклониться перед собой, открывает новые духовные горизонты *только* (выделено мною. – А.Л.) русское общественно-политическое движение, в котором барин и интеллигент жертвуют *всем своим личным счастьем* (выделено мною. – А.Л.) и классовыми интересами для того, чтобы мужику и пролетарию было хорошо»²⁰. Эта характернейшая черта русского духа, естественно, в полной мере проявилась в литературе. Европейская культура и порожденное ею образованное общество насквозь

пронизаны духом «себялюбивого индивидуализма». «А вот русский интеллигент и отражение лучших сторон его духа – русская литература и представить себе не могут какого-нибудь душевного удовлетворения вне жизни общественной. Русскому интеллигенту и **счастья-то личного не нужно** (выделено мною. – А.Л.), он его боится и отмечает, когда оно не связано со счастьем других... И в этой безграничности самоотвержения... – центральный нерв русской литературы. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая гордость русского духа»²¹.

Еще раз отмечу: Венгеров, на мой взгляд, пишет со знанием дела и вполне убедительно. Я, собственно, потому и апеллирую так усердно к его замечательной книге, что это позволяет мне сэкономить силы и бумагу, избавив от необходимости тревожить покой того же Белинского, цитировать шестидесятников, выяснять нравственную позицию Достоевского и так далее – всем им старший современник Грина подвел достойный итог. Общая композиция картины вполне верна, да и рисунок неплох. Вот только краски чрезвычайно однообразны – золото да небесная лазурь... Но это так естественно для мастера, который воспроизводит то, перед чем готов преклонить колени.

Венгеров ведь недаром постоянно подчеркивает **религиозный характер** русской литературы в целом – его собственное произведение и по стилю, и духом своим вполне подтверждает это суждение. Прав он и по существу. Действительно, русская литература постоянно устремлялась ввысь, проповедуя возвышенные идеалы и призывая к беззаветному служению им. Совокупность произведений «серьезной» литературы на протяжении всего XIX века формировала в этой стране особое, сверхмощное духовное поле. Механизм воздействия этого поля на читающую публику до сих пор толком не изучен – дело здесь, как правило, ограничивается констатацией общеизвестных фактов и системой общих фраз. А между тем именно это поле в конечном итоге разнесло Российскую империю, оказавшуюся неспособной противостоять ему ни идеологически, ни админист-

ративно, ни с помощью репрессий. Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь, что это поле было вертикальным — оно действовало, как смерч, вырывая человека из того пространства, которое называется обыденной жизнью — то есть жизнью в каждодневном труде, семейных заботах, общении с близкими. Торжествующая вертикаль втягивала в себя, порождая отвращение к «рутине», заставляя отказываться от каких-либо усилий, направленных на сферу личного бытия, — напомним, «русскому интеллигенту и счастья-то личного не нужно...» Уделом того, кто попал в это поле, оказывалась борьба за всеобщее счастье — «и будет новая земля и новое небо».

Героическая литература порождала героев... Их было великое множество в тогдашней России, хотя проявляли они себя, конечно же, по-разному. Я понимаю, что на первый взгляд может показаться странным сравнение между В.И. Лениным, которого Чернышевский «всего перепахал», с известными последствиями для России и мира, и тем же Венгеровым, который «всего-навсего» воспевал литературу, проводившую подобную вспашку. А между тем эти деятели сосуществовали в одном поле — том самом, вертикальном... Так же, как и великое множество других — что ни интеллигент, то герой по своей ментальности. Кто-то геройствовал на практике: стрелял губернаторов, выступал на митингах, организовывал забастовки; кто-то в теории: сочинял научные труды, публицистику, стихи и романы в соответствующем духе. Большинство же жило тихо и мирно, коверкая героикой «всего лишь» свою личную жизнь — любовь, семью, дружеские отношения... Да что там — выпить попросту люди уже разучились: «Разгул с байронизмом, любовь — с психологией «до самых кишок»... вопросы — с воплем о ста миллионах голов»²².

Вертикаль обладала страшной силой, оказывая воздействие чуть ли не на все стороны жизни интеллигентного человека. Что же касалось литературы, которая была и порождением, и мощнейшим орудием этого поля, то она поглощалась им почти полностью. Конечно же, вертикаль

«возвышенного идеализма» была порождена в свое время «проклятой русской действительностью», росла и усиливалась в постоянном противоборстве с ней... Но это не наша тема. Отметим лишь, что в гриновские времена эта сила, противостоявшая несвободе, сама всё в большей степени оборачивалась несвободой... А как говаривал в свое время один из видных героев вертикали – Г.В. Плеханов, не важно, какие глаза у ведьмы – красные, желтые или белые. Дела это не меняет – всё ведьма...²³

Так вот, Грин всегда был вне этого поля – и творчески, и по жизни своей – даже тогда, когда, казалось бы, в противоречии с этим утверждением он состоял членом эсеровской партии (о чем будет речь позже). В борьбе с житейской рутинной и тяжкими сторонами бытия Александр Грин пошел другим путем – тем самым, который, как выяснилось, уводил в Зурбаган... Поэтому в русской литературе Грин всегда стоял особняком; в еще большей степени это относится к литературе советской, которая при всех своих обличиях вполне сохранила «вертикальный взлет» своей предшественницы: стремление к возвышенным идеалам, всеобщая мобилизация на служение им и тому подобное... Грин был здесь чужим при жизни; после смерти писателя положение не изменилось. Да, конечно же, у Грина были и есть поклонники; среди них попадаются удивительные энтузиасты. Однако на литературных вершинах писателя либо совсем не замечали (и не замечают), либо, замечая, не любят. Имя Грина почти не встречается в воспоминаниях, переписке, публицистике, литературно-критических статьях «мэтров» – писателей, литературных критиков, литературоведов «высокого полета», тех, кто так или иначе влиял и влияет на литературный процесс в России. Если же встречается – то не дай Бог (естественно, речь не идет об юбилейной «обязаловке»).

Об отношении к Грину самого Венгерова, предпочитавшего видеть в Грине убийцу, каторжника, издателя чужих рукописей – кого угодно, только не русского писателя, было сказано выше. Приведу еще лишь два примера нелюбви и

непонимания, два беглых высказывания о писателе людей очень разных, в разное время живших и работавших, но сыгравших, каждый на своем уровне, важную роль в истории русской литературы. Так, И.А. Бунин, по свидетельству Валентина Катаева, видел в произведениях Грина образец спекуляции на дурном вкусе читателей. Правда, поклонников Александра Степановича может утешить то, что Бунин «разносил» его в одной связке с Андерсеном и Григом. «...Упомяните бедного оловянного солдатика, обуглившуюся бумажную розу или что-нибудь подобное, если удастся, присоедините к этому какого-нибудь гриновского капитана с трубкой и пинтой персиковой настойки (!) – и успех у интеллигентных провинциальных дам среднего возраста обеспечен... Именно эти дамы – поклонницы Грина и Грига – делают писателю славу...»²⁴

Этот монолог Бунина автор – В. Катаев – относит к временам Гражданской войны. А вот отрывок из дневника Л.К. Чуковской за 1945 год, в котором она, со свойственной ей суховатой четкостью, без лишних словесных красот, перечеркивает Грина как писателя: «Мельком я сказала о Грине, что он очень плох, что его формалисты выдумали. Плохой писатель без языка, без мыслей, без людей»²⁵.

Повторюсь, при всех своих различиях Бунин и Чуковская равновелики своей полной поглощенностью сферой русской литературы: они жили не столько ей, сколько в ней... К тому же они оба обладали исключительным литературным вкусом, все, что говорилось и писалось ими по этому поводу, всегда было предельно искренне, шло от сердца – от него, значит, и отзывы, уничтожавшие писателя Грина, выводившие его за грань настоящего творчества.

Я помню, как меня, покоренного Грином еще в детстве, шокировали отзывы этих более чем достойных людей – бунинский был прочитан мною много лет назад, Чуковской – совсем недавно. Сейчас же, по мере того как я пытаюсь разобраться с поставленной проблемой, шок проходит – приходит понимание того, что все закономерно: чем больше тот или иной человек поглощен стихией русской литературы,

тем более чужд и неприятен ему должен казаться писатель-дезертир, писавший под псевдонимом Александр Грин.

Побег

- Почему он уходит всё дальше? – глубокомысленно спросил комендант, следя за дальнейшим уменьшением фигуры Батля. – Это... побег?

- Побег?.. Он идет шагом, – возразил лейтенант.

Александр Грин. Пришел и ушел

Знакомясь с биографией Грина, неизбежно приходишь к выводу, что вся его жизнь (до определенного момента) представляла собой цепь побегов, совершаемых на двух планах – физическом и духовном. Там, где у других людей заурядные переезд, смена работы, круга общения, – у Грина – побег, знаменующий собой полный, безоговорочный разрыв с тем, что было; там, где у других более или менее плавный переход на новые жизненные позиции, – у Грина опять-таки побег за побегом...

Началось все это еще в раннем детстве. Грин, родившийся в 1880 году, рано потерял мать; мачеха мальчика невзлюбила; отец, как мне представляется, так никогда и не разобрался в своих чувствах к сыну. У Грина практически не было друзей – ни в детстве, ни в юности, то есть в ту пору, когда одиночество особенно печально и опасно... Учение у мальчика шло с трудом; оно было тоскливым и рутинным, как, впрочем, и вся жизнь в захолустной Вятке. «Чтобы понять это, – писал впоследствии Грин, – надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города»²⁶.

Спасение пришло вместе с несколькими ящиками книг, унаследованных Гриневскими от своего родственника. «Майн-Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Луи Жаколио были моим необходимым чтением... Математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чте-

нием походов капитана Гаттераса и Благородного Сердца... Играть я любил больше один... Я наструживал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи... Я делал луки и стрелы в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой... Перед моими глазами в воображении вечно были американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня, как музыка. Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томительно желанной действительностью»²⁷.

В сущности, главный побег уже состоялся – чуть ли не в младенчестве... Во всяком случае это было движение в нужном направлении. Грину предстоял долгий и томительный путь – и в действительном мире, и в мире вымысла. Но в один прекрасный день случилось чудо: эти два параллельные пути совпали, сошлись в одной точке. И тогда, только тогда началась по-настоящему счастливая жизнь...

Обратим, кстати, внимание на слово «всегда» в заключительной фразе гриновской цитаты. Оно, на мой взгляд, является ключевым для понимания Грина. В самом деле, кто из начитанных мальчиков, гимназистов или «реалистов» конца века, не переживал подобных увлечений, не бредил Америкой... Чеховские «Мальчики» были написаны примерно в то время, когда Саша Гриневский совершил свою попытку к бегству в эту страну обетованную. Но обычно «индейская романтика» изживалась с переходным возрастом; Майн-Рид и Эмар с железной неизбежностью вытеснялись Чернышевским и Глебом Успенским, перестрелки с гуронами сменялись борьбой за социальную справедливость – вертикальное поле начинало засасывать русскую молодежь...

Однако в этом угрюмом, неухоженном мальчишке была некая внутренняя сила, которая позволила ему довольно долго противостоять не только рутине житейской, но и рутине героической. В юности он продолжал читать так же много, как и в детстве, но увлекали его по-прежнему «не те» книги. При этом Грин отмечал в своей «Автобиографической повести», что уже к двенадцати годам он «знал русских классиков до

Решетникова включительно», но Купер, Эдгар По, Дефо – «были сильнее». Под их влиянием, вспоминал Грин, «у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу – жизни охотника». Позже «лесную» романтику потеснила морская: «Я старался, где мог, узнать о море, о морской службе»²⁸. Мальчик готовился к побегу – к побегу реальному, в действительном мире.

И этот побег состоялся... Первая детская попытка удрать «в Америку», как оказалось, была лишь прологом к грандиозному хождению по Руси. В 16 лет Грин покинул «тщеславную и мнительную Вятку», ради моря – уехал в Одессу, надеясь поступить в мореходные классы. Этого сделать не удалось, но по Черному морю Грин поплавал-таки – юнгою; побывал в Севастополе, Керчи, Батуме... Затем были Баку, Астрахань, Северный Кавказ, Урал; были изнурительные работы на рыбных промыслах и золотых приисках; было полуголодное бродяжничество и прямое нищество. Именно в это время Грин насыщается впечатлениями чуть ли не на всё будущее писательство; именно в это время он делает первые шаги на пути в Зурбаган...

Отметим характернейшую черту: «Автобиографическая повесть» создавалась в начале 1930-х годов, когда чужеродность писателя Грина была, наконец, осознана властью предержащими и публикации его произведений практически прекратились. В самом деле: прожить почти пятнадцать лет в стране Советов, в которой, как известно, параллельно с социализмом неотвратимо побеждал социалистический реализм, и ухитриться в своих многочисленных произведениях **ни словом** не упомянуть эту великую страну с ее грандиозными успехами – это надо было суметь. Действительно, «писатель-уник»²⁹... И вот, казалось бы, где, как не в биографии, написанной предельно реалистично, и постараться было хоть немного «заслужить» у этой власти, так возлюбившей «угнетенного работника», а заодно с ним, с легкой руки Горького, и разнообразных маргиналов «прежнего времени». Тут бы и показать, на личном примере, как зреет народный гнев, как «прокля-

тая действительность» порождает ненависть к эксплуататорам...

Ничего подобного в «Автобиографической повести» нет. Грин постоянно писал о том, чего не было в реальности, но никогда о том, чего не было в нем самом. Нигде на страницах своей автобиографии он не испытывает «социальной ненависти», нигде не противостоит социальной несправедливости; он — живет: мучается невозможностью стать полноценным матросом, страдает от непосильной работы и недоедания, наблюдает, чувствует, впитывает в себя самые разнообразные впечатления. Взор его был устремлен не в небеса, а к линии горизонта... Воспоминания Грина, суховатые и сдержанные там, где он говорит о своей собственной нескладной судьбе, становятся захватывающе лиричными, когда в них воспроизводятся впечатления — те, которые были **действительно важными**, являясь вехами на пути в Зурбаган.

«...Просунув голову в окно машинного отделения, я изучал движения блестящих частей машины, сильную круговую наддачу рычагов, бесшумное трение эксцентриков, возню внизу у катка замасленных кочегаров; иногда один из них влезал наверх и лил из масленки желтое масло на горячую сталь машины. Перегнувшись через борт, я смотрел на красные лопасти колеса, бьющего воду, на отгоняемый пенистый бугор... Однако все эти явления интересовали меня, по преимуществу, зрительно, и я не помню случая, чтобы я спрашивал кого-нибудь об их технике, об их связи между собой, об их природе.

Я только смотрел и запоминал»³⁰.

Таких «зурбаганских» впечатлений в «Автобиографической повести» не так уже и мало. Но они постоянно перебиваются другими — чисто русскими... Жизнь вообще не щадила Грина, а в это время — особенно. **Этот** побег, в общем-то, не удался: Грина, как перекати-поле, шесть лет носило по лицу земли Русской, мяло, трепало, коверкало... А затем, ослабевшего от лишений, его подхватила-таки вертикаль — в два приема: сперва армия, потом — эсеры.

Не могу не процитировать те строки Грина из автобиографии, которые кажутся мне символическими. Воспроизводя через тридцать с лишним лет свои первые впечатления от портового города, от моря, Грин писал: «Странно поразило меня такое явление: морская, чуть туманная даль (горизонт) стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут мое зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал: я думал, что морская даль тянется гораздо дальше»³¹. Вот в том-то и было дело, что линия горизонта лежала, казалось, почти рядом — а за ней скрывался Зурбаган... Но пробиваться туда пришлось через мощное вертикальное поле; других путей в страну обетованную, очевидно, не было.

Армия, собственно, стала лишь заминкой на пути к горизонту, но заминкой серьезной. Сам Грин в 1902 году пошел на службу добровольно³²: скитания по Руси, полная неспособность устроиться в этой жизни «по-человечески» истомили его тоской, усталостью, голодом. Армия должна была не только одеть и накормить его, но и сделать «таким, как все». Об этом, кстати, мечтал его отец. Однако Грин, никогда и никому не подчинявшийся внутренне, искусства армейской службой просто не выдержал. «Моя служба, — писал Грин, — прошла под знаком непрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина «сделает меня человеком», не сбылись». Позднее Грин рассказывал жене, что из десяти месяцев службы три с половиной он провел в карцере на хлебе и воде³³. Затем, в ноябре 1902 года, он из армии бежал.

Очевидно, это очередное бегство стало для Грина физической необходимостью. Бежать же он смог лишь благодаря эсерам, которые вели пропагандистскую работу в армии. Помогая Грину, они не только совершили очередной антигосударственный подрывной акт, но и получили нового члена партии, готового с головой уйти в революционную борьбу.

Период активного участия Грина в делах эсеровского

подполья продолжалось совсем недолго – один год. В ноябре 1903 Грин был арестован и следующие два года провел в тюрьме. Революционеры и революционная деятельность произвели на Грина впечатление сильное и, несомненно, тяжелое. Это следует из наиболее значимых ранних рассказов писателя – о чем речь пойдет чуть ниже. Характерно также, что революционная тематика, поначалу определявшая все творчество Грина, быстро и безвозвратно исчезает из него. Не менее характерно, что после освобождения из тюрьмы в конце 1905 года Грин не только отходит от эсеров и революции – он приобретает устойчивую неприязнь к каким бы то ни было воспоминаниям на эту тему³⁴.

Здесь не место подробно выяснять те мотивы, которыми руководствовался Грин, уходя в подполье. Гораздо важнее выяснить, почему он ушел из подполья, почему из него так и не получился революционер. Мне представляется, что Грин очень быстро должен был понять: он не найдет в подполье того, что искал всегда и всюду в своих скитаниях, – счастья... Совершенно очевидно, что для него, человека с детства страдавшего от одиночества и в то же время не терпевшего никакого насилия над собой, счастье определялось – достаточно полно – двумя понятиями: любовью и свободой.

То, что подполье – это несвобода, было ясно по определению: все существо человека подчинялось там жестким программным установкам и требованиям партийной дисциплины. Грин же недаром сразу поразил подпольное начальство – а затем стал раздражать и даже пугать его – своим полным равнодушием к «революционной теории» и такой же полной, безбрежной недисциплинированностью в отношении революционной практики³⁵. Покушений на свою свободу, как внешнюю, так и тем более внутреннюю, Грин не выносил, по-моему, физиологически...

Что же касается любви – и в самом широком, и в узком, главном смысле этого слова, – то, казалось бы, ее Грин впервые обрел именно в эсеровском подполье. У него появились друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту; севастьяпольская подпольщица Катя Бибергаль стала, очевид-

но, первой серьезной любовью Грина (ее очаровательный образ писатель воссоздал впоследствии в рассказе «Маленький комитет»).

Однако, очень скоро выяснилось, что и дружба и любовь в партийной среде **полностью** зависят от твоего отношения к партии, от твоего подчинения ее требованиям. Несвобода, превращавшая «партийцев» в жертвенных слугителей отвлеченных принципов, неизбежно коверкала, а то и убивала напрочь живое человеческое чувство. Что такое эсеровская дружба, которая при первых подозрениях в нелояльности оборачивалась самой беззастенчивой слежкой, Грин очень выразительно показал в рассказе «Маленький заговор», речь о котором впереди. Любовь же к Кате Бибегаль, поначалу разделенная, кончилась такой трагедией, которая тяжело травмировала Грина и чуть не погубила его возлюбленную³⁶.

Конечно, это была не армия, но то, что Грин называл «насилием», и то, что, по сути, было дисциплиной, неизбежно существовало и здесь. Партийную дисциплину Грин игнорировал так же последовательно, как и армейскую. Но партия в ещё большей степени, чем армия, покушалась на его **свободу внутреннюю**, с чем Грин смириться, конечно же, не мог.

Разрыв с подпольем был очень серьезным испытанием, даже искушением – ведь эсеры многое дали Грину...³⁷ Однако Грин, как всегда, остался верен себе. Попав по ходу своей революционной деятельности в тюрьму и совершив там неудачную попытку к бегству, а затем в 1906 году в ссылку – бежать оттуда удалось без особых проблем, Грин в это время совершает свой главный духовный побег – побег с вертикали. Причем делает это вполне сознательно, предвидя далеко идущие последствия. Шаг за шагом Грин приближался к возжеленной цели.

Побег-2

Замыслил я побег...

А. С. Пушкин

Мне опять приходится дублировать название предыдущей подглавки, переходя на этот раз с плана физического на план духовный. Писал, как жил...

У каждого писателя есть свои определяющие темы, которые владеют им нередко не столько на сознательном, сколько на подсознательном уровне. У Грина среди таких тем одна из главных – побег, что в свете вышеизложенного удивлять, конечно, не может. Около полутора десятков рассказов Грина в основе своего сюжета имеют побег; эта тема проходит и через крупные произведения писателя. Особенно часто, вплоть до навязчивости, она звучит в творчестве раннего Грина, дореволюционного – то есть Грина, прокладывающего путь в Зурбаган... Характерно в высшей степени, что именно побегу посвящены самые первые произведения писателя в обеих его ипостасях: российской – рассказ «В Италию» и зурбаганской – рассказ «Остров Рено». Если первый из них, написанный, впрочем, весьма динамично, довольно зауряден по содержанию – преследуемый полицией и филерами революционер остроумно уходит от погони, то «Остров Рено» наряду с такими рассказами революционного цикла, как «Карантин» и «Маленький заговор», в контексте нашей статьи представляет огромный интерес.

Во всех трех случаях Грин однозначно и безоговорочно решает дилемму, которая, очевидно, в эти послереволюционные годы – 1908–1909 – была для него жизненно важной. Во всех трех случаях герои, позиции которых автор явно и нескрываяемо разделяет, – собственно, каждый из них есть сам Грин, – противостоят некоему абстрактному принципу, во имя которого им предстоит убивать и быть убитыми.

Наиболее важен, **первичен** в этой цепочке рассказ «Карантин» – остальные два представляют вариации на раз-

работанную в нем тему. Рассказ предельно автобиографичен, даже интимен. Все, что происходит с его главным героем, Сергеем, довелось совсем недавно пережить самому автору. Так же, как и Сергей, сразу же после вступления в эсеровскую партию Грин напросился на совершение теракта и был отправлен на карантин — то есть поселился с поддельными документами в глухой провинции, у случайных людей, совершенно не связанных с подпольем, с тем чтобы, пожив у них достаточно долгое время, приобрести «новое лицо»: прекратить все отношения с товарищами, уйти из-под любого, даже случайного, контроля полиции и — явиться убивать никому неведомым незнакомцем, чью личность и связи установить будет предельно сложно... Кроме того, это томительное ожидание, которое иной раз продолжалось несколько месяцев, должно было, конечно же, служить серьезной проверкой выдержки террориста-смертника и его готовности совершить задуманное. В обоих случаях, автобиографическом и литературном, карантин приводит к тому, что и сам Грин, и его герой — Сергей решительно отказываются от совершения теракта.

Переживаниям героя на карантине — то есть своим собственным — и посвящен этот рассказ. Суть их сводится к следующему: Сергею, герою рассказа, предстоит убить — неведомо кого, некоего совершенно абстрактного представителя власти, — а затем, почти неизбежно, умереть самому. А он умирать не хочет. Звучит все это банально, как банально, наверное, и само желание жить... Однако именно это желание заставляет героя рассказа — и, естественно, его автора — решительно противостоять философии вертикали, в контексте которой подобная позиция выглядит самым заурядным предательством. А философия эта в том кругу, где постоянно пребывал в это время Грин, господствовала безраздельно; и что толку было сознавать себя нормальным человеком с обычными человеческими желаниями, если до конца жизни тебя будет терзать внедряемое извне ощущение твоей трусости и подлости... Чтобы противостоять такой мощной силе, надо было создавать свою философию, так сказать, го-

ризонтальную: надо было отстаивать свое право и на личное бытие, и на личное счастье – не за облаками и не на «новой земле», а на этой самой, грешной... И наш автор-недоучка – четыре класса городского училища, выпестованный Стивенсоном и Эдгаром По, за эту задачу взялся, решая ее так, как мог – в своих рассказах и повестях, речами и делами своих героев. А затем сумел и всю свою жизнь построить соответственно – потому что обладал нежным сердцем и сильной душой. Жил, как писал...

Карантин в одноименном рассказе дал Сергею – так же, как в реальной жизни Грину, – почти забытое им ощущение прелести обычного, повседневного бытия, позволил вырваться из тисков той почти противоестественной жизни, которая заставила его принять смертоубийственное решение. «Далекий город встал перед глазами, окруженный лесом труб и стадами вагонов. Он шумно, тяжело дышал и смеялся в лицо Сергею звонким металлическим смехом, весь пропитанный мрачным, фанатичным налетом горения мысли. Там, в центре кипучей, бешеной лихорадки нервов, огромный механизм жизненных сплетений неустанно ковал в сотнях и тысячах сердец волны чувств и настроений, окружая Сергея немой, загадочной силой порыва». Всё подводило к тому, чтобы картина, которую герой внутренним взором видит в углу, «где корбились порванные обои», стала воплощенной реальностью: «...показались далекие мостовые, люди, фонари, вывески. Толпятся лошади, экипажи. Кто-то едет... Кто-то бледный, с липким холодным потом на лице и грозой в сердце подымает руку, и всё хохочет вокруг гремящим, страшным смехом и рушится...»³⁸

Но карантин в некоем заштатном городке, который даже и «не город, а скорее слобода», заставляет героя взглянуть на жизнь иначе. Даже не заставляет, а позволяет – «по мере того, как отъедалось и отдыхало его обессиленное, изнуренное тело, полное сильной горячей крови». Дело в том, что в этом мире, называемом «карантином», была весна; был сад, который «ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней

до верхушек, прозрачным благоуханным снегом» – яблоневым цветом. Было «зеленое озеро нежной молодой травы... пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине». Был «воздух, хмельной и жаркий»... И, как неотъемлемая часть этого пленительного мира, была местная красавица Дуня – существо, очевидно, вполне заурядное с позиций вертикали. Но в новом восприятии Сергея эти позиции рушились на глазах: «Там, откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движений, недалеких и сильных, как земля. Сергей опустил глаза на ее мягкую круглую грудь и тотчас же отвел их...»³⁹

Вот, собственно, и всё... Для начала. Для того чтобы выйти из-под морока вертикали, нашему герою – Сергею ли, Грину ли, всё едино – оказалось достаточно несколько недель пожить нормальной человеческой жизнью – ведь всё вышеназванное наша грешная земля давала и дает до сих пор в изобилии.... И, что было не менее важно: потребность во всем этом жила в душе нашего героя изначально; душистый майский полдень, прозрачный снег яблоневого цвета, влечение к женщине, как к спасительной силе, – все это было забито, затоптано, отброшено, как ненужная помеха... И возникло сразу же, как только судьба-каторжанка дала Сергею – Грину передышку. Карантин, задуманный героями вертикали, как подготовка к смерти, оказался спасительной тропой, возвращающей на дорогу жизни. Какой будет эта «неясная жизнь»? Ответа на этот вопрос карантин не давал, поиски его еще предстояли. Пока же... «Жить! – сказал он негромко, прислушиваясь. – Хорошо...»⁴⁰

Вскоре после «Карантина» Грин в рассказе «Маленький заговор» снова вернулся к этой, очевидно, томительной для него теме: отказ во имя жизни от подвига, несущего смерть. Кстати, карантин, сыгравший такую роль в судьбе писателя, смутно присутствует и здесь. Однако Грин, на мой взгляд, весьма остроумно варьирует тему. Проблему самоубийства террориста как платы за смерть «врага» – сановника ставит и пытается решить не сам смертник, а третье, пусть и заинтересованное лицо. Это придает рас-

сказу менее интимный, личный характер; и само повествование и суждения главного героя выглядят более объективными, чем в «Карантине», — хотя страсти кипят здесь куда круче...

Роль главного героя, высказывающего мысли Грина и совершающего поступки, которые мог бы совершить и сам писатель, играет Геник — один из лидеров местной партийной организации⁴¹. Поступок по ходу рассказа он, собственно, совершает лишь один — отправляет юную восемнадцатилетнюю девушку, рвущуюся совершить теракт, на ложный карантин, пытаясь скрыть ее от своих соратников и тем спасти ей жизнь. Это решение приходит к нему спонтанно, но выглядит совершенно оправданным. Грин с удивительным мастерством, избегая каких-либо внешних деталей, создает образ девушки, готовой принести себя в жертву, — образ настолько трогательный и целомудренный, что становится очевидным: никакой нормальный человек эту жертву принять не может. В то же время Геник хорошо понимает, что окружен людьми, одержимыми высокой идеей смертоубийства во имя общего блага — то есть не нормальными. Поэтому он считает себя вправе солгать девушке — во имя ее спасения, а затем скрывать ее местонахождение от своих соратников, более чем заинтересованных в принесении этой жертвы. Его несколько несвязная речь перед недоумевающими «жрецами террора», не повторяя переживаний Сергея из «Карантина», является, по существу, вариацией на ту же тему.

«Но ей восемнадцать лет... Я не знаю, как вы смотрите на это... но молодость... то есть, я хочу сказать, что она еще совсем не жила... Рассуждая хорошенько, жалко, потому что ведь совсем еще юный человек... Ну... как-то неловко... Конечно, она сама просилась и всё такое... Но я не согласен... Я долго и сильно думал... Я пришел к тому, что грешно... Ей-богу. Ну хорошо, ее повесят, где логика? Посадят другого фон Бухеля, более осторожного человека... А ее уже не будет. Эта маленькая зеленая жизнь исчезнет, и никто не возвратит ее. Изобьют, изувечат, излома-

ют душу, наполнят ужасом... А потом на эту детскую шею веревку...»⁴²

Геник запинается не случайно: он заранее знает, что его не поймут, что его осудят... И действительно – «товарищи» в шоке! Вот это Грину, пожалуй, особенно хорошо удалось: выразить *полную* невозможность взаимопонимания между людьми, хранившими в себе дыхание реальной жизни, и теми, кого вертикаль захватила целиком и полностью, исковеркав необратимо. Даже Валериан, эсер, принимающий отказ Сергея в «Карантине» и относящийся к своему подопечному с очевидной человечностью⁴³, пониманию недоступен. Что же касается «товарищей» из «Маленького заговора», то, рисуя их впечатление от слов Геника, Грин совершенно беспощаден – за что и заслужил впоследствии комплименты от советских литературоведов: «Впечатление это было родственно и близко ощущению человека, пришедшего гостем в хороший фешенебельный дом и вдруг увидевшего среди других гостей и знакомых уличную проститутку, приглашенную к обеду, как равная к равным. То же смешливое, досадливое и бессильное сознание неуместности и ненужности, любопытства и подозрительности... каждый из трех... с нетерпением, доходящим до зуда в теле, ожидал, когда кончит Геник, чтобы разом, рванувшись мыслью, затопить и обезоружить его новую, странную и неуместную логику»⁴⁴. Нет, не могло быть понимания, не могло быть мира между людьми столь разными... От них можно – и нужно – было только бежать, и физически, и духовно. Недаром Грин, вырвавшись из подполья, не только избегал встреч с бывшими соратниками, но и почти никогда не вспоминал своего эсеровского прошлого.

И наконец, «Остров Рено» – важнейшая веха в творчестве писателя вообще и в решении интересующей нас темы в частности. Этот рассказ был опубликован – и, очевидно, написан – сразу же вслед за «Маленьким заговором», в том же 1909 году и в том же «Журнале для всех» («Заговор» в № 4, а «Остров» в № 6). Если учесть, что «Остров Рено» был *первым* рассказом Грина, действие которого происходит не в России, а в некотором вымышленном пространстве, то, я

думаю, легко понять, что именно толкало Грина в этом направлении, от кого или, вернее, от чего пытался он скрыться... Отмечу в то же время, что от острова Рено до Зурбагана — дистанция огромного размера. В этом рассказе Грин еще далек от того, чтобы начать созидать новый мир; пока что он рассчитывался со старым... И литературная критика, обычно глухая по отношению к творчеству Грина, сумела отчасти это уловить. «Может быть, этот воздух совсем не тропический, — писал сотрудник «Киевской мысли» Л. Войтоловский, — но это новый воздух, которым дышит вся **современность** (выделено мною. — А.Л.) — тревожная, душная, напряженная и бессильная...»

Рассказ ведь все о том же... Читая его после «Карантина» и «Маленького заговора», хорошо понимаешь, что давал писателю, в данном случае, воображаемый мир. Отказавшись от передачи жизненных реалий, Грин стал несравнимо свободнее в решении мучившей его темы; он смог выразить свое отношение к ней предельно четко — и тем самым, очевидно, освободился от нее, получив возможность двигаться дальше...

В этом рассказе есть практически все то, что составляло сущность предыдущих: жесткий и убийственный абстрактный долг; противоречащий ему чарующий мир реального бытия; безусловный выбор, который главный герой делает в пользу жизни и свободы, обещанной этим миром. Но до чего же вся эта сущность здесь сконцентрирована, доведена до предела выразительности, а вместе с тем и ясности!

На месте милого, но привычного «майского душистого сада» здесь — тропический лес, оказавший гипнотическое воздействие не только на главного героя, матроса Тарта, но и на мало впечатлительных обычно литературных критиков. Вот где сказалась школа, скрытая в сундуках, полученных по наследству! «Казалось, что из огромного зеленого полотна прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг...

Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом...»⁴⁵

В свою очередь и матрос Тарт куда «круче» своих российских предшественников. Он лишен даже намека на те сомнения, которые одолевали их. Превыше всего на свете Тарт возлюбил свободу. И с военного корабля Тарт дезертирует не только потому, что идет война, а он не хочет умирать. Он еще и не хочет «ни служить, ни унижаться, ни быть там, где ему не по сердцу». Более того. «Люди перестали существовать для Тарта, — говорит он матросу, пытавшемуся вернуть его. — ... Он искренне извиняется перед ними, но решил пожить один»⁴⁶. И это не поза, а жизненная позиция, во имя которой он сам готов убивать беспощадно.

А убивать придется неизбежно — потому что «люди долга» в этом рассказе не ограничиваются негодующими восклицаниями и обличениями. На Тарта организуют облаву, и он, перестреляв нескольких своих недавних друзей, сам гибнет от их пули. Побег не удался... Мало того, он привел именно к тому, от чего пытался бежать герой Грина, — к уничтожению себе подобных и к самоуничтожению, в конечном итоге.

В своем творчестве Грин всегда был предельно искренен и честен и — никогда не лукавил в жизни... Совершенно очевидно, что бесплодная героини томила его и как человека, и как писателя; побег с вертикали был предопределен, но вот куда бежать? Этот вопрос долгое время оставался нерешенным. На физическом плане это был бог знает какой побег по счету — и все они были неудачны. Из тоскливой провинциальной глуши — в маргинальную «свободу», с голодом, холодом, непосильной работой... Оттуда — в казарму, в надежде отъесться и отогреться... Из казармы, с жаждой освобождения — в эсеровскую неволю, на вертикаль, с ее обманчивым, убийственным, абстрактным идеалом... Что же ожидало Грина теперь — возвращение к пройденному? Или что-то еще более страшное?

Обратим внимание, как нарастает трагизм на плане духовном, в рассказах, посвященных этому побегу. Если «Карантин» кончается в целом оптимистично, но с совершенно неясной перспективой для главного героя, то финал «Маленького заговора» вообще не очень-то и понятен... Я могу ошибаться, но, по-моему, Геник собирается там застрелиться. Рассказ же «Остров Рено», безусловно, венчает триумф смерти.

И, очевидно, с точки зрения тогдашнего Грина, это далеко не самый худший конец... Неприятие насилия, как физического, так и духовного, было определяющим для него и в жизни, и в творчестве. В образе Тарта эта позиция была выражена лапидарно и предельно четко. В борьбе за свободу Грин готов был не только подойти к самой грани своего бытия, но и заглянуть за нее. Судя по всему, путь за эту грань был для него вполне возможен. И слава богу, что Грин добрался до перекрестка, на котором можно было свернуть в Зурбаган. Но путь этот был тернист.

Жертвоприношение на оранжевых водах

Куда ж нам плыть?

А. С. Пушкин

Через два дня я поступил матросом на «Южный Крест» и поплыл в Шанхай... Интересно, интересно жить, Ингер. Сколько страха и красоты! Плакать же – стыдно.

Александр Грин. Дьявол оранжевых вод

У этой подглавки не будет дублера. Речь здесь пойдет о решающем повороте и в жизни, и в творчестве Грина, на котором духовное и житейское настолько слилось воедино, что разделить их – невозможно.

Путь Грина в новый мир – **свой** мир – действительно оказался тернистым. После разрыва с эсерами жизнь по-прежнему не складывалась – счастья не было... Порож-

денная этим тоска немедленно пробила в творчество, оставив там очень заметный след. Повторюсь: выдумывая очень многое, Грин никогда не выдумывал самого себя – все написанное им предельно адекватно духовному состоянию автора.

Суть кризиса, переживаемого в это время Грином, вполне понятна: быть неудовлетворенным тем, что тебя окружает, стремиться к прорыву в иное пространство, более того, сделать решительный шаг в этом направлении – все это, вместе взятое, было лишь началом процесса, результат которого оставался пока что непредсказуемым... «Безумству храбрых...» Право же, *личная* революция, часто почти незаметная для окружающих, по степени риска стоит революции политической.

От чего надо уходить, бежать без оглядки, было ясно в это время и гриновским героям, и самому их создателю. Власть стереотипов, владеющих этой несчастной страной, заставляла их искать свой, особый, счастливый мир. Но что это был за мир, какие пути ведут в него – ответы на эти вопросы еще предстояло найти. Покидая же вертикаль в поисках верного пути, легко было угодить и в волчью яму – нарыто их было по всей округе видимо-невидимо... После «Шапки-невидимки», в 1908–1914 годах, творчество Грина приобретает все более трагический характер...

А ведь казалось бы, на первый взгляд, именно в эти годы Грин добивается того, к чему стремился, – счастья... Он горячо влюбляется в очень хорошую, умную, надежную женщину, а затем и женится на ней⁴⁷, устраняя тем самым один из главных изъянов своего бытия – одиночество. В то же время он окончательно находит свое призвание – становится писателем-профессионалом, что обеспечивает ему относительную свободу. Эти великие – без кавычек – свершения, безусловно, отодвигают для Грина на задний план все остальное. Мало того – жена Грина, Вера Павловна (в этом предельно «вертикальном» имени-отчестве сейчас, задним числом, легко увидеть недобрый знак), человек, на него совершенно не похожий – хорошо организованный и упоря-

доченный, — довольно долгое время, находясь под обаянием своего беспутного мужа, шла ему навстречу и, казалось, вполне искренне разделяла его жизненные принципы. Во всяком случае, на страницах ее воспоминаний, написанных спустя чуть ли не сорок лет после замужества (и ностальгическая грусть, надо думать, заметно смягчает здесь отстраненность тогдашних переживаний), постоянная материальная неустроенность, житейские неурядицы, иногда совершенно фантастического характера, и, наконец, двухлетняя ссылка в Архангельскую губернию, куда она добровольно отправилась вместе с мужем⁴⁸, — все это было изображено не в духе каких-нибудь «Петербургских трущоб» или «Гнилых болот», а совсем «по-зурбагански»: увлекательно, без надрыва, даже весело...

Недаром Грин посвятил этой женщине, многим пожертвовавшей ради него, один из самых светлых рассказов, написанных в этот очень сложный период, — «Сто верст по реке»; некоторые черты Веры Павловны были воссозданы здесь в трогательном образе Гели. Более того, «Сто верст», на мой взгляд, вообще чуть ли не первый рассказ, в котором уже совершенно явственно ощущается неповторимая «зурбаганская» атмосфера — атмосфера «Алых парусов», «Бегущей по волнам», «Золотой цепи»... Вертикаль здесь сломлена: этот рассказ о взаимопонимании двух людей, о любви, о личном счастье. Именно он завершается фразой, которая до сих пор звучит как магическая формула, помни-те?... «Они жили долго и умерли в один день».

Тем более характерно, что этот рассказ, написанный в 1912 году, сыграл роль своего рода прощального привета: вскоре после возвращения из ссылки Грин и Вера Павловна растались. Мне кажется, это было совершенно разумное решение, принятое обоюдно, — недаром Грин и его бывшая жена в конце концов остались друзьями. Ключ к ситуации легко отыскать именно в образе Гели. Грин с редким искусством воссоздал в нем те черты характера Веры Павловны, которые привлекали его к ней в тяжелый период жизни. Гели из «Ста верст» спокойна, уравновешенна — и в то же время готова на

самый рискованный шаг ради любимого человека; очень рассудительна – и столь же доверчива к хорошему; отличить же хорошее от плохого Гели совсем не трудно, потому что душа ее чиста и зло к ней не пристает. И я уверен, всякий, кто внимательно и без предубеждения прочтет «Сто верст», а затем несколько глав, на выбор, из воспоминаний В.П. Калицкой, согласится: это писала Гели (точно так же под впечатлением удивительных воспоминаний Нины Николаевны Грин можно утверждать: это почерк Тави Тум из «Блестающего мира», сказочного существа, сильного своей незащищенностью, очаровательного своей верой в чудесное)⁴⁹.

Так вот, земное начало, выражавшееся в умении разумно устраиваться в этом мире, делало Веру Павловну замечательным соратником в борьбе с жизненными испытаниями: за все годы нелегального существования Грина в Петербурге, а затем – ссылки в суровый северный край она ни разу не подвела своего мужа, не дала ему ни малейшего повода усомниться в своей преданности. В жестком вертикальном мире Российской империи она была замечательным спутником жизни; но Грин-то бежал не только из ссылки, он – бежал из этого мира... И вот здесь его с Верой Павловной пути разошлись неизбежно. Эта так много, по воле Грина, испытывавшая женщина стремилась, в конце концов, зажить нормально, «по-человечески», наладить быт, создать покойную интеллигентную семью⁵⁰. Не буду вдаваться в подробности того, в чем конкретно выражалось это общее стремление; отмечу лишь, что для Грина в этой ситуации слово «покой», несомненно, ассоциировалось со словом «покойник» – недаром в сюжетах его рассказов этого времени постоянно мелькает самоубийство, которое, я думаю, в принципе, было ближе ему, чем подобное обустройство жизни.

Впрочем, Вера Павловна для упрочения семейного счастья предложила мужу то, что он должен был воспринять именно как вариант духовного самоубийства. «...В один из трудных в материальном отношении моментов (а таковые у Грина бывали постоянно) она ему сказала: – Что тебе стоит, напиши бытовой роман, его напечатают где угодно, бу-

дут деньги, не надо будет вечно одалживаться!»⁵¹ Вл. Сандлер совершенно справедливо, на мой взгляд, видит в этом заявлении доказательство духовной несовместимости супругов Грин, непонимания Верой Павловной существа творчества (и существа жизни) своего мужа. Очень уместно Сандлер цитирует в связи с этим выразительные строки из письма Грина В.С. Миролюбову, написанного примерно в это же время: «Мне трудно. Нехотя, против воли, признают меня российские журналы и критики: чужд я им, странен и непривычен. От этого, то есть от постоянной борьбы и усталости, бывает, что я пью и пью зверски. Но так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего, чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестоким более, чем средневековая инквизиция. Иначе нет смысла заниматься любимым делом»⁵².

Любимое дело поглощало Грина целиком — сам того не сознавая, он прокладывал путь в новую реальность. Те обычные уют и покой, которые обещались ему за счет предательства самого себя, за счет покорства господствующей вертикали, были ему не нужны. С Верой Павловной, которая из друга превратилась в противника, пришлось расстаться. В 1913 году Грин снова остался при своем одиночестве — и при своем творчестве.

Но, как было сказано выше, и с этой, по понятиям Грина, второй составляющей счастья дело обстояло неладно. Духовный кризис, отразившийся в творчестве Грина этого периода, был замечен и теми немногими современниками, которые следили за его творчеством, и литературоведами. М. Слонимский вспоминал по этому поводу выступление Грина на знаменитом в русской истории банкете литераторов в честь Герберта Уэллса, посетившего Россию в 1920 году: «Он приветствовал Уэллса, как художника. И он напомнил присутствующим рассказ Уэллса «Остров эпиорниса» — о том, как выкинутый на пустынный остров нашел там яйцо неизвестной птицы... и вырастил необыкновенное существо, от которого ему пришлось спастись, ибо его де-тище стремилось убить его. В человеке, вырастившем нео-

бычайную птицу, Грин усмотрел художника, в птице, гонящейся за ним, — плод его художественного воображения, мечту его. Эта мечта, по Грину, была способна убить ее носителя»⁵³.

Мечта, убивающая ее носителя... Конечно же Грин говорил о себе, о своих творческих муках предреволюционной поры — к 1920 году, году «Алых парусов», кризис был им, несомненно, преодолен. В те же времена, о которых идет речь, высокие стремления Грина срывались в пропасть, растекались талой водой, уходили в песок... Его рассказы этого времени, при все более совершенствующейся форме, поражают своей безысходностью. Побег, который сюжетно становится просто навязчивым, не удастся героям Грина — раз за разом...

Бегство Горна, главного героя «Колонии Ланфиер», от несчастной любви сопровождается кровавой бойней, коверкает чужие судьбы, приводит к полному разочарованию в жизни — той жизни, преклонение перед которой вдохновляло Сергея из «Карантина», одного из первых гриновских беглецов. Теперь же... «Он постоял немного, бросил взгляд в ту сторону, где ненужная ему жизнь протягивала объятия, и двинулся дальше...»⁵⁴ Куда?.. Беглый каторжник Ивлет из рассказа «На склоне холмов», гроза всей округи, лихо и весело противостоящий полицейским ищейкам, признается взятому в плен сыщику: «...Боже мой, я живу такой убогой нескладной жизнью. Воровать овец, грабить фермеров и делать пакости береговой охране, клянусь вам, скучнее, чем быть писцом у нотариуса»⁵⁵. Несколько рассказов — «Ночлег», «Происшествие на улице Пса» — заканчиваются самоубийством героев — бегством от неизбежных сложностей жизни в небытие.

«Пролив бурь» — рассказ, может быть, наиболее важный для понимания творчества (и жизни) Грина этого времени. Рассказ про пиратов... Его герой, юноша Аян, волею судеб, один раз в жизни, видит девушку, недоступную для него во всех возможных отношениях — по положению в обществе, богатству, уровню культуры, по карме, наконец. Девушка,

прости ее Господь, позволяет себе сказать потрясенному любовью с первого взгляда Аяну такие слова: «Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайте образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова – вы придите. Больше я ничего не скажу вам». В этих словах – вся будущая жизнь героя, посвященная одной, совершенно безнадежной мечте. «Умирая, одинокий, он скажет те же полные нежной веры и грусти, твердые, большие слова:

– Я – приду!

Он счастлив – не мы»⁵⁶.

Эта концовка, конечно же, автобиографична. В ней – весь Грин, не способный отказаться от мечты, даже если она несбыточна. Согласитесь, в этом безнадежном служении, помимо счастья, немало печали. Для самого Грина это время – начало 1910-х годов – угарное, пьяное, тяжелое. Нереализованная мечта ведь и в самом деле убивает...

В 1913 году Грин пишет два рассказа, совершенно не похожих друг на друга, и в то же время, на мой взгляд, связанных неразрывно; в этих рассказах – «Человек с человеком» и «Дьявол оранжевых вод» – совершенно ясно просматриваются симптомы выздоровления – писатель делает решительный шаг на пути в Зурбаган.

«Человек с человеком» – произведение, на первый взгляд, очень незатейливое и вполне «здешнее», российское. А между тем в нем программа будущей жизни и творчества писателя. Автор и герой рассказа, Аносов, рассуждают о сложностях бытия – точнее, рассуждает Аносов, а автор внимательно слушает. Разговор идет все о том же, о заветном... Аносов размышляет о том, как тяжело «жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке...», какой «колоссальной силой сопротивления» нужно обладать для этого – «поток чужих волей стремится покорить, унижить и поработить человека». Естественно, поминаются самые радикальные формы такого сопротивления – все тот же побег: в монастырь, на необитаемый остров... Автор интересуется, есть ли, по мнению его собеседника, альтернативы; можно ли сохра-

нить себя как личность, продолжая жить среди людей, в этой подавляющей вертикали чужих волей. «Да, – не задумываясь сказал Аносов, – но редко, реже, чем ранней весной – грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни». И далее Аносов рассказывает о своем случайном знакомом, который произвел на него именно такое впечатление. Этот человек спас его от самоубийства (!), привел к себе домой, помог – поразив при этом простотой и четкостью своей жизненной позиции. «Человеку нужно знать, господин самоубийца, – сказал он Аносову, – что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины – лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот все трое – одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем так мало – в глазах других. Оставьте других в покое...»⁵⁷.

Впервые в творчестве Грина так четко воспроизводится формула личного счастья: полное единение с теми, кто тебе по-настоящему дорог. Это возможно и здесь, в России, где все враждебно подобному подходу к жизни, – и Грин последовательно стремится к воплощению этой мечты в реальность (рассказ написан за 8 лет до счастливой встречи с Ниной Мироновой). Но почему бы этому великому мечтателю не помечтать об ином мире, где подобная форма жизни является не уделом одиночек, а общим достоянием?.. Рассказ «Человек с человеком», как мне представляется, заложил краеугольный камень зурбаганского бытия – недаром это чуть ли не последнее произведение Грина в «российском антураже»⁵⁸.

Но прежде чем окончательно уйти в Зурбаган, Грин достойно распрощался с родной действительностью, принес на границе двух миров искупительную жертву – недаром в рассказе «Человек с человеком» сказано: «Полезно быть так же человеком миропрятия языческого...»⁵⁹. И принесен был в жертву не кто иной, как «человек вертикали» – русский интеллигент. Жертва эта была именно искупительной – ког-

да-то давным-давно, у истоков своего существования, русская интеллигенция всем скопом принесла в жертву «высоким идеалам» обыденную жизнь, семейный уют, личное счастье...⁶⁰ Теперь мечтатель-одиночка, писавший под псевдонимом А.С. Грин, воздавал ей сторицею.

«Дьявол оранжевых вод», интереснейший рассказ сам по себе, к тому же уникален для творчества Грина. Это единственное произведение, где русский герой, эмигрант, интеллигент-разночинец Баранов и типичнейший зурбаганец, авантюрист Бангок встречаются на нейтральной территории – где-то в тропиках, «между Австралией и Китаем». Оба они оказываются в одинаково затруднительном положении – их, как безбилетников, высаживают на пустынном берегу, и они сообща пробираются через джунгли к обитаемым местам – к Сан-Риолю, городу, между прочим, иного, зурбаганского мира.

Весь пафос рассказа, который ведется Бангоком, – в столкновении двух совершенно несовместимых натур. Бангок, человек ясно мыслящий, четко осознающий свои личные цели и последовательно стремящийся к ним, совершенно ошеломлен своим попутчиком, вполне здоровым и физически сильным, но совершенно не приспособленным к решению жизненно важных задач человеком. Баранов переживает, рефлексировать – в тех критических ситуациях, когда, по мнению Бангока, нужно лишь одно: действовать.

«– Вы больны? – спросил я.

– Нет... то есть... это странное состояние. Сейчас мне захотелось подойти к борту и прыгнуть вниз.

– Почему?

– Слушайте – быстро заговорил он, – разве вы не чувствуете? Вы плывете куда-то на большом, чужом пароходе, по чужому морю, кругом ночь, тишина, звезды, все спят. Понимаете? Человек трагически одинок... Зачем я? Кто я? Зачем жить?»

Эти речи – очень искренние и прочувственные – звучат постоянно, в самые неподходящие моменты, производя на плохо понимающего их Бангока одуряющее впечатление,

которое он сам сравнивает с дьявольским искушением: «Он же продолжал говорить... – о человечестве, борьбе классов, идеализме, духе и материи, о религии и машинах, все в том же убийственно безнадежном тоне, и я заметил, что все его разглагольствования лишены центра, основной идеи и убеждения... Смысл его речи можно было изложить в трех словах: уныние, недоумение, трепет».

В сущности, все сложные рассуждения Баранова сводятся постоянно к одной простой идее – жить не стоит, потому что все равно не выжить... И по всему ходу рассказа очевидно, что этому человеку, «заговорившему» самые простые сущностные понятия, действительно жить не стоит – нет смысла... Это хорошо понимает Бангкок: когда уже в виду Сан-Риоля русский заявляет о своей «усталости» и просит попутчика помочь ему уйти из жизни – возражений эта просьба не вызывает. «Я долго смотрел в помертвевшее его лицо, обдумывая эту слишком серьезную просьбу, и... нашел, что так действительно для него лучше... Выстрел показался мне оглушительным»⁶¹. И этим выстрелом был убит не только русский интеллигент Баранов, погрузившийся в оранжевые воды далекой реки; вместе с ним и сам автор окончательно уничтожил в себе то, что должно было умереть.

Продавец счастья

(вместо эпилога)

Пропев несколько песен о любви, цветах, вине и веселье, человек с ящичком выступил вперед и сказал:

– Купите, господа, счастье! Роль маленького попугая выполняет моя жена.

И монеты одна за другой стали падать в шляпу Мюргита.

Александр Грин. Продавец счастья

И боги приняли эту жертву... В самые тяжелые для России годы, в гражданскую войну, Грин переживает расцвет

своего творчества: он пишет «Алые паруса» – феерию, с которой, собственно, и начинается настоящий и неповторимый Грин. Одновременно к нему приходит личное счастье, без которого этого, настоящего Грина никогда бы не было.

«Алые паруса» были в целом закончены в 1921 году. В том же году ненастным февральским днем Грин увидел на Невском проспекте молоденькую девушку, которую за несколько лет до этого он встречал в редакции одной из петербургских газет. Девушка была несчастна и одинока... Впрочем, своими словами эту историю лучше не пересказывать.

«День сер, все встречные кажутся мне озябшими, серыми и несчастными. Равнодушно скользит по ним глаз. Неожиданно среди этих, одинаковых, мелькнуло вдали что-то знакомое. Вглядываюсь: высокий пожилой человек в черном пальто идет мне навстречу, тоже всматриваясь в меня. Не вспомню – кто это, но где-то видела его и, уже поравнявшись, сразу вспоминаю и вскрикиваю: «Александр Степанович?!» И одновременно он: «Нина Николаевна! Вы ли это?» – «Я, я самая... Вот-то неожиданная встреча!» – «А я издали вас узнал, но глазам не верю, ведь думал, что вы погибли...» – «Нет, слава богу, жива, но узнать, конечно, трудно. Вас я еле вспомнила». Поговорили несколько минут. Я торопилась на поезд и стала прощаться».

С этой случайной встречи началась история удивительной и неповторимой любви Александра Грина и Нины Мироновой. «Расставаясь с тобой, – рассказывал позже Александр Степанович, – я пошел дальше с чувством тепла и света в душе. Вот это наконец-то она... – думал я»⁶². Это действительно была «она», долгожданная... С своей редкой цельностью, слиянностью творческою и житейскою, Грин смог создать свой мир в книгах лишь потому, что сам жил в нем – благодаря Нине Николаевне кусочек Зурбагана существовал некоторое время на берегу Черного моря в Феодосии, затем – в Старом Крыму.

...На самое интересное и важное, как всегда, не хватает ни времени, ни места. Впрочем, миру, созданному Грином, должна быть посвящена особая книга – серьезная, умная, добрая,

хотя бы отчасти адекватная этому миру. Мне же остается добавить лишь одно: если бы потребовалось изложить содержание этой статьи в самых простых символах (а сам Грин, кстати, любил символику), я бы выбрал такой – руки многих людей, яростно вздымаемые к небесам, медленно опускаются для того, чтобы соединиться друг с другом в бережном пожатии.

2004. Феодосия – Москва

Примечания

¹ Отвлекусь сразу же на выяснение вопроса, хоть и вынесенного в сноску, но для меня принципиального. Мне, в отличие от большинства литературоведов, совсем не нравится выдуманное ими (К. Зелинским, если не ошибаюсь) название мира, созданного Грином, – «Гринландия». С юношеских лет это название производило на меня впечатление то ли небрежной и потому оскорбительной оговорки, то ли, что еще хуже, злокачественной банальности. Звучит оно почти пародийно по отношению к реально существующей пустынной северной земле – существу антиподу той цветущей страны, которую создал Грин; англоязычное его происхождение как бы в очередной раз намекает на вторичность произведений Грина, на их «переводной», подражательный характер – сам писатель подобных «англоизмов» избегал. Да что там долго говорить: сравните чарующие слух крылатые названия: Зурбаган, Лисс, Сан-Риоль, Гель-Гью – и безнадежно приземленную «Гринландию»... Само звучание этой литературоведческой выдумки в принципе несовместимо с топонимикой Грина. И, наконец, что особенно важно, сам писатель не считал нужным дать *общее* название своему миру – и, я думаю, не случайно (об этом так же, как и о топонимике и географии Грина в целом, разговор еще впереди).

В своей статье я, во всяком случае, предпочитаю обходиться авторскими названиями. Зурбаган же попал в заголовок и чаще других топонимов будет упоминаться в тексте по двум причинам. Во-первых, единственная зафиксированная самим писателем удачная попытка его «здешнего» героя прорваться в мир Грина привела этого героя именно в Зурбаган (см. «Фанданго»); значит, именно там встречаются эмигрантов. Во-вторых, по моему субъективному впечатлению, это название вообще является ключевым, чем-то вроде магического заклинания; на меня, во всяком случае, оно действует точно так же, как на одного из героев Грина волшебное слово «Ар-вентур» (см. «Наследство Пик-Мика»).

² В 1972 году в Ленинграде был издан замечательный сборник этих воспоминаний, вполне достойный своего героя. Создатель сборника Вл. Санд-

дер собрал то небольшое, что «вспоминалось» о Грине на страницах периодики; ряд текстов был написан специально для сборника. В его состав вошло также документальное исследование самого Сандлера «Вокруг Грина», до сих пор не имеющее аналогов.

³ Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972 (далее - ВАГ). С. 205.

⁴ ВАГ. С. 205.

⁵ ВАГ. С. 216.

⁶ ВАГ. С. 179.

⁷ ВАГ. С. 167.

⁸ ВАГ. С. 279.

⁹ ВАГ. С. 235.

¹⁰ Так называемый Дом Искусств, созданный по инициативе А.М. Горького в Петрограде в годы гражданской войны как писательское общежитие, своего рода приют, для многих ставший настоящим спасением.

¹¹ ВАГ. С. 241.

¹² Там же.

¹³ ВАГ. С. 258.

¹⁴ ВАГ. С. 166-167.

¹⁵ ВАГ. С. 218.

¹⁶ ВАГ. С. 214.

¹⁷ За весь двухсотлетний период Венгеров находил лишь один эпизод, когда общие для русской литературы принципы «учительства и проповедничества» были нарушены, — это случилось, по его словам, во время зарождения декадентства, в 1880-х, «в ужасную пору Победоносцевщины (sic!)»: «русская литература всегда была храмом, в котором пелись священные гимны, а декадентство пыталось создать апофеоз эгоизма». Но общий характер русской литературы быстро взял свое; уже в 1890-х «Русское общественное сознание (а с ним и литература. — А.Л.) направляется на путь подвига». «В наши годы, — с удовлетворением констатирует Венгеров, — аполитизм «новых течений» исчез окончательно. Модернисты всех наименований сплошь да рядом сближаются с крайними партиями!» См.: С.А. Венгеров. Собрания сочинений. Т. 1. СПб, 1911. С. 38, 44.

¹⁸ Там же. С. 37-38.

¹⁹ Там же. С. 24.

²⁰ Там же. С. 108. В связи с этим суждением, кстати, Венгеров передает свой любопытный разговор с П.Л. Лавровым, вполне разделявшим его точку зрения. Лавров рассказывал, как он обратил внимание «самого» К. Маркса на эти «русские движения, где никакой классовой борьбы нет», где господствует альтруизм, — получил в ответ убийственную реплику: «Оттого-то из ваших движений ничего и не выходит».

²¹ Там же. С. 204-205.

²² Амфитеатров А.В. Жизнь человека неудобного для себя и для многих. Т. 1. М., 2004. С. 211. Заграничный «байронизм» в контексте этой цитаты смущать не должен: этот аглицкий пришелец с пушкинских времен успел уже обрусеть, изменившись до неузнаваемости. Амфитеатров, описывающий свою студенческую жизнь в 1880-е годы, имеет в виду, собственно, всего лишь заурядную пьянку, которую российская молодежь не мыслила без

проявления «гражданской скорби»: тосты провозглашались «за многострадальный народ и его светлое будущее», песни пелись некрасовские и так далее.

²³ Эта удачная присказка связана с оценкой Плехановым эмпириокритицизма, как учения сутобо идеалистического, то есть порождения «нечистой силы». См.: Валентинов Н. Недорисованный портрет. М., 1993. С. 167. Сейчас, когда понятие «нечистой силы» – в понимании Плеханова – стало значительно шире, присказку вполне можно адресовать и самому Георгию Валентиновичу.

²⁴ Катаев В. Алмазный мой венец. М., 1994. С. 76.

²⁵ Чуковская Л. Т. 2. М., 2001. С. 286.

²⁶ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 248.

²⁷ Там же. С. 229–231.

²⁸ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 240, 247. «Охотник и матрос» – так называется глава в «Автобиографической повести», посвященная этим мечтам, которыми Грин спасался от жизненных реалий, слишком жестких для души подростка.

²⁹ Так называл Грина Юрий Олеша в своей замечательной книге «Ни дня без строчки» (см.: ВАГ. С. 314). Правда, Олеша имел ввиду нечто совсем иное: «уникальную способность к выдумке» – и был, по-моему, не прав. По жизни Грин, действительно, был выдумщик, но как писатель... Мне кажется, характеризовать его подобным образом – все равно что называть «уникальным фокусником» настоящего мага – и техника другая, и, главное, результаты... Вот сам Олеша, действительно, был писатель-выдумщик.

³⁰ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 250.

³¹ Там же. С. 254–255.

³² Как старший ребенок в семье, он, по законам Российской империи, не подлежал воинской повинности.

³³ ВАГ. С. 426–427.

³⁴ То, что этот период жизни демонстративно опущен в «Автобиографической повести», может быть объяснено отчасти вполне понятными опасениями политического характера – речь ведь шла об эсерах... Однако нежелание вспоминать о своем участии в их деятельности очевидно из воспоминаний немногих близких Грину людей и объясняется более сложным комплексом причин.

³⁵ Все эти чувства очень ярко выражены в воспоминаниях эсера Н.Я. Быховского, в принципе, весьма симпатизировавшего Грину. См.: ВАГ. С. 433 и далее.

³⁶ По рассказу В. Калицкой, со слов самого Грина, он разыскал Катю, перебравшуюся в Петербург, сразу же после амнистии в декабре 1905 года. В эту встречу Катя, очевидно, ясно поняла, что «перед ней совсем другой человек, охваченный жаждой писать и внутренне отошедший от эсеров. Катя не мыслила своей жизни без революционной работы. Произошло несколько объяснений, тягостных для обоих». Грин настаивал, чтобы Катя стала его женой, а «она неизменно отвечала, что он ушел из ее жизни с того момента, как отошел от партии». В глазах Грина подобная постановка вопроса – верность партии превыше верности в любви – выглядела кощунст-

венно. Он был потрясен и не ограничился объяснениями... Человек, не терпевший насилия, стал угрожать своей возлюбленной пистолетом – то, что он был маленький, «дамский», Грина, в принципе, не оправдывало. «Она держалась мужественно, вызываясь, – рассказывал он потом В.П. Калицкой, – а я знал, что никогда не смогу убить ее, но и отступить тоже не мог и выстрелил». Рана оказалась неопасной, Катя вскоре поправилась (см.: ВАГ. С. 452). От моральной оценки поступка Грина я воздержусь, но ясно, что неприятие им «партийности», в любой форме, в результате этой истории могло лишь окрепнуть.

³⁷ Сейчас даже несколько неудобно читать, а тем более цитировать советских литературоведов, видевших трагедию Грина в том, что он «довелся» эсерам. Не в ту, дескать, партию вступил – отсюда и все проблемы (см., например, статью Вл. Россельса «Дореволюционная проза Грина» // Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1965). Грин ведь преодолевал в это время не конкретную программу конкретной партии, а революционное мышление и психологию в принципе. Со своими партийными друзьями он простился в высшей степени достойно, создав в «Шапке-невидимке» и в ряде рассказов более позднего времени запоминающиеся и в целом прикрасительные образы.

³⁸ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 126.

³⁹ Там же. С. 121, 123.

⁴⁰ Там же. С. 154.

⁴¹ У этого героя, так же как и еще у целого ряда персонажей рассказов революционного цикла, очевидно, был прототип. Во всяком случае человек по кличке Геник работал вместе с Грином в Екатеринославской организации эсеров (ВАГ. С. 434).

⁴² Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 221.

⁴³ В Валериане, по-моему, угадывается образ Н.Я. Быховского, руководившего Грином в Екатеринославле и оставившего о нем интересные воспоминания, в которых искренняя симпатия и даже любовь перебивается столь же искренним и иногда очень забавным негодованием по поводу теоретической безграмотности и житейской безалаберности своего «ведомого». Быховский был чуть ли не единственный человек из эсеровского прошлого Грина, которого он вспоминал, и всегда с хорошим чувством. Именно Быховский сумел еще в «агитках» разглядеть литературный талант Грина и предрек ему судьбу писателя (ВАГ. С. 434–435).

⁴⁴ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 220.

⁴⁵ Там же. С. 255.

⁴⁶ Там же. С. 263–264.

⁴⁷ Грин познакомился с В.П. Абрамовой (в литературе о Грине она обычно упоминается по фамилии второго мужа как Калицкая), когда она уже была его невестой – тюремной... Так называли сочувствующих революционерам девушек, которые брали на себя миссию опекать одиноких политзаключенных под видом их невест – свидания дозволялись только с близкими родственниками; то же касалось и передач. См. рассказ Грина «Апельсины», посвященный этой теме.

⁴⁸ История со ссылкой Грина носила совершенно национальный харак-

тер. Из тюрьмы он вышел в конце 1905 года, по амнистии, объявленной в связи с манифестом 17 октября. Однако вскоре, в 1906 году, так же, как и многие другие «амнистированные», был арестован «за старые грехи» и сослан в Тобольскую губернию, откуда, впрочем, сбежал почти сразу по прибытии (см. рассказ «Зимняя сказка»). Одним из главных побудительных мотивов этого поистине стремительного бегства было сильное чувство к В.П. Абрамовой. Долгое время после этого Грин жил в Петербурге по подложному паспорту на имя Мальгинова, писал и публиковался под своим весьма прозрачным псевдонимом – вплоть до 1910 года, когда на него донес один из приятелей-завистников. Хотя Грин все это время вел жизнь далекую от какой-либо нелегалщины, его приговорили «досидеть срок» – на этот раз поближе – в Архангельской губернии. Церковный брак между Грином и Абрамовой был совершен накануне высылки, новобрачного привезли в церковь под конвоем.

⁴⁹ Еще раз напомину беспощадную и, на мой взгляд, предельно несправедливую оценку Грина Лидией Чуковской: «Плохой писатель без языка, без мыслей, без людей». Обладая почти безошибочным художественным вкусом в отношении традиционной русской литературы, Чуковская, думается, могла сказать так лишь потому, что речь шла о чем-то неизбежно чужом и потому – неприятном.

⁵⁰ Это ей вполне удалось сделать во втором браке, с геологом К.П. Калицким, «корректным и выдержанным человеком», по ее собственной характеристике – то есть полной противоположностью Грина.

⁵¹ ВАГ. С. 485.

⁵² Там же. С. 485–486.

⁵³ ВАГ. С. 260.

⁵⁴ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 366.

⁵⁵ Там же. Т. 2. С. 46.

⁵⁶ Там же. Т. 1. С. 430.

⁵⁷ Там же. Т. 2. С. 417 и далее.

⁵⁸ Более поздние произведения, подобные великолепным «Крысолову» и «Фанданго», где запустевший Петербург становится ареной фантастических событий, в расчет, естественно, можно не принимать.

⁵⁹ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 418.

⁶⁰ См. об этом в моей статье «Синдром разночинца» (Левандовский А.А. Железный век. М., 2000. С. 79).

⁶¹ Грин А.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 423 и далее.

⁶² Грин Нина. Воспоминания об Александре Грине. Симферополь, 2000. С. 13.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАСТАВА

*(Фильмы Марлена Хуциева как источник для изучения
исчезающей ментальности)*

Признание и неизбежное и необходимое

Я очень люблю фильмы Марлена Хуциева. С этого признания следует начать: оно совершенно необходимо в контексте общей темы – «Кино как исторический источник»* и неизбежно – потому что чувства свои все равно не скроешь. Для меня эти фильмы с самого начала, с первого просмотра значили неизмеримо больше, чем просто хорошее кино. Вообще, хотя для меня само собой разумеется, что говорить следует только за себя самого, не претендуя на роль выразителя чьих бы то ни было взглядов, рискну здесь на обобщение: кино 1960-х играло совершенно особую роль в нашей тогдашней жизни; оно являло собой не зрелище, а Школу – школу с большой буквы, о которой сейчас и мечтать не приходится. Кинофильмы того времени задавали жизненные ориентиры, буквально входившие в подсознание, формировали не мировоззрение даже, а характер – что важнее. Мировоззрение куда как переменчиво; о характере же недаром говорили древние, что он – это судьба...

Речь идет, естественно, не обо всей кинопродукции того времени в целом, а о шедеврах. Но, я думаю, сверстники со мной согласятся: шедевров в те времена было много – и наших, и зарубежных, – что, пожалуй, даже и непозволи-

* Статья написана для сборника, посвященного нетрадиционным историческим источникам.

тельно... Изобилие, как известно, всегда несет в себе неотвратимую угрозу: оно ведь неизбежно иссякает, и последует тогда за сытной трапезой долгая аскеза... Духовное потрясение – именно духовное, а не психологическое, нервное или шумовое, как нынче, – пережитое в зале кинотеатра, было явлением, конечно, не повседневным. Многие кинозрители тех времен могут, наверное, припомнить нечто подобное, хотя воспоминания эти, конечно же, у всех будут разные. Каждый выбирал колодезь по себе, но сколько их, колодезей этих, было!

Современное кино творило тогда то же дело, что «старая», классическая литература. Впечатление, производимое фильмами Куросавы, Вайды или Тарковского, с одной стороны, и «Войной и миром», «Идиотом», с другой, было, по-моему, вполне адекватным. Именно так. Здесь наблюдалась некоторая асимметрия – современная литература, при всей ее значимости и актуальности, до уровня воздействия кино и классики все же не дотягивала.

О себе могу сказать: невообразимую сложность мира, отсутствие простых и ясных ответов на вопросы, которые он ставит перед тобой постоянно, я стал осознавать, очевидно, после «Войны и мира», очень рано прочитанной. А закрепилось это сознание «Пеплом и алмазом» Вайды – фильм произвел впечатление шока; я несколько дней, помнится, ходил как потерянный: ясный, понятный и потому уютный детский мир рухнул, ушел безвозвратно в прошлое... Высокую значимость доброты и способности понять ближнего, качеств, которые очеловечивают жизнь, перелаывая ее зверскую сущность, – это я проходил по Достоевскому и Куросаве одновременно...

Подобные «признания» выглядят, возможно, банально и наивно, но с годами перестаешь бояться и того и другого. Мастерам, стремившимся понять непостижимое, уловить самое главное, неназываемое, скрытое под безликим словосочетанием «смысл жизни» и, поняв, уловив, поделиться с нами, грешными, – им я всегда буду благодарен. Конечно, «проклятые вопросы» томительны, а любые ответы

на них – условны; что же касается убеждений, которые неизбежно вырабатываются в поисках этих ответов, то от них, как известно, вообще одни неприятности. Мы, слава Богу, все эти отвлеченности в последние годы успешно преодолеваем все свободнее, в перспективе же должны стать умнее и богаче... Вот только жизнь при этом приобретает какой-то небывало пакостный характер, и нынешний наш кинематограф предельно добросовестно проецирует эту пакостность и на серебряный экран, и на голубой. А впрочем, все это уже было, обо всем этом уже писалось... «И не пугайте меня вашим благосостоянием, вашими богатствами, редкостью голода и быстротой путей сообщения! Богатства больше, но силы меньше; связующей мысли не стало; всё размягчилось, всё упрело, и все упрели! Все, все, все мы упрели!... Но довольно и не в этом теперь дело...»¹.

Лирическое отступление

Общих рассуждений, действительно, довольно. Они, собственно, нужны лишь для того, чтобы констатировать мое личное пристрастие – и, соответственно, субъективность – в отношении кинофильмов, которым посвящен этот очерк. Качество для серьезного историка, как известно, совершенно непозволительное: в самом деле, как можно любить или ненавидеть исторический материал!.. Я думаю, впрочем, что в таком же положении окажутся и другие мои коллеги-историки. Кино, даже старое – а для многих именно *старое!* – стало такой неотъемлемой частью нашей жизни, вызывает порой такие эмоции, что и не разберешь толком, где жизнь, где кино, где киногорой, где ты сам... Кому не случалось, особенно в юности, переноситься мысленно в кинопространство, отождествляя себя с киногороями, «проигрывая» сюжет полюбившегося фильма заново, для себя, по-своему... Я, помнится, Мачеком из «Пепла и алмаза» бывал не раз и не два.

В отношении же фильмов Хуциева все вышесказанное

разумеется само собой. Насколько я могу судить по киноведческой литературе, «документализм» закреплён за ним накрепко, как чуть ли не главное их качество, как одна из самых характерных особенностей стиля кинорежиссера. Мне кажется, что здесь необходимы оговорки, поскольку зрительный ряд хуциевских фильмов с кинодокументалистикой имеет сходство, скорее, внешнее. Кинодокументалистика прежде всего информативна и ценится за содержательность; характерные же для Хуциева бесконечные «прогоны» зрелища потока машин, улиц и площадей, толп пешеходов, человеческих лиц – все это, прежде всего, лирично и производит впечатление. Это не столько воспроизведение действительности как таковой, сколько воспоминание автора о ней: о том, что произошло только что, вот здесь – и уже ушло в прошлое и никогда больше не повторится именно таким, именно в этом сочетании... Сейчас же, когда вся наша жизнь изменилась до неузнаваемости – а с нею и Москва, главное «поле деятельности» Хуциева – его фильмы все больше напоминают те удивительные сны о прошлом, о детстве, которые посещают, наверное, чуть ли не всех людей на возраст. Сны, подобные тому, запечатленному Гончаровым, вызвавшему светлую, теплую слезу у Ильи Ильича Обломова...

Ностальгия по прошлому сейчас в моде; его, это прошлое, особенно недавнее, часто пытаются восстановить на экране телевизора. Я, каюсь, все эти бесконечные «Страницы истории» долго смотреть не могу – поскольку они касаются *моего* собственного прошлого, во всяком случае. Такое же ощущение, наверное, производит неумелый и неумный психоаналитик, пытающийся запустить холодные пальцы в твоё подсознание и извлечь из него нечто этакое... Стремление к эффекту или совершенно бездушная информативность, ложная многозначительность, постоянно оборачивающаяся пошлостью, – все это производит впечатление почти болезненное. И полное отсутствие при этом не то что способности, а хотя бы стремления понять, *пережить* в себе – а затем уж неизбежно и полюбить...

Какое счастье, что кроме снов есть еще фильмы Хуциева! Как Мастер достигает того, что его восприятие мира сливается с моим в единое целое, — это дело самого Мастера и киноведов. Я же могу лишь повторить вслед за одним замечательным актером, сказавшим в передаче, посвященной Хуциеву и его фильмам: «Когда становится грустно и тоскливо, я ставлю кассету с «Заставой Ильича». И начинается чудо: жил-был я...» У меня ощущения те же, только что я в этих фильмах появляюсь изредка: вместе с другими первоклашками шлепаю по весенним лужам и колочу палкой по водопроводным трубам — было такое ни с чем не сравнимое удовольствие: лупить по трубе со всего размаха, а оттуда льдышки вылетают — с каким-то совершенно особенным, радостным, весенним грохотом. Это в «Заставе Ильича». А в «Июльском дожде» — я 9 мая стою среди подростков-сверстников у Большого театра.

Пусть это только эпизоды. Все равно: «Жил-был я» — это и мои сны тоже... Поэтому любое упоминание о фильмах Хуциева неизбежно вызывает волну лиризма, которую лучше сразу «отпустить» — пусть прокатится, прогрехочет и уйдет, не мешая говорить о главном. В очерке об этих фильмах все равно не избежать строк, напоминающих, наверное, умиленное воркование стариков, расслабившихся на весеннем солнышке и вызывающих из небытия прошлое: «А помнишь...» Помнишь уютную и добрую старую Москву, неповторимые московские дворы, первомайские демонстрации, дающие ощущение настоящего праздника, уличные киоски, в которых можно было купить собрание сочинений Шекспира и Сервантеса, длиннющие макароны в длиннющих картонных упаковках, объемные — в ладонь с гакм — пирожки с повидлом и многое-многое другое, из чего складывалась тогдашняя повседневная жизнь? Со всеми этими реалиями быта, которыми насыщены хуциевские фильмы, встречаешься с радостью и умилением, как с добрыми старыми знакомыми; детали будничной жизни обычно запоминаются надолго. А вот лица, **тогдашние** лица, в памяти, я думаю, едва ли удер-

жались; да и кто в московской суете обращает особое внимание на ближних – и тогда, и сейчас?.. Для меня, во всяком случае, уже при первых просмотрах стали откровением лица случайных прохожих, невольных участников хуциевских массовок. Какие же мы красивые!.. То есть **были** красивые. Какие ясные глаза и милые лица... Какая удивительная простота и полное отсутствие наглости... Что же касается кадров, посвященных поэтическому вечеру в Политехническом, – для тех, кто ценит в человеке **человеческое**, это зрелище поистине потрясающее... Такое впечатление, будто центр мироздания в те часы находился именно там, в центре Москвы... Проведите эксперимент: переключите видак с кассетой «Заставы Ильича» на телевизор, когда там идет любое ток-шоу, – и обратно. Несколько раз. Поверьте, впечатляет.

А ведь кроме зрительного ряда у Хуциева есть еще и звуковой. Я, к сожалению, принадлежу к тем людям, у которых зрительное восприятие полностью преобладает над слуховым. Но после того как прочел процитированные строки, специально еще раз (в который!) прокрутил «Заставу» – прослушал. И получил огромное наслаждение, которое раньше упускал... «В киноведческой литературе заслуженно много внимания уделено изобразительным качествам «Заставы» и значительно меньше звуковому миру фильма. Почти ничего не сказано о его удивительном многоголосии. А в нем непременно звучит всё: каждая улица, каждый дом, трамвай, шаги прохожих, весна, которая приходит невидимым звуком капли... Очень быстрая смена инструментов: ведомые и ведущие звуки меняются местами, но такая иерархия возникает на краткое мгновение, пока не встречается новый звук. С периферии он вторгается в центр, и общая звуковая масса вновь гармонизируется. Но эта гармония очень неустойчива. Зачастую метаморфозы звуковой стихии определяет движение камеры. Именно она, проходя внутри плотно заполненного, насыщенного звукового пространства, отбирает и организует «случайные» уличные шумы и голоса, прочерчивая линию

партитуры так, как резец скульптора прочерчивает линии и объемы в толще мрамора»².

И все это, вместе взятое, — улицы, машины, лица, звуки — каким-то чудом сливается в единое, неразрывное целое, в то, что когда-то, почти полвека назад было нашей жизнью. И все это можно увидеть и услышать; туда, в наше прошлое, можно вернуться... Спасибо вам, Марлен Мартинович.

О главном

Теперь о главном: о том, без чего вся эта лирика на экране осталась бы не более чем рядом занятных и милых бытовых зарисовок; о том, что дают фильмы Хуциева для понимания 60-х и шестидесятников — одного из самых интересных периодов и, наверное, самой замечательной духовной общности в нашей недавней истории.

Что должна изучать наука история и **как** она должна это делать — споры на эту тему идут, как известно, со времен старика Геродота, и я их касаться не буду. Но о частном аспекте этой грандиозной проблемы поговорить здесь и можно, и **должно**. Об «оттепели» написано немало работ: разнообразным запискам, очеркам, эссе несть числа; существует и несколько солидных книг, претендующих на серьезные обобщения. Благодаря всей этой литературе уже сегодня можно составить цельное и разнообразное представление об этой эпохе, о самых различных ее сторонах и аспектах: о внутрипартийной борьбе и XX съезде КПСС, о семилетке и освоении целины, о Программе построения коммунизма и диссидентстве, о советской школе и деятельности КГБ. О королях и капусте. Всё там есть, в этой литературе. Одного нет — нет меня... Нет той страны, в которой я, грешный, провел первые двадцать лет своей жизни.

Тем, наверное, и сложна для изучения недавняя история, что подвергает труды, ей посвященные, строгой проверке восприятием тех, кто там, в этом близком прошлом,

в свое время пребывал... Словенина ильменского или полянина не подымеешь ведь из земли, не спросишь: ну, как тебе, брат-полянин, труды Бориса Александровича или Бориса Дмитриевича? Так ли ты жил, тем ли богам молил-ся?.. А шестидесятники и те, кто вроде меня чуть припод-знулись, – вот они, тут, под рукой, в неограниченном пока еще количестве. Им – нам – естественно, хочется адекватности своего восприятия прошлого с тем, что в умных книгах написано. Узнавания хочется...

Это очень серьезное стремление. Память о прошлом – сакральна с первобытных времен; искажение прошлого – личного прошлого, во всяком случае, – болезненно задевает даже тех, кто привык бесцеремонно манипулировать этим прошлым в глобальных масштабах. Поэтому я очень даже верю в истинность байки о том, как Сталин просматривал фильм «Ленин в восемнадцатом году», в котором очень недавнее прошлое – и его, личное, в том числе и едва ли не в первую очередь, – приводилось в полное соответствие с партийными установками; причем, как известно, сделано это было очень бесцеремонно, но отнюдь не бесталанно. Говорят, вождь сидел пугающе-мрачный, за весь просмотр не проронил ни слова и, только покидая зал, бросил фразу: «Не так все это было. Совсем не так». Однако сталинскую премию, насколько я помню, создатели фильма все-таки получили...

Сейчас, конечно же, ситуация совершенно иная. Ни о каком серьезном давлении сверху речи не идет; и отнюдь не стремление «угадать и угодить» определяет характер современных исторических работ. Если же все-таки получается «не так», то причина, наверное, в том, что мы до сих пор до конца не разобрались, во имя чего мы изучаем прошлое. И, кстати, может быть, именно в сфере изучения **недавнего** прошлого, так сильно задевающего живые человеческие чувства, и стоит в первую очередь искать ответ на этот вопрос.

Ну в самом деле, что я могу узнать о времени, которое меня так занимает и волнует **лично**, из серьезной, акаде-

мически выдержанной литературы? В общем-то, повторяю, очень многое. Например, могу узнать, что «комплекс перспективных ожиданий – наиболее характерная черта советской системы, которая позволяла направлять и контролировать массовое сознание», – и это, очевидно, верно. Недаром «характерной чертой советского общества 50-х годов является социальный оптимизм, вера народа в то, что трудности временные и их преодоление гарантирует счастливое будущее». Еще бы, ведь «всеми доступными средствами власть создавала зримый эффект тотальной (полной) заботы о населении, одновременно исключив возможность получения побочных доходов». Но между тем «льготы для власть имущих порождали в обществе самую негативную реакцию»³.

Да простит мне несколько ёрнический тон автор цитируемой книги – очень добросовестно, обстоятельно и по-своему дельно написанной. В рамках традиционных подходов характеристики оценки ей могут быть даны положительные. Беда, должно быть, в том, что в основу этого журнального номера заложено обсуждение **нетрадиционных** источников – кинофильмов, из которых я урвал себе такие замечательные. Вот меня и заносит: хочется живых людей, воздуха, света; хочется адекватности своих ощущений сорокалетней давности пространству исторического исследования – чуда, короче говоря. А вот сухих отвлеченных формул, которые уподобляют это прошлое – в том числе и мое личное – некоей отвлеченной конструкции, в которой я и мои сверстники сливаются в некое безличное целое, подверженное воздействию неких внешних сил, – вот этого совсем не хочется. Право, мы до такой степени превратили историю в «объективную» науку, что стали забывать основное различие между ней и, скажем, химией: объектом исследования у нас являются все же не кислоты и щелочи в процессе нагревания или под воздействием электрического тока, а **люди**, некогда жившие – в данном случае, в большом количестве живущие до сих пор. Есть же разница, право слово... А между тем у естествен-

ников подход куда основательней: тот же химик, прежде чем проводить и описывать ту или иную реакцию, наверное, самым тщательным образом проанализирует **состав веществ**, задействованных в этой реакции. При нашем же традиционном подходе то, что, на мой взгляд, составляет самое важное и самое интересное в истории, — **состав души** тех, чьи действия определяют ход исторического процесса, — считается настолько вторичным, что до выяснения этих тонких материй обычно у исследователя и руки не доходят.

Того, что я ищу в воспроизведении недавнего прошлого, нет и в работах, написанных нетрадиционно, в том числе в самых интеллектуально изощренных. Вот, например, книга, производящая сильное впечатление своей несомненной талантливостью: «60-е» П. Вайля и А. Гениса. Она, казалось бы, буквально посвящена тому, о чем идет речь: «портрет шестидесятых через портрет шестидесятников», как формулирует замысел авторов в своем послесловии Л.А. Анненский, справедливо отмечая при этом «изрядную виртуозность» книги. Виртуозность, действительно, временами просто поражает. Вообще в «60-х» масса достоинств: эффектная, тщательно продуманная композиция, обилие яркого материала, прекрасный стиль — в общем, все эпитеты в превосходной степени. От такой книги трудно оторваться. Я и не отрывался, помнится, читал всю ночь, радовался, узнавая знакомые детали... Через неделю-другую попытался поделиться своими впечатлениями с друзьями — и с ужасом понял, что сказать мне нечего — почти все забыл. За исключением знакомых деталей.

Перечитав, понял, что эта книга все-таки томительно напоминает наши телевизионные экскурсии в историю, о которых шла речь выше, — при несравнимо большей талантливости ее авторов, конечно. То же стремление не **понять** и проникнуться, а **изобразить**, причем как можно эффектнее. В результате материал, подобранный весьма произвольно, компонуется в концепцию весьма искусственную — и произвольность подбора материала, и искусственность

«композиции» «60-х» очень убедительно показал в своем послесловии Л.А. Анненский⁴. В результате впечатление книга производит сильное – и тут же начинает «сыпаться» в памяти, разваливается на фрагменты. Шестидесятые годы в ней в обломках, может быть, и засвидетельствованы, а вот цельного, убедительного образа шестидесятника там нет. Один-то шестидесятник, впрочем, в «60-х» есть, но это уже не заслуга авторов – там есть Л.А. Анненский со своим глубоким и искренним послесловием. И, кстати, при всех комплиментах, в общем-то справедливых, сделанных Анненским в адрес Вайля и Гениса, его послесловие служит косвенным доказательством общей неудачи «60-х» – уж больно разными получились эти произведения, опубликованные под одним переплетом, контрастно разными, причем не только по смыслу написанного, что было бы не столь существенно, но и, что гораздо важнее, по духу. А ведь Лев Александрович шестидесятник настоящий, всамделишный...О чем бы он ни писал – духом шестидесятых веет от страниц его текстов. По нынешним временам – блестящее исключение, подтверждающее умирание шестидесятничества именно своей исключительностью...

Поскольку современной научной литературы, дающей адекватное представление о том, чем жили и каким богам молились «люди оттепели», на мой взгляд, до сих пор не создано, приходится для понимания этого обращаться к воспоминаниям Л.К. Чуковской, дневнику и критическим статьям В.Я. Лакшина, прозе В.Д. Дудинцева и так далее – к первоисточникам, иными словами. И в частности можно еще раз просмотреть кассету с «Заставой Ильича» или «Июльским дождем».

Состав души

Но прежде, очевидно, необходимо все-таки, как говорят нынче, определиться: выразить более ясно, чего я жду от исследователей оттепели, чего не нахожу в их книгах и что

мне дают фильмы Хуциева для понимания той дорогой мне эпохи.

Видите ли, у меня от 60-х осталось устойчивое ощущение надежности бытия – сейчас в значительной степени испарившееся. Мир тогда казался устроенным **правильно** – что совсем не противоречило постепенному пониманию его предельной сложности и противоречивости. Да, мир был сложен, противоречив, несовершенен, но тем не менее устроен правильно, настолько, что нам совершенно не приходилось выяснять разницу между добром и злом. Это было сделано задолго до нас, и нам оставалось лишь усвоить четкие постулаты, определявшие наши нормы поведения, наши поступки. И сделать это не представляло труда.

Само собой разумеется, что родину и родителей нельзя не любить. Что деньги в этой жизни – не самое главное. Что обижать слабого нельзя, так же как нельзя унижаться перед сильным. Что ябедничать, сиречь доносить, – мерзко. Что сожительство без любви – отвратительно. И так далее... Это, повторяю, разумеется само собой для всякого нормального человека (именно нормального – последовательно плохой человек в этой системе ценностей воспринимался как моральный урод).

Не знаю, есть ли необходимость говорить о том, что эти нормы постоянно нарушались. Приспосабливаться, подличать, уступать соблазнам приходилось, наверное, в той или иной степени почти всем, за исключением очень немногих поднимавшихся над общим уровнем людей. Но это было горем, тяжким испытанием, вызывало угрызения совести, воспринималось как уступка злу – и уж ни в коем случае не означало признание зла равноценным добру...

Я, естественно, не могу ручаться за всю огромную страну, но мое детство и юность прошли в среде, где подобный подход к жизни был определяющим. Так жили мои родители и родители моих друзей. Так жило окружавшее меня старшее поколение – те, кто вошел в историю под именем «шестидесятников»; так пытались жить мы сами...

И неужто это мировоззрение определялось каким-то «ком-

плексом перспективных ожиданий»? Или третьей Программой КПСС, которая, по словам авторов «60-х», якобы «с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе»?⁵ «Господи... да кто же ее, Программу 1961 года, читал из шестидесятников всерьез!.. Какие там иллюзии! Да я отлично помню, с каким ленивым любопытством прислушивался к чтению Программы (по радио часами читали) я, типичный идеалист-шестидесятник. Занимали всякие частности, вроде бесплатного транспорта, да и то с ощущением налета прожектёрства... в общее содержание наглухо было отделено казенным занавесом!»⁶ Это Анненский. От себя могу добавить, что мы — те, кто помоложе, — об этой Программе узнавали исключительно из более или менее остроумных анекдотов и потом уже, значительно позже, маялись с ней на семинарах по истории КПСС, само собой разумеется, не веря ни единому слову.

Система ценностей была тогда, конечно же, не коммунистического, а гуманистического, общечеловеческого происхождения, да и до заповедей Христовых ей было недалеко (не случайно ведь, что наряду со всякой шушерой к православию сейчас так искренне потянулись очень добрые и хорошие люди, особенно женщины, при Советской власти находившие себя на «низовой общественной и партийной работе»). При этом она, эта система ценностей, с удивительной легкостью вбирала в себя и Ленина, и «гражданку», и строительство социализма, и многое другое, с ней, казалось бы, не совместимое. Именно вбирала в себя, переламявая, заставляя звучать на свой лад, а не подстраиваясь под чужую музыку. Ленин при этом идеализировался до небывалой человечности, «комиссары в пыльных шлемах» и участники «великих строек» превращались в воинствующих гуманистов, не щадящих себя во имя светлого будущего всего человечества...

В любом случае в конечном итоге торжествовали «вечные ценности». Впрочем, лучше Анненского и тут все равно не скажешь: «Спору нет, пятась от Сталина к Ленину, мы старались удержать и «коммунизм», намертво прико-

ванный в нашем сознании к «1917 году». Вернее, наоборот, «1917 год» был прикован к «коммунизму»: истоки же последнего были глубже «Октября», они тянулись из мировой истории, были связаны с фундаментальными ценностями духа, с опытом тысячелетий, с Афинами, с Иерусалимом»⁷. В русской же традиции генетические связи устанавливались с еще большей простотой и отлично сознавались самими шестидесятниками: народническая интеллигенция, «тезки»-шестидесятники XIX века, «идеалисты 40-х годов», декабристы... (Частный, но характерный пример: В.Я. Лакшин, по словам Солженицына, искренне гордился сравнением с Добролюбовым).

Так вот не кажется ли вам, что все это немаловажно и небезынтересно? Сохранение частью общества верности общечеловеческим ценностям в условиях террора и репрессий под постоянной угрозой физического уничтожения; торжество этих ценностей при первой же благоприятной ситуации – разве подобный феномен, определивший собой эпоху 1960-х, не нуждается в изучении?

Очевидно, не нуждается... Во всяком случае в научной литературе этот чрезвычайно высокий духовный настрой, этот идеализм шестидесятников толком не уловлен. Возможно, потому, что подобная тематика у нас до сих пор считается, по-моему, несерьезной и почти неприличной – чем-то вроде изучения потусторонних явлений. Крен постоянно делается в характеристику **социальных установок** шестидесятников, их попыток политического противостояния власти, что, по моему глубокому убеждению, было вторично. Если ограничиваться только этим, то дело действительно нетрудно свести к оценке шестидесятников как генерации чудаков-утопистов, запутавшихся в собственных отвлеченных взглядах.

Подобный подход, кстати, позволяет попросту игнорировать шестидесятников как серьезное явление – а вместе с тем замалчивать или исказить те **духовные ценности**, которые определяли повседневную жизнь этих людей во всех ее проявлениях. Такое «решение вопроса» чрез-

вычайно удобно потому, что позволяет «спрямить линии» в разработке чрезвычайно популярной концепции нашего исторического бытия на протяжении последнего столетия. Ведь что у нас было раньше? Тоталитарное государство, с одной стороны, и масса «совков», «быдла» («хомо советикус», по-научному) с другой. А что у нас теперь? Победа демократических ценностей: выборная власть, государство, всё более стремящееся стать всё более правовым, и совершенно свободные граждане. Простоты и четкости этой концепции не занимать — недаром она все больше приобретает характер обыденного (то есть наиболее устойчивого) взгляда на жизнь. Значительная часть политиков и чуть ли не все представители масс-медиа, во всяком случае, в истинности подобных подходов, похоже, не сомневаются. На телевидении и в печати «совок» — одно из самых популярных определений человека, не соответствующего системе «демократических ценностей». А они у нас, увы, в свою очередь совершенно не соответствуют ценностям вечным... Настолько, что любое развернутое упоминание об этих ценностях и о людях, их исповедовавших, может быть воспринято чуть ли не как идеологический саботаж. Вот и выходит, что шестидесятники оказываются лишними на этом празднике жизни.

...В России времен Николая I, как известно, не только любая открытая критика, но и простое обсуждение существующего положения дел запрещалось строжайшим образом. И прежде всего это касалось положения тогдашнего «быдла» — крепостных. А вот изображение этого «быдла» художественными средствами власть снисходительно допускала. Вот тут и проявила себя во всей красе такая сила, как повести Тургенева, полотна Венецианова. Весь пафос творчества и художника и писателя был направлен на то, чтобы показать всем россиянам, имевшим хоть малую способность к восприятию художественных полотен: вы их, крепостных мужиков и баб, за быдло держите, а посмотрите, как они умны, как красивы и благородны... Они не хуже, они лучше вас...

Да извинят меня за вычурное сравнение, но мне кажется, что фильмы великолепных мастеров кинематографа оттепели в нашу эпоху победы демократических ценностей могут сыграть роль, чем-то схожую с той, которая выпала «Запискам охотника» и картинам Венецианова при крепостном праве. За «упертого совка» ведь есть кому постоять... Это касается фильмов самого разного жанра, в том числе и таких непритязательных на первый взгляд комедий, как «Я шагаю по Москве» или «Прощайте, голуби». Но у фильмов Хуциева в этом ряду особое место: они непосредственно посвящены самому главному – системе духовных ценностей, определявших бытие представителей поколения 60-х.

Время хороших людей

В «Заставе Ильича» и в «Июльском дожде» Хуциев развернул эту систему перед зрителем, показав ее предельно ясно и четко. «Застава Ильича» вообще, по-моему, являет собой своего рода пособие по бытию шестидесятников. В «Июльском дожде», лишенном, в отличие от «Заставы», риторики и назидательности, неизбежных в любом учебнике, режиссер, как мне представляется, сумел не менее ясно показать обреченность этой духовной силы, определявшей собой жизнь целого поколения, с удивительной прозорливостью уловив первые признаки ее крушения.

О постулатах, лежавших в основе системы духовных ценностей шестидесятников, я уже писал выше, и добавить мне здесь нечего – разве что можно было бы продолжать почти до бесконечности перечисление морально-этических норм, определявших поведение «людей оттепели» чуть ли не в любой жизненной ситуации. Очевидно, что подобный «инвентарный перечень» сам по себе ничего не дает. Но вот что мне представляется совершенно необходимым, так это еще раз отметить приоритет общечеловеческого во взглядах поколения 60-х. В киноведческой ли-

тературе Хуциев, насколько я могу судить, трактуется прежде всего как провозвестник «темы заката социалистических, революционных идеалов и рефлексии героев по этому поводу»⁸. По-моему, здесь кроется серьезное недоразумение.

Истоки его вполне ясны. Революционный караул на московских улицах в начале фильма и почетный караул у Мавзолея в конце, ненавязчивый бюстик Ленина в аскетичном жилище семьи Сергея и «товарищ Ленин, я вам докладываю», звучащие в сознании Николая в минуту душевного кризиса, – все эти и многие другие кадры «Заставы Ильича», казалось бы, безусловно подтверждают правоту подобной точки зрения (чего стоит название фильма!). И все-таки, я убежден, она строится на недоразумении. Ведь «революционные и социалистические идеалы» предстают в фильме *исключительно* в виде зрительных символов, очень условных и не несущих как раз никакой идейной нагрузки в смысловой ткани фильма. За исключением одной цели: герои получают опору в прошлом, являясь продолжателями неких традиций, о сути которых в фильме не говорится практически ни слова. Априорно всеми возможными зрителями с детства было усвоено, что это традиции великие и возвышенные, и слава Богу... Мне кажется, здесь вполне уместна аналогия с «Христом в пустыне» Крамского или «Тайной вечерей» Ге – картинами на евангельскую тематику, написанными художниками-передвижниками для неверующих интеллигентов-разночинцев. Христос там, как известно, изображался предельно десакрализированным (в первом случае – в виде своего брата-разночинца; во втором – может быть, более возвышенно, но с чертами лица Александра Ивановича Герцена...). Создателям полотен важна была символика, заложенная в этих всем знакомых евангельских сюжетах: выбор, жертва... Чуждая по духу, но предельно распространенная система ценностей использовалась для решения своих собственных задач, позволяя при этом быть максимально лаконичной и в то же время всем понятной.

Возвращаясь к «Заставе Ильича»: следование «революционным и социалистическим идеалам» само собой подразумевает борьбу за соответствующее преобразование действительности. Между тем если пройти по узловым эпизодам фильма, вспомнить конкретные реплики и поступки героев, то станет очевидным, по-моему, что подобными устремлениями там и не пахнет. Главный герой фильма чрезвычайно привязан к матери и сестре; взаимопонимание и взаимоподдержка в этой семье доведены до предела. Он мечтает о настоящей, возвышенной любви как о чуде («Я все время чего-то жду...»), и чудо это дается ему в полной мере. Он ни при каких обстоятельствах не примет главного постулата отца Ани — «Людам наплевать друг на друга». (Этот циничный человек, при всей эпизодичности его появления на экране, выглядит вообще чуть ли не как главный антипод героя.) Он свято бережет память о своем погибшем на войне отце... Друг героя, Коля, внешне гораздо более циничный, как самый страшный шок переживает приглашение принять хотя бы косвенное участие в подлости — травле хорошего человека. Естественно встает вопрос: что же во всем этом от революции и социализма? Если воспринимать «революционные и социалистические идеалы» не как условный символ, а как нечто самостоятельное, насыщенное своим собственным смыслом, — ничего, пожалуй... Или нужно принимать точку зрения, усиленно насаждавшуюся советской пропагандой: каждый честный и порядочный человек или является социалистом и революционером, или неизбежно должен стать им...

Даже знаменитая сцена идейного противостояния Сергея и его циничного оппонента на молодежной вечеринке совершенно не убеждает в революционном настрое главного героя: «Есть вещи, о которых можно говорить только серьезно: о революции... Интернационале... войне... солдатах... о том, что почти у всех нас нет отцов... о картошке...» Из всего контекста фильма следует, что, говоря о революции, Сергей имеет в виду борьбу за справедливость, об Интернационале — мир и братство между разными народа-

ми, о войне – защиту своей родины и так далее. Все тот же «Христос в пустыне» – революционные понятия здесь так же, как и на протяжении всего фильма, десакрализуются, приобретая общечеловеческий смысл.

На мой взгляд, герои фильма стремятся не к революционным преобразованиям, а к личному счастью, которое мыслится как обретение гармонии с окружающим миром. Именно гармонии, построенной на полном взаимопонимании, они ищут в любви, в дружбе, в отношениях с близкими. И поверяют свою жизнь постулатами, которые действительно «тянутся» из Афин и Иерусалима (об Иерусалиме в самом фильме по вполне понятным причинам речи не идет, а вот «гармоничные греки» поминаются, пусть в шуточной форме, в трогательной сцене в Музее изобразительных искусств).

И еще одно возражение – против трактовки героев фильма как неких «рыцарей идеалов», которых режиссер «однозначно ставит... выше окружающей жизни и ее обитателей»⁹. Я не вижу, из чего это следует. Наоборот, мне кажется, Хуциев всячески подчеркивает «заурядность» своих героев... Хотя слово «заурядность», конечно, для их характеристики не годится. Правильнее сказать, наверное, что они совсем не исключительны в своей незаурядности, – таких, как они, очень много – целая Москва... Здесь можно только повторить слова В. Трояновского: «В отличие от других киногероев начала 60-х ни Сергей, ни его друзья не защищают Родину, не едут на сибирскую стройку и не совершают с риском для здоровья никаких трудовых или научных подвигов. Они каждое утро уходят на работу, перевыполняют план, болеют простудой, влюбляются, ссорятся с близкими и самозабвенно гуляют по московским улицам. И вся эта текучая повседневность наделена в фильме неповторимым обаянием».

И добавлю, пронизана поразительным оптимизмом... По-моему, «Застава Ильича» – один из самых светлых фильмов в нашем кинематографе; избитое понятие «жизнеутверждающий» употреблять не хочется, но оно здесь

просто напрашивается. И оптимизм этот обуславливается именно тем, что герои фильма, при всей возвышенности своих стремлений и серьезности подхода к миру, отнюдь не «рыцари идеалов», а обычные московские ребята... Это их город, это их время. Ведь те, кто противостоит Сергею и его друзьям, выглядят, откровенно говоря, не очень страшно и убедительно: «дурак» Анин муж, «циник» Анин отец, «подлец» Черноусов – все они эпизодичны и воспринимаются, по-моему, как несколько условные маскарадные герои-уроды, лишь оттеняющие своим безобразием прелесть настоящей жизни.

Что же касается знаменитой «сцены с картошкой», то мне кажется совершенно излишней ее сакрализация: рабочий парень, попавший в среду растленной интеллигенции, отстаивает основы социализма...¹⁰ О социализме как символе я уже высказался и могу лишь повторить: Сергей выступает здесь не столько за, сколько против – против легкомысленно-циничного отношения к войне, погибшим отцам, к своему народу. Что же касается «растленности» участников молодежной тусовки, то она оказывается чисто внешней. В самом деле, главный «ниспровергатель ценностей» сразу же после конфликта вопрошает автора незадачливой реплики, уже успевшего за эту реплику схлопотать от милой девушки по физиономии: «Зачем ты сказал эту гадость?» Оказывается – по инерции...

Ребята-то ведь свои... Недаром они почти тут же просматриваются в видении героя, в сцене с погибшим отцом – на заднем плане, в солдатских шинелях. Это, как индугенция: значит, и по мнению автора, и по восприятию его героя интеллигентский нигилизм, неумное высокомерие – все наносное. И в результате одна из ключевых сцен в фильме выглядит не сигналом тревоги, а предупреждением о необходимости серьезного отношения к серьезным вещам.

Встреча с будущим

Иное дело «Июльский дождь»... Я всегда воспринимал этот фильм как прямое продолжение «Заставы Ильича», и для меня явилось несколько неожиданным принципиальное противопоставление этих произведений, с которым я столкнулся в одной киноведческой статье: «...По сравнению с сакрально-патетической «Заставой» «Июльский дождь» не только не смотрится как светская, бесстрастно-антониониевская картина, но и, по существу, является таковой»¹¹. Если в этом, в любом случае, на мой взгляд, излишне резком противопоставлении и есть рациональное зерно, то оговорки здесь все равно необходимы: изменилась не творческая манера или, тем более, мировоззрение режиссера. Стал меняться сам мир – именно из него все в большей мере стала исчезать патетика, а Хуциев лишь откликнулся на это со свойственной ему чуткостью...

Героиня фильма, как представляется мне, всем своим существом принадлежит к тому же духовному пространству, что и ее предшественники из «Заставы Ильича». Те же высокие идеалы, то же неистребимое стремление строить свою жизнь соответственно им. Цель, очевидно, все та же – найти свое место, гармонично войти в окружающий мир. (Вот уж, поистине, сколько людей, столько и мнений... В. Семерчуку представляется, что «типографическая штамповка «Незнакомки» Крамского служит в фильме символом крушения идеалов и девальвации ценностей¹². Возможно... Но по моим впечатлениям, профессия героини, работающей на полиграфическом комбинате, обыгрывается режиссером с совсем другой целью: лики с картин художников Возрождения появляются в первых кадрах фильма; репродукции с этих картин висят на стене комнаты героини, столь же аскетичной, как и квартира Сергея, – истоки на этот раз «тянутся» из Флоренции, Рима...)

Однако коренное различие в бытии Лены и героев «Заставы Ильича» становится очевидным почти сразу: мир, в котором она существует, все в большей степени становит-

ся враждебным ее идеалам – идеалам 60-х. Простота, естественность, обычная порядочность уходят в небытие, воздействие внешней среды становится все более агрессивным. Жизнь все настойчивей ставит перед выбором: измениться, приспособиться, пойти на компромисс, стать как все – или остаться одинокой... Трагизм ситуации подчеркивает «телефонный роман» Лены с Женей, который реально появляется на экране один раз, в первых кадрах фильма – а затем дематериализуется, судя по всему, навсегда, превращаясь в бесплотный голос в телефонной трубке... Тонкая нить взаимопонимания, протянувшаяся между Леной и ее собеседником-«призраком», лишь подчеркивает неизбывное одиночество героини.

Реально же существует Володя – отлично организованная плоть, мощная энергетика, непреодолимое обаяние и – рабский дух... Все, что он говорит в последних сценах фильма по поводу совершенного им предательства, предельно банально и потому столь же предельно жизненно. Да, собственно, о предательстве в прямом смысле этого слова здесь, очевидно, говорить не приходится. Просто человек из карьерных соображений отказывается от научного сотрудничества с честным человеком и переходит под руководство заведомого подлеца. Дело-то обычное... С точки зрения последовательного шестидесятника – страшный грех!

Меня удивляет, как можно говорить о «бесстрастности и светскости» фильма, в котором есть такая сцена, как «пикник на обочине», свидетельствующий о «грехопадении» героя. Бесстрастность тут только внешняя, изобразительная. Атмосфера моральной духоты, царящей в этой компании, выражена почти вещественно. То, что героиня бежит от костра и шашлыков, прячется в машине, не удивляет: очевидно, что ей больно и страшно. Мир рушится... Великолепная финальная сцена ничего не добавляет к ощущению произошедшей трагедии. Она лишь подчеркивает духовную силу героини, которая, очевидно, просто не способна пожертвовать своими идеалами во имя каких бы то ни было благ. Но Лена остается одна...

В этом весь ужас положения: система ценностей рушится, причем не под внешним давлением, не в результате преследований со стороны власти – она тихо и мирно «сыпется», разлагаясь изнутри. А вместе с ней рушится и то единое, цельное сообщество, которое называлось шестидесятниками, рушится, необратимо распадаясь на отдельные фрагменты, порождая массу неприкаянных личностей, которые затем, с каждым десятилетием, начинают все в большей степени приобретать характер чудаков, реликтов, живых пережитков безвозвратно ушедшего прошлого.

И в этом контексте сейчас совершенно иначе, чем раньше, воспринимается замечательный видеоряд, которым завершается «Июльский дождь». Раньше поход Лены к Большому театру 9 мая, сцены встречи ветеранов Великой Отечественной должны были, очевидно, восприниматься как доказательство того, что у героини «свои», что правда и Добро остаются в силе. Что все будет хорошо.

Сейчас же, как мне кажется, куда большее впечатление производят мальчики из последних кадров, наблюдающие за торжествами старших. Мальчики с глазами, внимательными не по-мальчишески, мальчики размышляющие...

Насколько я понимаю, тогда авторы фильма, ничего не предвещая, задавали вопрос и себе, и зрителю, что будет дальше, как сложится будущее, которое предстояло творить вот этим мальчикам? С кем они пойдут? Сейчас ответ известен... «Отступник» Володя, оказывается, лишь прокладывал дорогу для людей не менее энергичных, но куда более последовательных, и с каждым поколением этой последовательности суждено было лишь нарастать...

Вон под самый конец фильма среди подростков мелькнула любопытная мордашка пацаненка. Вон он вынырнул из-под чьего-то локтя... Светлоголовый такой... Или рыженький?.. Анатолий Борисович, уж не вы ли это?

Примечания

¹ Достоевский Ф. М. Полн. сбор. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 315.

² Трояновский В. Новые люди шестидесятых годов // Кинематограф оттепели. Кн. 2. М., 2002. С. 46–47.

³ Пыжиков А. Хрущевская «оттепель». М., 2002. С. 260–271.

⁴ Валь П., Генис А. Мир советского человека. М., 1996. С. 336–338.

⁵ Там же. С. 14.

⁶ Там же. С. 337.

⁷ Там же. С. 339.

⁸ Кинематограф оттепели. Кн. 2. С. 33.

⁹ Там же. С. 136.

¹⁰ Там же. С. 124.

¹¹ Там же. С. 135.

¹² Там же. С. 135.

УГОЛ ПРЕЛОМЛЕНИЯ*

*(Русский предприниматель в зеркале
художественной литературы)*

Начнём с соображения, очевидно, банального, но необходимого нам для развития темы: наряду с реальными историческими событиями и явлениями существует ещё и их восприятие отдельными людьми и целыми социальными общностями, причём второе далеко не адекватно первому. Реальная действительность не всегда соответствует стереотипам, возникающим или целенаправленно создающимся в индивидуальном и общественном сознании. Выяснить соотношение и взаимосвязи между тем, что происходило на самом деле, и тем, как это происходящее воспринималось современниками, — такая задача представляется нам чрезвычайно важной вообще, а в отношении нашей темы, может быть, в особенности.

Ведь в центре нашего внимания оказывается очень сложный и интересный процесс восприятия и осознания художественной интеллигенцией, а через ее произведения и читающей публикой, такого значительного явления, как отечественное предпринимательство. Этот процесс должен был сыграть самую серьезную роль в формировании отношений русского общества и нарождающейся буржуазии. От того, как сложатся эти отношения, зависело очень многое. Ведь речь шла о двух силах, заинтересованных в серьезном изменении российской действительности (в отношении интеллигентного общества это, само собой, разумеется; что же касается предпринимателей, их стремление

* Статья написана в соавторстве с Ал. А. Левандовской.

к переменам начинает достаточно ясно ощущаться к концу XIX – началу XX веков). Добросовестное сотрудничество этих сил, одна из которых была вооружена интеллектом и знаниями, а другая обладала капиталами и предприимчивостью, могло во многом способствовать мирному и целенаправленному ходу обновления России. Однако для этого необходимо было взаимопонимание, которое, в свою очередь, становилось возможным только при ясном и чётком представлении друг о друге. Взаимные представления играли, несомненно, определяющую роль в формировании отношений между образованным обществом и предпринимателями.

В этой статье мы обращаемся лишь к одной из сторон чрезвычайно сложного процесса взаимопонимания интеллигенции и предпринимателей. Нас интересуют стереотипы, создававшиеся различными писателями второй половины XIX – начала XX веков в их обращении к образу отечественного купца-предпринимателя. Сознвая всю неполноту подобного подхода, мы все-таки думаем, что в контексте выяснения взаимоотношений между образованным обществом и предпринимателями именно эта тема является одной из самых важных. С одной стороны, именно в художественных произведениях, на наш взгляд, наиболее ярко и выразительно воспроизводилось представление русского общества о предпринимателях и предпринимательстве; с другой стороны, именно здесь наиболее ярко проявлялась и обратная взаимосвязь – нет необходимости говорить о том, насколько сильным было воздействие художественной литературы на общественное сознание в России прошлого века.

Реальный купец в реальной России

Прежде чем переходить к интересующей нас проблеме, очевидно, совершенно необходимо хотя бы в общих чертах разобраться в том, что же реально представлял собой

этот своеобразный социальный слой – российские купцы-предприниматели. Очевидно, что купечество как сословие было явлением достаточно искусственным, сформированным в XVIII веке государственной властью, сверху, почти исключительно в фискальных целях. Пребывание в этом сословии определялось наличием определенного капитала; имущественный ценз, положенный в основание купеческого сословия, играл определяющую роль и в разделении его на внутрисословные группы – гильдии. Принадлежность к купечеству в России не была ни наследственной, ни даже пожизненной – все определялось ежегодной уплатой 1% объявленного капитала (так называемый гильдейский сбор).

Таким образом, деньги играли для русского купца не просто важную роль; они должны были безоговорочно определять все его думы и стремления – ведь от них полностью зависело само его сословное бытие. Конечно, бесребреничеством не отличались и европейские предприниматели. Однако в Европе на протяжении средних веков сложились достаточно устойчивые традиции и понятия корпоративной чести, связывавшие представителей этой корпорации взаимными обязательствами, определявшими их отношения друг к другу и ко всему остальному миру. Для русского же купца деньги нередко заслоняли все остальное, даже само понятие «честь» нередко ассоциировалось с деньгами, доходами и тому подобное.

Эта определяющая для русского купечества страсть к наживе предопределяла, очевидно, и многие другие его черты, столь очевидные для современников, – семейный деспотизм, построенный на полном презрении к личному достоинству человека, какая-то просто принципиальная бессовестность, склонность к надувательству и столь же принципиальные невежество и бескультурие («наука только отбивает от дела»). Все это бросалось в глаза и служило самым благодарным материалом для создания развернутой картины «темного царства», созданной в русской художественной литературе середины XIX века.

Но явные и несомненные «темные черты» купечества, как это нередко бывает, предопределяли некоторые его потенциальные достоинства. Так, отсутствие преемственности и устойчивых традиций делали купечество психологически и культурно гибким, пластичным. Этому способствовала и его социальная зыбкость, отсутствие четких социальных границ между ним и другими сословиями: постоянный приток свежих сил со стороны должен был в какой-то мере «освежать» купеческие понятия.

Русское купечество зависело от общих условий русской жизни больше, чем какое-либо другое сословие. Дворянство или крестьянство, как нам представляется, обладали гораздо более прочными устоями, которые вырабатывались веками их своеобразной сословной жизни. Да и основные занятия дворян – военная или статская служба – и крестьян – земледелие – неизбежно порождали более четкие и устойчивые жизненные установки, чем торговля, за счет которой существовало купечество.

Но зато оно должно было быстрее и последовательней, чем другие сословия, отреагировать на перемены, произошедшие в России в результате Великих реформ. Ведь дворянству и крестьянству приходилось приспособливаться к новым условиям, отказываясь от своих сословных обычаев и традиций, разрушая их. Купечеству же разрушать было почти нечего...

Так, собственно, и произошло. Во второй половине XIX – начале XX веков купечество начинает меняться – достаточно быстро и весьма последовательно, причем перемены охватывают самые разные сферы его существования. В это время у многих купцов-предпринимателей смелость и инициатива начинают проявляться не в грабеже и надувательстве, а в развитии своего дела на новых передовых основаниях. В России появляются фабриканты, предприятия которых выпускают продукцию, не уступающую лучшим мировым образцам, – такие как Н.И. Коншин или С.И. Четвериков. Резко меняется отношение купечества к образованию – университеты, высшие техни-

ческие вузы начинают пользоваться в этой среде все большим уважением. Совершенно иным становится круг чтения. Перемены проникают в семейные отношения, быт, нравы – купечество все более европеизируется, причем не только внешне. И не случайно представители этого сословия начинают играть несравнимо большую роль, чем раньше, в общественной и культурной жизни России (вспомним, каких выдающихся общественных деятелей дали семьи Рябушинских, тех же Четвериковых, Коноваловых; какими культурными явлениями – Третьяковской галереей, музеем С.И. Щукина, театром С.И. Мамонтова – прославили себя выходцы из «темного царства»).

Короче говоря, купечество оказалось открыто «духу перемен». После отмены крепостного права и других реформ 1860–1870-х гг. оно стало меняться вместе со всей страной. Конечно, так же как и во всех других сферах русской жизни, это был достаточно сложный и противоречивый процесс. Старое не сдавалось без отчаянной борьбы, а новое в этой борьбе нередко принимало какие-то неожиданные формы. И все же «темное царство» дореформенного купечества медленно, но верно разрушалось. Отметив этот процесс и постаравшись показать его в самых общих чертах, мы теперь можем посмотреть, насколько адекватно русская художественная литература воссоздавала образ «торгового сословия» и все многочисленные перемены, с ним происходившие.

«Темное царство»

Нам представляется, что русские писатели разного времени были удивительно едины в своем отношении к купечеству во всех его проявлениях – будь то предпринимательская деятельность, семейные отношения, быт, духовная жизнь и т.д. Тон подобному воспроизведению купечества в художественной литературе задан был уже А.Н. Островским в пьесе «Свои люди – сочтемся» – первом се-

рьезном произведении, посвященном этой теме. В сущности, трудно не согласиться с цензором М.А. Геденовым, писавшим по поводу пьесы: «Все действующие лица: купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха – отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества».

Тем более характерно, что пьеса была безоговорочно принята русским обществом. О ней с восторгом писали самые разные люди, нередко диаметрально противоположных взглядов – от консерватора М.П. Погодина до «власителей дум» молодого поколения Чернышевского и Добролюбова. Очевидно, Островскому удалось очень полно и последовательно выразить отношение образованного общества к купеческому сословию. И впоследствии разнообразные писатели в меру своего таланта тиражировали или развивали характеристики, данные великим драматургом разнообразным сторонам купеческой жизни.

Мы уже отмечали выше, что купечество дореформенной эпохи, очевидно, давало серьезные основания для создания мрачных сцен и образов. И в этом отношении пьесы того же Островского и произведения ближайших продолжателей его любимой темы – купечества – произведения Салтыкова-Щедрина, Мельникова-Печерского, Лескова были если и не во всем, то во многом оправданы, поскольку они писали об этом в конце 1850-х – 1860-х гг. Но, что любопытно, и впоследствии те же Островский, Лесков, Салтыков-Щедрин, а также Боборыкин, Мамин-Сибиряк, Г.И. Успенский и многие другие писатели, вплоть до Чехова и Горького, описывают купечество так же или почти так же, как и в более ранние времена. В их отношении к купечеству, в тоне, которым рассказывается о нем, в подходе к теме и даже в изобразительных средствах так много общего, что на страницах произведений русских писателей середины XIX – начала XX вв. создается удивительно цельный, можно сказать, монолитный образ «темного царства».

Основные его характеристики, очевидно, следующие:

1. Купец как предприниматель

Можно сразу же сказать, что предпринимательская деятельность купечества в художественных текстах XIX – начала XX веков изображается практически однозначно и без вариаций, как безудержное, бессовестное приобретательство, сплошь и рядом не отличимое от мошенничества. Весьма символично, что сюжетом первого в русской литературе серьезного произведения, посвященного непосредственно купечеству, – вышеупомянутой пьесы Островского «Свои люди – сочтемся» – послужила именно история мошенничества и обмана. Причем обмана двойного: купец Большов обманывает заимодавцев, выдавая себя за «банкрута»; приказчик Подхалюзин, получив в своё владение имущество Большова в качестве приданного за его дочкой, в свою очередь, обманывает обманщика, присваивая все его добро безоговорочно и отказывая ему в какой-либо помощи.

Если Островский положил в основу сюжета явление все-таки исключительное – злостное банкротство, то его продолжатели, как правило, описывают обыденную купеческую деятельность. По русской художественной литературе можно проследить процесс возникновения того или иного «дела», его постепенного становления, расцвета, падения... Причем на всех стадиях своего развития это «дело» изображается, как правило, однозначно: оно пронизано насквозь все тем же мошенничеством и обманом, с которым мы сталкиваемся на страницах «Банкрута».

Хрептюгин из «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина начинает свою карьеру с зауряднейшего воровства, будучи сидельцем в кабаке, где «питейный ревизор его за волосяное царство таскивал»; в конце концов он откупает кабаки во всей губернии. Главный герой поэмы И.С. Никитина «Кулак» становится богачом из «голи перекастной», ограбив приютившего его лавочника. Спирька из одноименной повести С. Елпатьевского закладывает основы своего благополучия в страшный голодный год: «Он скупил по деревням ометы старые, мышами изъеденные, соломы наломал, мукой сдобрил и отправил в Самарскую губернию

большую партию – 4-й сорт назвал ее...» И так далее и тому подобное...

Злостное мошенничество, воровство, прямой разбой – обычные пути возможного обогащения, закладки серьезного «дела». Других вариантов русские писатели практически не предлагают. Подобным же образом оно, как правило, ведется и впоследствии. Равенство между понятиями «купец» и «преступник» как бы предполагается, а нередко и декларируется совершенно откровенно: «Вот Луп Резников – он начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он задушил одного из своих гостей, богатого сибиряка... Зубов в молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононов судился за поджог... Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного» (А.М. Горький. «Фома Гордеев»).

2. Купечество в системе социально-политических связей

Естественно, что писатели, изображавшие купечество, должны были, так или иначе, характеризовать его сословное самосознание, отношение к другим сословиям, к власти. Ведь не в одном же постоянном грабеже проявлялось это отношение!

Что касается сословий низших – крестьянства, мещанства (т.е. простого народа), с которыми у купечества происходил постоянный «взаимообмен», то в произведениях писателей разных эпох – А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, П.Д. Боборыкина, А.М. Горького и прочих – отношение воссоздается однозначное: смесь безразличности и стыда за родство с этой «голью». Вышеупомянутый салтыковский Хрептюгин буквально корчится, когда местный остроумец поминает ему происхождение его «из червивого царства, мушиного государства».

Очень поучителен с этой точки зрения диалог между братьями Лаптевыми из повести А.П. Чехова «Три года», один из которых явно хочет забыть о своем «низком» происхождении: «Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь,

а представители именитого купеческого рода»; другой же хорошо о нем помнит: «Какой там именитый род?.. Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновник бил его в морду», – но ненавидит, считая источником всех зол именно это происхождение.

Отношение к дворянству, естественно, совершенно иное. В XIX веке, особенно во времена Николая I, прямой путь купца к вожделенному дворянству был предельно затруднен. Для подавляющего большинства мечтавших о дворянском звании купцов существовала практически лишь одна возможность: породниться с тем или иным дворянским родом, выдать дочку замуж за дворянина. Однако на этом пути были серьезные препятствия, в том числе и психологические. Общее впечатление от подхода к решению этой жизненно важной проблемы купцов – героев Гоголя, Островского, более позднего П.Д. Боборыкина – легко свести к одной фразе: «И хочется, и колется...».

Во второй же половине XIX – начале XX веков в художественной литературе звучат уже другие мотивы. Теперь дилемма «купечество – дворянство» рассматривается ими на фоне динамичного развития первого и все усугубляющегося оскудения второго. Соотношение дворянского и купеческого сословий в русской жизни резко меняется, так же как и их реальная значимость и потенциальные возможности, – русские писатели чутко отзываются на эти перемены.

В популярном в свое время романе П.Д. Боборыкина «Китай-город» (1882 г.) коллизия «неравного брака» выглядит совершенно нетрадиционно – дворянин здесь стремится во чтобы то ни стало жениться на купчихе... Сюжет романа хорошо передает автор «Москвы купеческой» В.Я. Бурышкин: «Главный герой романа Андрей Палтусов – барин, который пытается войти в деловой мир и создать собственное дело. Это ему нужно не только для заработка, но и как выполнение своего рода миссии – противопоставить дворянина торжествующему по всей линии купцу и приготовиться к будущему представительству, которое могут

тоже захватить купцы». Подобные намерения вызваны тем, что «купцы захватили в свои руки всю Москву. Не только вся деловая жизнь руководится ими, они не только хозяйничают в городском управлении, но пробираются и в науку, и в искусство». Под пером Боборыкина купец «делается просто каким-то кошмаром. Никуда не уйдешь от него...» Этот «кошмар» поглощает самого героя: чтобы противостоять купечеству, он вынужден породниться с ним... В сущности, Боборыкин констатирует то, о чем мы писали выше: купечество выходит на новый уровень развития, его положение заметно меняется, роль, которую оно играет в самых различных сферах деловой, общественной, культурной жизни, становится все более значимой. Но это совершенно не радует автора; наоборот – пугает. Пугаясь сам, он всеми возможными средствами пугает и читателя.

Презрение, которое творческая интеллигенция испытывает к купечеству, таким образом, в пореформенные времена меньше не становится. Но теперь к этому чувству прибавляется другое, не менее сильное – страх перед российским предпринимателем, ощущение его темной мощи. «Чумазный идет!» – этой фразой один из самых почитаемых (и читаемых) писателей России как нельзя лучше выразил общее настроение образованного общества (М.Е. Салтыков-Щедрин. «Убежище Монрепо»).

Ту же эволюцию мы находим и в изображении взаимоотношений между предпринимателями и государственной властью, точнее, между купцом и чиновником. В немногих произведениях середины XIX века, где затрагивалась эта проблема, купечество изображалось чисто страдательно – как объект безудержного вымогательства со стороны представителей власти. Разница была лишь в приемах: вспомним гоголевских героев – кнутобойцу-городничего из «Ревизора» и полицмейстера из «Мертвых душ», «отца и благодетеля» обираемых им купцов, предпочитающего до поры до времени действовать пряником.

Оба эти типа, с явным преобладанием первого, продолжают воспроизводиться на страницах художественных

произведений и в пореформенные времена. Однако теперь в них все чаще звучит новый мотив, новая тема – «чумазый», совершающий разнообразные преступления при содействии развращенных коррумпированных представителей власти.

Мы сталкиваемся с этим уже в «Своих людях...» Островского. Вся хитрая комбинация злостного банкротства, на которой построена пьеса, замыслена, а затем и проведена в жизнь при самом активном участии судейского чиновника Сыся Псоича Рисположенского. Без него – знатока закона и мастера хитрых каверз, позволяющих этот закон безнаказанно обходить, дело бы не сладилось...

Благодаря каким-то невероятным пирам с «шимпанским», постоянно устраиваемым для соответствующих чиновников, наживают огромные капиталы на казенных подрядах купцы – герои «Губернских очерков» М.Е. Салтыкова-Щедрина («Да, с казною дело иметь выгоднее всего; она, можно сказать, всем нам кормилица»). От этого «союза» купца-грабителя с чиновником-мздоимцем достается и народу: «С начальством для нас выгодней, потому что хоть и есть там расход, да зато они народ уж больно дешево продают. Дашь писарю сто рублей, так он хошь всю волость за тобою закрепит». Вообще, в изображении Салтыкова-Щедрина купечество – и без того «темная сила» по определению, – вступая в союз с чиновником, начинает внушать ужас – ведь речь идет о неприкрытом разграблении страны...

В конце XIX – начале XX веков в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.М. Горького, И.С. Шмелева все вышеназванные сюжеты получают свое дальнейшее развитие. Пожалуй, никакое другое сословие не характеризовалось в русской литературе так беспощадно в своем отношении к народу, государству, судьбам страны.

3. Семья, быт, духовная жизнь

Хотя, как мы видим, купечество русскими писателями изображалось как «темная сила» во всех отношениях и весьма последовательно, нигде, пожалуй, эта «темнота» не воспроизводилась так однозначно, как в сфере бытовой и

семейной жизни. Стоит вспомнить, что сам термин «темное царство» появился в связи с драмой Островского «Гроза», посвященной исключительно этой теме. Реплики и монологи героев «Грозы», посвященные семейным отношениям в купеческой среде, надолго стали определяющими для русской литературы. «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!»

Монолог обличителя Кулибина на многие десятилетия определил одну из капитальных тем русской литературы. Вслед за Островским о жуткой несвободе, определявшей бытие купеческой семьи, о мертвящем, убивающем все живое бытие разнообразно и талантливо писали П.И. Мельников-Печерский и Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин и Г.И. Успенский, А.П. Чехов, А.М. Горький и многие-многие другие. Сейчас кажется очевидным, что творческую интеллигенцию чрезвычайно раздражали патриархальные устои, на которых были построены купеческая семья и быт. И ей, этой интеллигенции, потребовалось пережить страшное потрясение революцией, пройти через полное крушение привычной жизни, чтобы вдали от России, в эмиграции, ностальгически оценить то, что составляло несомненную прелесть этих действительно устойчивых отношений между людьми... Впрочем, «Лето Господне» И.С. Шмелева остается за рамками этой работы.

В дореволюционной же литературе картина рисовалась воистину беспросветная. В сущности сами устои эти пресловутые воспроизводились как ложь, сознательная или бессознательная, выдумка, которая позволяет главе семьи, самодуру-большаку тешить свою звериную натуру, безудержно издеваясь над близкими... «Моему ндраву не препятствуй!»

Очевидно, нет никакого смысла воспроизводить многочисленные сцены физических расправ, надругательств, унижений личного достоинства жены, детей, других родичей, которыми так богата русская литература, посвященная купечеству. Даже любовь принимала здесь форму человеконенавистническую. Очень характерен в этом

отношении один из героев Мельникова-Печерского, который, по словам автора, «любил жену, любил детей, но по-своему». «Хозяин всему голова, – говаривал он, – жена и дети мои: хочу – их милую, хочу – в гроб заколочу»...

Оборотная сторона семейно-бытовых порядков, построенных на насилии, на подавлении всех живых сторон человеческой личности, – скука, которая является обычной «героиней» произведений о купечестве. Особенно скучают женщины, которым, как правило, податься некуда... Скучает Липочка Большова, скучают героини «Женитьбы Бальзаминова»: «Тоска, Анфиса. – Тоска. – Ой, батюшки, как скучно». Смертельно скучает Катерина Измайлова, леди Макбет Мценского уезда: «... Опять та же скука, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться».

Мужчины-купцы, главы семейств, в изображении писателей скучали меньше. У них, как правило, было чем заполнить свой досуг... Сохраняя верность создаваемым ими художественным образам, писатели неизбежно приводили своих обездушенных, исковерканных героев к дикому разврату, а затем нередко – к такому же дикому покаянию. Вспомним хотя бы знаменитый лесковский «Чертогон»... Очень ярко этот архетип купца-грабителя, которого духовный разврат толкает к физическому, а ощущение своей гнусности заставляет надрывно каяться, воплотил Горький в образе Игната Гордеева – отца Фомы. «В теле Игната жили три души» – три стихии владеют этим героем безраздельно: нажива, разврат, покаяние.

Сцены разврата в литературе конца XIX – начала XX веков вообще начинают выходить на первый план – описания различных способов наживы, столь популярные раньше, очевидно, представляются теперь слишком уж будничными и прозаичными. Наряду с многочисленными рассказами и сценками «легкого», юмористического содержания появляются такие произведения, как «Человек из ресторана» И.С. Шмелева, в которых картины купеческого «досуга» производят впечатление поистине ужасающее...

Что касается религиозности купечества, то здесь писатели, как правило, единодушны, несмотря на то в какое время создавали они свои произведения. Во всяком случае, мы не нашли в литературе ни одного образа купца, по-настоящему, глубоко верующего, если брать за критерий стремление жить в соответствии с христианской верой. Образы страстных, сильных, безобразно живущих, но осознающих свою греховность людей, таких как Игнат Гордеев или герой «Чертюгона», — еще из лучших. Набожность, которая была присуща этому сословию, преподносилась писателями как нечто чисто внешнее, формальное. «Помолится купец богу, скажет: «вот и день прошел — слава Царю небесному!» и утонет в перинах» (С. Е. Елпатьевский. «Спирька»). Обычный герой художественной литературы — купец-ханжа вроде Дикого из «Грозы», свято блюдуший посты, не пропускающий ни одной церковной службы и отравляющий жизнь всем окружающим своим «ндравом»...

Подводя итоги, можно еще раз повторить, что русские писатели создали в своих произведениях удивительно цельную картину «темного царства». Все стороны жизни купечества, изображаемого ими, — деловая, семейная, духовная, взаимоотношения с другими сословиями — полностью соответствуют друг другу. В результате перед читателями в разные времена возникал один и тот же, причем весьма неприглядный, образ грабителя и мздоимца, ханжи, развратника, домашнего тирана. Положительные черты в этом образе были редкостью и преподносились скорее как исключение. Впрочем, некоторые попытка разрушить сложившийся стереотип были. О них пойдет речь в последней главе нашей работы.

Положительный образ

Если для описания темных, отрицательных сторон купечества русская литература представляет огромный, почти необъятный материал, то образов, в которых вы-

ражались бы привлекательные черты, в ней чрезвычайно мало. Характерно, что в конце XIX – начале XX веков писатели все чаще начинают создавать образы-«обманки», вводя читателя в заблуждение чисто внешними или обманчиво положительными чертами, исключительно для того чтобы ярче показать его купеческую или грабительскую сущность. Наверное, самый знаменитый герой подобного рода – Лопахин из «Вишневого сада», вполне культурный, обходительный и вроде бы добрый, искренне привязанный к семейству Раневской... А кончается все в духе темного царства, настоящим «живоглотом» – Лопахин «заглатывает» имение «благодетельницы», не скрывая при этом своего торжества: «Вишневый сад теперь мой!..» Есть в русской литературе и произведения, где этот контраст между благоприобретенной чисто внешней культурностью и звериным купеческим нутром выражен еще более ярко и последовательно (смотри, например, рассказ «Иностранец Липатка и помещик Гуделкин» из «Записок Степняка» А.И. Эртеля).

Что же касается героев из купеческой среды, которых сами авторы искренне считают положительными и стремятся привлечь к ним симпатии читателей, то они сводятся буквально к двум-трем образам. При этом характерно, что все они чем-то похожи друг на друга и, в общем-то, являются тем самым исключением, которое подтверждает правило.

Вот, например, герой Островского, который сразу и надолго стал любимцем русской театральной публики, – Любим Торцов из пьесы «Бедность не порок». Он – бывший купец, обнищавший потому, что никогда не держался за богатство, прогулял его в короткое время. Он, и став нищим, денег не любит, просит необходимое: «Гривенник надо. Тут все серебро, мне серебра не надо. Ты дай мне еще семитку, вот и будет настоящий такт».

И именно потому, что он не подчинялся, как все купечество, власти денег, он, хотя и пьяница, может трезво оце-

нить ситуацию, понять, что хорошо и что плохо, в отличие от своего богатого брата Гордея, который вполне оправдывает слова Любима: «Дуракам богатство зло! Дай умному человеку, он дело сделает... А дураку лучше денег не давай, а то он заломается...»

Именно Любим правдивыми словами открывает своему брату глаза на злодея Коршунова, сватающегося к его дочке, устраивает ее брак с бедным, но любимым ею человеком. И характерно, что при всей своей наивности образ Любима Торцова потряс публику и надолго стал одной из самых любимых ролей русских актеров (особенно провинциальных).

В знаменитой «Грозе», как нам представляется, Островский продолжил развивать ту же идею, но уже на более высоком, не мелодраматическом, а трагическом уровне. Катерина схожа с Любимом Торцовым тем, что тоже не подчиняется устоям «темного царства»; так же, как и бывший купец, она ценит внутреннюю свободу, возможность открыто выражать свои чувства гораздо больше, чем внешнее благополучие. И жизнь в доме Кабановых убивает ее прежде всего тем, что «...здесь все как будто из-под неволи». Подличать и врать, как ее сноха Варвара, она не может и не хочет; подавить свои чувства к Борису Катерина тоже не в силах, хотя и пытается сделать это. А когда все кончается выбором: «под замок или в могилу», она решительно выбирает второе. Как справедливо писал современный исследователь, в мире, где господствует Кабаниха и Дикой, «такой душевной одаренности и такой цельности одна награда – смерть» (Лакшин В. А.Н. Островский. М., 1976).

Две по-настоящему привлекательные личности вывел Островский в своих многочисленных пьесах, посвященных купечеству. И в обоих они оказались не в силах сжиться с «темным царством»: один предпочел нищенствовать, другая – утопиться.

Через полвека Горький написал «Фому Гордеева». Герой этого романа – человек той же судьбы, что и Любим с Катериной. Сам писатель, создавая образ Фомы, так оп-

ределил свою задачу: «Эта повесть... должна быть широкой, содержательной картиной современности, и в то же время на фоне ее должен бешено биться энергичный здоровый человек, ищущий дела по силам, ищущий простора своей энергии. Ему тесно. Жизнь давит его, он видит, что героям в ней нет места, их сваливают с ног мелочи...» И дальше: «Фома – не типичен как купец, как представитель класса, он только здоровый человек, который хочет свободной жизни».

Так же, как и вышеназванные герои, которых мы причисляем к положительным, Фома Гордеев совсем не выдающийся человек, у него нет каких-то особых талантов, но он очень естественен, искренен, не способен фальшивить – с юношеских лет. Он ненавидит ложь; чуть повзрослев, пресекает по отношению к себе ругань, обычную в купеческой среде. «...Зряшней ругани вашей не хочу больше, – довольно!» Он так же, как вышеназванные герои, не молится деньгам, что среди купцов считается страшным грехом. Когда оскорбляют любимую им женщину, Фома тут же, не раздумывая, бьет обидчика, не думая о последствиях, и т.д. и т.п. Фома вообще готов на отчаянные поступки, но не из самодурства, а от ненависти к окружающим его людям, их словам и поступкам. Сам не до конца осознавая это, он ненавидит «торговое сословие», к которому принадлежит. И оно мстит ему. В конце концов разъяренные обличительными речами Фомы, купцы избивают его и помещают в сумасшедший дом. Там герой Горького и в самом деле помешался.

Таким образом, к положительным персонажам – спившемуся и утопившейся – прибавился еще и сошедший с ума...

Можно сказать, что в рамках русской художественной литературы так и не был создан сколько-нибудь положительный образ купца – организатора производства, деятельного благотворителя, сознательного гражданина своей страны или, на худой конец, просто последовательно доброго, честного, привлекательного человека. Если подоб-

ные черты и прослеживаются у какого-нибудь персонажа, то, как выясняется, для того чтобы замаскировать всю ту же низменную страсть к стяжательству, порабощению своих ближних. Если же, в исключительных случаях, эти черты действительно являются определяющими для героя из «торгового сословия», то тогда печальной оказывается его судьба. В изображении русских писателей подобные люди оказываются несовместимыми с купеческим «темным царством» и обрекаются им или на изгнание из своей среды, или на гибель... В целом же анализ произведений художественной литературы, посвященных купечеству, еще раз показывает, насколько антибуржуазно была настроена русская интеллигенция – предпринимателей иначе, чем носителей зла, она не воспринимала.

РОМАН С «ФЕНОМЕНАМИ»

(Е. П. Блаватская и Вс. С. Соловьёв)

Герои этой печальной повести встретились впервые в Париже в 1884 году. Оба они находились тогда в сложных житейских обстоятельствах, оба нуждались в поддержке, оба искали духовной близости с понимающими людьми. Сближали их и общие интересы. Они сразу же почувствовали взаимную симпатию и, как кажется, уже тогда, в этот жаркий майский день, ощутили всю значимость этой встречи в своей судьбе... И действительно, кончилось всё более чем «значимо»: жутким скандалом, унижительным и оскорбительным для обоих...

В подобном изложении история эта выглядит, наверное, банально: слишком часто в этом мире человеческие отношения, начавшись с взаимного притяжения, кончаются склокою. Однако раздор между Еленой Петровной Блаватской, создателем и фактическим главой Теософского общества, и Всеволодом Соловьёвым, одним из самых читаемых в те времена русских писателей, оставил заметный след в духовной жизни человечества. Думается, что эта история сохраняет интерес и по сей день: уж очень значительны здесь действующие лица (по крайней мере, одно из них); неординарны связавшие их отношения; серьёзен вопрос, ставший яблоком раздора.

Герои

В отношении характеристики Елены Петровны Блаватской у автора сразу же возникают серьёзные опасения. Он прекрасно сознаёт, что, попытавшись хотя бы в самых общих чертах обрисовать эту удивительную во всех отноше-

ниях женщину, он рискует завязнуть в теме – на весь листаж, отпущенный редакцией... Заявить же просто, что из всех известных ему исторических персонажей этот – чуть ли не самый удивительный, будет явно недостаточно. Лучше всего, очевидно, просто указать основные вехи жизненного пути Блаватской, памятуя об изречении древних: «Характер – это судьба». У этой неистовой женщины судьба и характер, действительно, были вполне адекватны друг другу.

Судите сами: в 1849 г., семнадцати лет от роду, Елена Ган, девица из вполне благополучной дворянской семьи, окружённая любовью близких, неожиданно выходит замуж за 40-летнего чиновника Н.П. Блаватского – совершенно бесцветного и ничем не привлекательного. После трёх месяцев очень странной семейной жизни – счастливому новобрачному, судя по всему, так и не удалось заставить свою молодую жену выполнять супружеские обязанности – Блаватская бежит. Сначала – в родительский дом, а когда её пытаются вернуть мужу – в открытый Божий мир... За неполных десять лет Блаватская объездила Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, Европу и Америку, а главное – побывала на Тибете и в Индии... В эти годы она, по её словам, встречается с Учителями – Махатмами, которые берут молодую путешественницу под своё покровительство и начинают приобщать её к эзотерическим тайнам.

В конце 1850-х годов Блаватская возвращается в Россию и здесь – в Пскове, Петербурге, на Кавказе – живёт до 1865 г. Именно в это время, по свидетельству близких ей людей, вокруг неё начинают приисходить оккультные чудеса – знаменитые «феномены»: Блаватская овладевает некими «психическими силами», которые позволяют ей проникать в мысли других людей, предсказывать будущее, перемещать в пространстве материальные предметы, не прибегая к физической силе.

Вторая половина 1860-х – начало 1870-х – этот период в жизни Блаватской опять насыщен путешествиями и приключениями. Опять Европа, Индия, Ближний Восток... Приключения бывали самые разнообразные – наряду с прочими «ме-

лочами», о которых Елена Петровна если и вспоминала впоследствии, то – мельком, её биография отмечена участием в сражении при Ментане. Она была среди добровольцев освободительной армии Джузеппе Гарибальди; получила в этом бою пять тяжёлых ранений; соратники не верили в то, что она может выжить...

Главным же событием снова стало посещение Тибета. Здесь, в некоем таинственном месте, «излюбленном прибежище махатм», где «никогда не проливалась кровь животных», Елена Петровна под руководством своих учителей приобретала «высшее знание и силу»...

После приобщения к Учению наступает период учительства. Блаватская делает все от неё зависящее для распространения «высшего знания» по всему миру. По указанию своих эзотерических руководителей она находит нужных людей – прежде всего в Соединенных Штатах (в 1878 году Блаватская приняла американское гражданство). В том же году в Нью-Йорке организуется Теософское общество во главе с полковником Генри С. Олкоттом, который с первой встречи и до конца жизни Блаватской был её верным соратником, играя, несомненно, подчиненную роль. В своем Альбоме (дневнике) Елена Петровна записывает по этому случаю: «Дитя родилось! Осанна!»

Постепенно формируются основные цели общества (и здесь Елена Петровна, несомненно, играет определяющую роль).

1. Создание ядра всеобщего братства человечества, без различия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи.

2. Изучение древних и современных религий, философий и наук и объяснение необходимости такого изучения.

3. Исследование необъясненных законов природы и психологических сил, скрытых в человеке.

В то же время Блаватская последовательно излагает своё исповедание веры и «открывает его миру»: в 1877 году выходит её грандиозный труд «Разоблачённая Исида», сыгравший важную роль в распространении теософии по всему свету.

Вскоре после этого Блаватская со своими ближайшими

соратниками покидает Америку с миссионерской целью: по её собственным словам, она стремилась к тому, чтобы центры нового учения, подобные нью-йоркскому, были созданы, как минимум, в двух «великих точках земного шара» – в Индии и в Англии. В конце 1870-х годов Блаватская ведёт активную работу в Индии, где в короткие сроки теософия получает широкое распространение (в Англии «лондонская ложа» Теософского общества была создана в 1883 году без непосредственного участия Елены Петровны).

В общем, можно говорить о том, что вся жизнь Блаватской на протяжении целых 25 лет, при всех её перепетиях, внешних сложностях и многочисленных препятствиях, внутренне была на редкость цельной: Елена Петровна с удивительной энергией и последовательностью двигалась по избранному ею пути, превращаясь из чудаковатой, взбалмошной барышни в существо особой породы – провозвестника нового эзотерического учения, имевшего, как выяснилось, большое будущее. Причём долгое время на этом пути её ожидали один успех за другим (сама Блаватская объясняла это прежде всего мудрым руководством своих таинственных учителей). Однако в середине 1880-х годов провозвестницу «учения будущего» ожидали тяжелые испытания. Именно в это время судьба сталкивает её с Всеволодом Соловьёвым...

Второй герой нашего повествования был, конечно же, человеком несравненно менее значимым – хотя претендовал на многое... Жизнь Всеволода Соловьёва была скудна на события, занята в основном писательством – этому делу он предавался упорно и постоянно. Соловьёв прославился как исторический романист – о славе его, пожалуй, можно писать без кавычек: в 1870-х – 1880-х годах он был очень популярен. Позднее, когда вся эта слава осталась в прошлом, Соловьёв постоянно бередил рану, вспоминая о «былой читательской любви, ссылаясь на «кучи писем» от поклонников и поклонниц, на «показання библиотечной статистики» и прочее. Но факт оставался фактом: его романы из явления Литературы очень быстро превращались в явления сугубо историко-литературные – предмет занятий ученых

– литературоведов и библиографов. Соловьёв переживал этот необратимый процесс очень болезненно, считая его результатом злой воли разнообразных критиков и публицистов, – и был, очевидно, неправ. Да, конечно же, его никак нельзя причислить к графоманам; он очень искренне и сильно любил литературу и создавал вещи вполне добротные, тщательно изучая исторический материал, разрабатывая сюжет, выписывая характеры. Для того чтобы произведения Соловьёва приобрели непреходящее значение, их автору не хватало самой малости – таланта... Вообще, по-моему, в этой истории мы имеем дело с фигурой трагической. Бесталанных писателей было и есть великое множество; лишь некоторые из них страдают... Всеволод же Соловьёв страдал глубоко и искренне. Как мне представляется, роковую роль в его жизни играло родство. Ведь он был не только сыном знаменитого историка, Сергея Михайловича Соловьёва – отца, кстати, Всеволод всю жизнь глубоко почитал, – но и братом гениального философа, Владимира, которому Всеволод, как мне представляется, завидовал... А если и не завидовал – возможно, это слово здесь не совсем уместно, – то, во всяком случае, явственно ощущал на своих плечах груз чужой славы. Это было очевидно, и недаром известный критик В.П. Буренин, любивший язвить и унижать, писал по этому поводу: «В современной литературе два Соловьёва: г. Владимир Соловьёв, иначе называемый «философом», и г. Всеволод Соловьёв, иначе называемый «братом философа». Сам Всеволод постоянно жаловался на «подлость» критиков, путающих их с братом, сознательно, как он считал, приписывающих Владимиру его, Всеволода, произведения, и прочее. Характерно, что на это жаловался иногда и Владимир – но с противоположных позиций. Так, в частности, в отношении интересующей нас темы, Владимир с явным неудовольствием объяснял одному из своих корреспондентов, что никогда не выступал в печати с обличением теософии – это брат, Всеволод, написал о Блаватской «серую» (выделено мною. – А.Л.) книгу».

Создаётся впечатление, что Всеволоду, человеку от при-

роды очень самолюбивому, уже в детстве пришлось пережить множество неприятных ощущений. Его многочисленные братья и сестры (кроме Владимира, ещё брат Михаил и пять девочек) были удивительно яркие, незаурядны – каждый по-своему. Все вместе они составляли какую-то удивительную общность – сказочное королевство, да и только... Естественно, что всех этих незаурядных детей тянуло к гению – законным королём здесь был Владимир. У Всеволода же – кстати, самого старшего – было какое-то другое подданство... Среди всех этих небожителей он выглядел подчеркнуто земным, отличаясь от них даже внешностью («Он казался нам как бы другого типа, чем все Соловьёвы», – писала К.М. Ельцова, с детства дружившая с этой семьей). С годами отчуждённость росла, превращаясь в открытую и, очевидно, взаимную неприязнь.

Прежде всего это касалось Владимира, который в начале 1870-х годов прямо писал своей невесте о «нехорошем чувстве», «инстинктивной антипатии», испытываемой им к Всеволоду, заканчивая признание убийственным для старшего брата замечанием: «Впрочем, надеюсь это со временем пересилить, тем более, что он ненависти и вражды ни в коем случае не заслуживает: он более туп, чем зол...» Судя по всему, подобные чувства к Всеволоду испытывали и другие братья и сестры; в лучшем случае отношения между ними были сдержанны. Отчуждённость Всеволода от семейного круга – такого привлекательного! – несомненна.

С годами эта отчуждённость, очевидно, распространилась на весь Божий мир. По тем немногочисленным воспоминаниям о Всеволоде, которые нам доступны, по его письмам он выглядит явным мизантропом, относящимся к людям с недоверием и подозрительностью, подмечающим прежде всего их слабости и неприятные черты. Ему была присуща и непременная обратная сторона мизантропии – самолюбие, которое становилось всё более гипертрофированным, которое всё труднее было удовлетворить... Даже в годы своих наивысших успехов Соловьёв нередко впадал в депрессию, ощущал потерю вкуса к жизни. В 1884 году, во время

одного из подобных «душевных провалов», он прибег к одному из самых распространённых в те времена на Руси способов борьбы с хандрою – уехал в Париж.

Встреча

Так что же привело их друг к другу, что сблизило этих столь непохожих людей – пожилую женщину, провозвестницу нового учения, обладавшую удивительной духовной мощью, сумевшую увлечь и повести за собою многие сотни людей, и молодого ещё писателя-романиста с его «глухою славой», ипохондрика, с трудом справлявшегося с самим собою?

Первый шаг здесь был за писателем. Соловьёв, ранее создававший романы нраво- и бытоописательные, посвященные обыденной жизни русских людей XVII–XVIII веков, именно в это время обращается к новой для себя теме. Как вспоминал впоследствии сам писатель, именно в это время, в середине 1880-х годов, он принялся за одну из главных задач своей жизни – «исследовать ход и развитие мистицизма в Западной Европе и русском обществе и написать большой роман, где изображались бы результаты этого мистицизма» (романов в результате было написано целых два – «Волхвы» и «Розенкрейцер»).

В интересах темы нашего очерка следует отметить: этот выбор был совсем не случаен. Мистицизм, в качестве основной темы, был нов для Соловьёва-писателя; но он всегда интересовал его как человека. Интерес этот, кстати, был тем немногим, что сближало его с братом. На склоне лет Всеволод Сергеевич вспоминал: «Я не знаю, кто так летел на этот интерес таинственного, как я или мой брат Владимир... спириты, чудотворцы и шарлатаны прошли перед нашими глазами». Для России 1870-х – начала 1880-х годов, где среди образованного общества господствовали различные вариации позитивизма и материализма, подобные настроения были скорее исключением – интерес к «потустороннему», к мистике здесь только начинал утверждаться.

Иное дело Париж... По тем временам это была признанная столица «спиритов, чудотворцев и шарлатанов». Все сферы таинственного имели здесь своих ярких адептов; в Национальной Библиотеке хранилась богатейшая коллекция мистических трудов разных времен, многое можно было отыскать и на лотках знаменитых парижских букинистов... Соловьёв принялся за работу над текстами со свойственной ему добросовестностью – тем более что она успокаивала его «расстроенные нервы». Но, конечно же, его и как человека, и как писателя привлекала возможность «познавать таинственное» из первых рук – не из книг, а от людей. Он пытался наладить контакты с парижскими «оккультными» знаменитостями, в частности, брал уроки известного тогда хироманта Дебароля.

И все-таки парижские знакомства Соловьёва явно не удовлетворяли – они носили эпизодический характер; проникнуть в узкий круг «посвященных», войти в элиту эзотериков-практиков человеку со стороны – причем такой далекой и «варварской», как Россия, – не представлялось возможным. Тем более интересны для Всеволода Сергеевича были «посвящённые»-соотечественники – по крайней мере, один человек, не скрывавший своей приобщённости к «высшим тайнам». «По мере того, как я разбирался в своих выписках... мне припомнились интереснейшие повествования «Радды-Бай», то есть госпожи Блаватской, появлявшиеся в «Русском вестнике» под заглавием «Из пещер и дебрей Индостана» и с таким интересом читавшиеся в России. Предмет моих занятий был тесно связан с главнейшей сутью этих повествований».

Действительно, можно сказать, что для Соловьёва-мистика свидание с Блаватской к этому времени уже состоялось – правда, пока заочное... На любителя «таинственного» эти очерки Блаватской, публиковавшиеся на протяжении нескольких лет, должны были произвести впечатление ошеломляющее... В них содержалось великое множество удивительных историй: о тигре, «убитом словом», о переселении души старика-аскета в тело умершего от холеры

юноши, о наведении порчи, о безоговорочном подчинении воли одного человека другому, владеющему соответствующими магическими приемами, и т.д. и т.п. Все эти истории, как следовало из контекста очерков, либо происходили на глазах у Блаватской, либо сообщались со слов свидетелей-очевидцев, чаще всего европейцев. Надо думать, что Блаватская при этом отнюдь не рассчитывала на немедленное, безусловное доверие русского читателя, воспитанного в духе материализма и позитивизма. Для начала она стремилась хотя бы внушить сомнение в том, что, казалось бы, сомнений не вызывало; подорвать устоявшиеся понятия; разрушить то, что представлялось нерушимым, — веру в материальные основы бытия... Пожалуй, главная цель, которую преследовали очерки Блаватской, заключалась в том, чтобы убедить читателя в неисчерпаемых возможностях души, автономной по отношению к телу... Это был, может быть, первый серьёзный прорыв сквозь бастионы «положительной науки», на которых базировалось мировоззрение подавляющей части русского образованного общества. Недаром «Пещеры и дебри» вызвали резкую отповедь со стороны одного из самых влиятельных идеологов русского позитивизма Н.К. Михайловского. Недаром они сразу же привлекли внимание мистика Всеволода Соловьёва и надолго запомнились ему...

Непосредственный толчок в сторону Блаватской Всеволод Сергеевич получил в духе лучших мистических традиций. По его собственным словам, он, увлечшись идеей перенять мистический опыт у своей соотечественницы, уже готов было поехать в Индию, где надеялся отыскать Блаватскую, но... «Я именно думал об этом, когда... в беседку ко мне вошла мадам Р. (близкая знакомая Соловьёва. — А.Л.).

— Вот, — сказала она, кладя передо мной газетный лист, — вы так заинтересованы Блаватской, а она здесь, в Париже.

— Что вы! Не может быть!

— Читайте...»

В небольшой газетной заметке сообщалось, что Е.П. Блаватская прибыла в Париж, живет по такому-то адресу и

«принимает всех заинтересованных в возбуждённом ею теософическом движении». Непостижимая способность Елены Петровны давать о себе знать нужным людям в нужное время не раз отмечалась в литературе...

Теперь путь к Блаватской, казалось бы, был открыт. Но – характерная для Соловьёва черта! – писатель через общих знакомых стал добиваться личного приглашения со стороны Елены Петровны – и получил его без всяких затруднений.

Итак, они встретились...

«...Дверь отворилась, и передо мною она – довольно высокого роста женщина, но производящая впечатление приземистой, вследствие своей необыкновенной толщины. Большая голова её кажется ещё больше от густых, очень светлых, с малозаметной проседью волос... В первую секунду старое (напомним, Блаватской было 53 года. – А.Л.), некрасивое, землистого цвета лицо её мне показалось отталкивающим, но вот она остановила на мне взгляд своих огромных, на выкате, бледно-голубых глаз – и за этими удивительными глазами, таившими в себе действительную силу, забылось всё остальное...» Поразили писателя и «пальцы её маленьких, мягких, как будто бескостных рук, с очень тонкими концами и длинными ногтями...» Одета Блаватская была, по словам Соловьёва, «весьма странно»: «в каком-то черном балахоне» – как выяснилось впоследствии, в другие одеяния Елена Петровна облачалась разве что в самых исключительных случаях.

В общем, в описании внешности Блаватской Соловьёв был не оригинален: об удивительных глазах Елены Петровны, необычайной форме её рук поминают чуть ли не все, кто писал о «Старой леди» (устойчивое наименование Блаватской в англоязычной литературе того времени). Так же как и об ощущении огромной внутренней силы, исходящей от этой удивительной женщины... А вот в чём Соловьёв преуспел и не знает себе соперников – так это в описании повадки Елены Петровны: её манеры держаться, говорить... Чудом уловив сохранившуюся в ней повадку провинциальной помещицы крепостных времён (о чём ещё пойдёт речь ниже), Соло-

вьёв сумел запечатлеть её мимику, ухватить её жест – причём сделал это с несомненным талантом, которого так не хватает его историческим романам. (Елена Петровна в изображении Соловьёва поразительно напоминает героя литературного произведения совсем другого уровня – «бабуленьки» из «Игрока» Достоевского.) Блатовская получилась у него совсем живая, полностью адекватная своим, тоже на удивление живым, письмам. И слава Богу – потому что в воспоминаниях своих последователей она, как правило, напоминает бездарно написанную икону. В изображении же будущего «гонителя» Елены Петровны вся её ошеломляющая незаурядность передана с блеском.

Что же касалось самой Блатовской, то она увидела перед собой человека, который едва ли производил впечатление незаурядности... Соловьёв был вполне привлекателен внешне (он, кстати, очень следил за собой, одевался со вкусом), мог поначалу вызвать симпатию, но некоторые черты его сбивали это хорошее впечатление на весьма средний уровень. Мне представляется, что было во Всеволоде Сергеевиче какое-то беспокойное, натужное высокомерие – обратная сторона глубокой неуверенности в себе. Недаром один из современников, А. Измайлов, учуял в его «манере говорить и держаться... что-то старобарственное», а брат Владимир в том же письме, где писал о тупости Всеволода, иронически называет его «джентельменом».

Кстати, сравнение Всеволода с Владимиром – человеком, несомненно, конгениальным Блатовской, – мне кажется, многое объясняет в его натуре. При всем своем отмеченном выше отличии от «клана Соловьёвых», у Всеволода вроде бы сходные с младшим братом черты лица. Тем более поразительно их бросающееся в глаза, как будто нарочно, различие. У Владимира – огненный взгляд, «пронзающий пространства», буйная шевелюра, художественный беспорядок в одежде; Всеволод, напротив, безукоризненно одет, ухожен, а взгляд – взгляд тревожен и подозрителен... «Много званых и мало избранных», – сказано в Писании. Владимир, даже если судить только по его многочисленным изображениям, явно был из-

бран; Всеволод же – всего лишь «зван» и места себе на жизненном пиру никак отыскать не мог...

И тем не менее создается впечатление, что Блаватскую он покори́л: она сразу же приняла гостя «как родного»: «просто, любезно и мило, — пишет Соловьев, отмечая удивительные радушие и ласковость её манер. — Через четверть часа я уже беседовал с Еленой Петровной, как будто знал её давно...»

Непринужденность манер «Старой леди», её непосредственность, умение быстро переходить на интимный, «домашний» тон отмечали многие (хотя так бывало не всегда и не со всеми). Но в любом случае на редкость доверительные отношения, которые с первых же встреч сложились у Блаватской с Соловьёвым – отнюдь не самым обаятельным и располагающим человеком на свете, носили характер исключительный. И, конечно же, это требует объяснений.

Главное из них, впрочем, как мне представляется, дала сама Блаватская – в первой же фразе, обращенной к своему гостю: «Что бы вас ни привело ко мне, я ужасно рада познакомиться с вами – ведь я русская...»

Была у Елены Петровны такая слабость, которую она не только не скрывала, но и постоянно подчеркивала, – любовь к давным-давно покинутой России; к русским, которых в её окружении почти не было; и даже к русской православной церкви, – хотя с православием её учение не только не имело ничего общего, но и было враждебно ему, пожалуй, по всем своим основным положениям. В пользу глубины и искренности патриотизма Блаватской есть множество свидетельств, которые я в этом очерке по вполне понятным причинам приводить не буду – не о том речь. Скажу лишь, что мгновенно вспыхнувшая симпатия к Соловьёву, на мой взгляд, в очень значительной степени объясняется именно этим чувством.

Нужно иметь в виду, что, как отмечалось выше, в середине 1880-х годов Блаватской суждены были свои переживания – и, очевидно, не менее сильные, чем ипохондрия писателя-невротика... В это время на пути Елены Петровны, по которому она до сих пор шествовала от успеха к успеху, ста-

ли появляться разнообразные препятствия и помехи. Правда, поначалу они при всей своей противности имели преходящий характер и были связаны прежде всего с тем, что Теософское движение, так успешно развивавшееся в Америке и Индии, с трудом приживалось в Европе. Лондонское общество, на которое Блаватская возлагала такие надежды, раздирали склоки; для того чтобы погасить их, Блаватской самой пришлось ехать в Лондон и использовать всю свою поразительную энергетику «в миротворческих целях». Попытка создать общество в Париже – главная цель поездки туда в 1884 году Елены Петровны – поначалу не принесла серьёзных результатов. После публикаций в парижских газетах Блаватскую стали посещать; но народ шёл всё не очень надёжный, не очень привлекательный... Всё это было, в общем-то, в порядке вещей – теософия и как учение, и как организация только разворачивалась, набирала силу. В порядке вещей было и то, что Блаватская временами уставала от обилия людей, нередко совершенно чуждых ей – не по взглядам, а по характеру, по ментальности. Во всяком случае и в письмах этого времени, и в частных разговорах – с тем же Соловьёвым – от неё нередко доставалось и англичанам, и французам, и всем «друзьям-космополитам», вместе взятым...

Соловьёв же был «свой» – Блаватская, несомненно, ощущала родство с ним именно ментального характера. Да и для него, отмеченного печатью «старого барства», это родство было очевидным, он постоянно обращал на него внимание. В Елене Петровне Соловьёв сразу же уловил черты того типа, который он привык описывать в своих романах и к которому сам отчасти принадлежал. В маленькой парижской квартирке Блаватской он постоянно ощущал дух «старозаветной русской деревни»: «Эта американская буддистка, Бог знает сколько лет не бывавшая в России, всю жизнь прожившая неведомо где и среди неведомо каких людей, была воплощением типа русской разжиревшей в своей усадьбе небогатой барыни-помещицы прежнего времени. Каждое её движение, все её ужимки и словечки были полны тем настоящим «рус-

ским духом», которого, видимо, никакими Махатмами не выкуришь оттуда, где он сидит крепко».

Уставшую от «космополитов» Блаватскую – хотя по духу своему теософия, конечно же, предельно космополитична – очевидно, сразу же потянуло к человеку одной с ней общности, к тому, кто все эти «ужимки и словечки» воспримет не как экзотику, а как что-то привычное и даже приятное – здесь, в Париже, в виду Собора Парижской Богоматери... Кроме того, Соловьёв был писатель, и писатель, как мы говорили, читаемый, с разнообразными связями в литературных и общественных кругах. И пришёл он к ней не из пустого любопытства, а с намерениями самыми серьёзными. Сам Соловьёв заявил об этом сразу же, во время первого своего визита. И ответ ему был дан незамедлительно...

Я не могу отказать себе в удовольствии воспроизвести эту сцену, описанную самим Соловьёвым. «Я прихожу к вам совсем искренно, – сказал он, – без всякой задней мысли, с большим душевным запросом, прихожу затем, чтобы получить от вас выполнение того, что вы обещаете, чем маните в ваших рассказах. Если вы можете – ответьте мне на это душевный запрос, обещайте мне это...» Она не сразу мне ответила, но загадочно и долго глядела мне прямо в глаза своими магнетическими светлыми глазами, а затем торжественно произнесла «Могу!» – и протянула мне руку».

У учения вот-вот мог появиться новый адепт, и к тому же – свой, русский... Думается, что Блаватская рассчитывала на помощь Соловьёва в распространении теософии в родной России. Появлялась возможность сделать новый шаг в этом направлении – второй, после публикации «Из пещер и дебрей»... Причём возможность уникальная: повторим, что людей, подобных Соловьёву, в окружении Блаватской больше не было; связи с Россией почти что исчерпывались связями родственными...

Всеволод Сергеевич, появившийся так вовремя, «под настроение» мог оказаться не только приятен, но и полезен. Естественно, что Блаватская приняла своего гостя-сооте-

чественника с радушием исключительным и даже – настояжывающим...

«Феномены» и борьба с ними

...Колокольчик прозвенел сразу же, во время первого свидания, чуть ли не сразу после обещания Елены Петровны «ответить на душевный запрос» своего гостя. «Ну-с, мой милый соотечественник, государь вы мой, Всеволод Сергеевич, – добродушно улыбаясь, сказала она, садясь передо мною. – Небось вы мне не верите, а между тем, раз я сказала, что могу, значит, могу и хочу! Я ведь уж, хоть верьте, хоть не верьте, – мне-то что – вас знала раньше... я знала, что вас ко мне притянет. Слушайте!

Она как-то взмахнула рукою, подняла её кверху – и вдруг явственно, совершенно явственно я расслышал где-то над нашими головами, у потолка, очень мелодический звук как бы маленького серебряного колокольчика или эоловой арфы».

Так состоялось первое знакомство Всеволода Сергеевича не только с Блаватской, но и со знаменитыми «феноменами»... О «феноменах» я уже писал выше – по свидетельству В.П. Желиховской, младшей сестры Блаватской, эти сверхъестественные явления, вроде разнообразных звуков неясного происхождения, самостоятельного перемещения мебели и тому подобное, сопровождали Елену Петровну с детских лет и поначалу носили совершенно произвольный характер, пугая и девочку, и её родных. По тому же свидетельству, позже, в конце 1850-х – начале 1860-х годов, во время пребывания Блаватской в России – уже после её знакомства с Махатмами, она вполне овладела «феноменами», подчинив их своей воле. Уже в России, в Пскове, а затем в Тифлисе, демонстрация этих необычных явлений производила самое сильное впечатление; то же и впоследствии – в Европе, Америке, Индии...

Произвело это впечатление и на Соловьёва – ведь звон

невидимого колокольчика как бы приветствовал его вступление в круг избранных. Впечатление это, по словам нашего героя, было бы ещё больше, если бы не одно обстоятельство: непосредственно перед тем как зазвонил колокольчик, Елена Петровна ненадолго выходила из комнаты... Это событие, собственно, и явилось завязкой сюжета, которому впоследствии Соловьёв посвятил свою книгу «Современная жрица Исида» (ту самую «серую книгу», по определению его брата Владимира).

С первого визита Соловьёва к Блаватской и до полного разрыва отношений с нею первостепенное внимание писателя было приковано именно к «феноменам» – собственно, им, прежде всего, и посвящена его книга. Первый же из них, как было сказано, вызвал подозрение автора. При этом, будучи мистиком, Соловьёв отнюдь не отрицал возможность подобных явлений, но... «Я хорошо знал, что, несмотря на все усилия вчерашней правоверной науки отрицать сверхчувственное, оно существует и время от времени проявляет себя в людской жизни; но я также знал, что проявления эти редки и что иначе быть не может. А тут вдруг сверхчувственное, в самых разнообразных и подчас совершенно нелепых видах, буквально затопляет жизнь здоровой, крепкой и вдобавок поглощённой материальными делами и заботами особы».

Из этого «потока» Соловьёв выделил и описал всего несколько «феноменов», происходивших в его присутствии и вызывавших всё более серьёзные сомнения.

Первый по счёту «феномен с письмом» – Блаватская, приложив ко лбу только что, на глазах Соловьёва, принесённое слугою письмо «в плотном, непросвечивающем конверте», прочла его, указав, в частности, что одно из слов подчёркнуто. По вскрытии конверта содержание письма оказалось тождественным и соответствующее слово – подчёркнутым. При этом Соловьёв указывал на возможность того, что письмо было подготовлено заранее (слугу-индуса Блаватской он характеризует как «отъявленного плута»).

Затем последовал более сложный «феномен с медальоном». По предложению одной из своих посетительниц Блаватская

продемонстрировала Соловьёву золотой медальон, в котором «на кости и весьма посредственно» был изображен один из махатм – учителей Елены Петровны. По ходу дела в непри- нужденной беседе выяснилось, что у Блаватской есть свой миниатюрный портрет – под пару изображению махатмы, но находится он очень далеко, в Индии. Однако через мгновение, после знакомого Соловьёву звука серебряного колокольчика, его «изумлённым глазам явилось на обеих внутренних сторонах медальона два портрета»: кроме уже знакомого, изображавшего махатму, – портрет Елены Петровны... «Я взял медальон в руки, тщательно осмотрел его: оба портрета были вделаны крепко, очень крепко, одним словом, имели такой вид, будто они всегда тут находились... Всё это было устроено так чисто, что я решительно не мог ни к чему придраться». Затем медальон закрыли; открыли снова – портрет Блаватской исчез из медальона, как будто его никогда там не было...

Исчез он, однако, не навсегда. Недоверчивый гость заявил, что готов «обратиться» и «идти на какие угодно пытки» за свою новую веру при одном условии: если махатма (которому приписывались все эти перемещения) положит исчезнувший портрет в его, Соловьёва, портсигар. На это Учитель Блаватской не пошёл (по довольно неуклюжему объяснению Елены Петровны он не хотел вступать в непосредственный контакт с непосвящённым европейцем). Однако через некоторое время Соловьёв обнаружил исчезнувший портрет у себя в шляпе...

И, наконец, третий случай, который, впрочем, остаётся полностью на совести Соловьёва – кроме трёх заинтересованных лиц в описанной им сцене не было других свидетелей. В тот самый момент, когда Блаватская в одно из последних с ним свиданий с жаром убеждала Соловьёва поверить, наконец, в махатму – Великого адепта, последний сам принял участие в беседе, причём совершенно неожиданным образом: присутствовавший в комнате индуc-теософ, ни слова не знавший по-русски, вдруг начал писать на этом языке и написал целую фразу – «Блаженны верующие, как сказал

Великий адепт». Однако тут, по словам писателя, произошел конфуз – бедняга индус пропустил в слове «верующие» буквы «е» и «ю»... «Блаженны врущие»...

Фраза эта, возникшая под карандашом последователя Блаватской, становится для писателя ключевой: если поначалу Соловьёв писал лишь о своих сомнениях, держа читателя в некотором, так сказать, «детективном» напряжении, то здесь он уже не скрывает своих чувств. Блаватская в его изображении выглядит всё более откровенной мошенницей, а её учение чистой воды шарлатанством...

«Чудеса», окружавшие «Старую леди», приводили Соловьёва во всё большее раздражение – а кроме описанных выше, их было ещё немало. Большинство из них воспринимались писателем как откровенная, до наглости, фальшивка, поскольку для изготовления их не требовалось даже особой ловкости рук. Прежде всего это касалось посланий неведомых учителей Блаватской – махатм; они достигали своих адресатов исключительно сверхъестественным образом: то падали «сверху» к ногам одного из членов теософского общества, то оказывались в кармане у другого... В этих посланиях периодически стали появляться упоминания о самом Соловьёве – махатмы стремились наставить его на путь истинный...

В «Современной жрице» Соловьёв писал о том, что его возмущение нарастало с каждым подобным «чудом». Он рисует себя человеком, безоговорочно не принимающим обмана, не желающим мириться с ним; уже после упоминания о первом «феномене» – относительно безобидном звоне колокольчика – он писал: «...смахивает на фокус; но я покуда не имею никакого права подозревать её в таком цинизме и обмане, в таком возмутительном и жестоком издевательствах над душою человека!»

Поскольку эти «цинизм и обман», судя по описаниям «феноменов», становились для Соловьёва всё более и более очевидными, естественно, вставал вопрос: почему он – человек, так ненавидящий ложь, – сразу же не поставил на место зарвавшуюся «шарлатанку»? Почему не только вступил в Те-

ософское общество, но и на протяжении полутора лет играл роль друга, более того, доверенного лица этой «шарлатанки» (письма Блаватской к Соловьёву за 1884–1885 годы, которые писатель обильно цитирует в своей книге, не оставляют на этот счёт никаких сомнений).

Писатель даёт этому самое недвусмысленное объяснение: «Я дал себе слово – во что бы то ни стало разглядеть эту женщину». Причём Соловьёва можно понять так, что уже тогда, в 1884 году, он готовился к своей миссии: бороться с тлетворным влиянием Блаватской... «Меня она, по счастью, во всяком случае не собьёт с толку, но ведь даже в тогдашнем маленьком кружке парижских теософов я видел нескольких лиц, искренне увлекшихся, готовых очертя голову кинуться в бездну, куда заглянуть приглашает их Елена Петровна ... проделывая свои феномены. Ведь если все эти феномены, все, как есть, – один только обман, что же такое эта Елена Петровна? В таком случае это ужасная и опасная воровка душ!»

Именно в это время вокруг имени Блаватской и руководимого ею движения разгорелся скандал, который, очевидно, окончательно убедил Соловьёва в его правоте. Как раз в те самые майские дни, когда он в первый раз увидел «Старую леди», в далекой Индии получили расчет служащие тамошнего Теософского общества, супружеская чета Эмма и Алексис Коломбы – «за недостойное поведение и злоупотребление денежными средствами». С Эммой Коломб Блаватская познакомилась ещё в начале 1870-х годов, во время своих странствований по Ближнему Востоку, сама приняла попавших в тяжелое положение супругов на работу в Общество и довольно долго противилась их увольнению... Осенью в журнале, выпускавшемся в Мадрасе христианскими миссионерами – ярыми врагами индийских теософов вообще и Блаватской в особенности, – был опубликован ряд писем, содержавших инструкции по «мошенническому устройству феноменов», которые, как утверждала Эмма Коломб, адресовались ей Блаватской...

Блаватская отреагировала сразу же, заявив в печати, что

эти письма – подделка, сработанная Алексисом Коломбом, чей почерк был чрезвычайно похож на её. Естественно, что погасить таким простым способом скандал не удалось – он получил мировую огласку. Своё расследование по горячим следам провело Лондонское общество психических явлений (ОПИ) – авторитетная научная организация, давно интересовавшаяся Блаватской и её «феноменами». Комиссия общества, работавшая непосредственно в Мадрасе, в которой наиболее активную роль играл австралиец Р. Ходжсон, получивший благодаря своему отчёту об этом деле широкую известность, пришла к безоговорочному выводу: письма подлинные, а «феномены» – фальшивые; что же касается самой Блаватской, то она, по словам отчёта, не являлась «ни представительницей таинственных мудрецов, ни того менее простой авантюристкой», а «заслужила своё место, как одна из наиболее совершенных, интересных и остроумных обманщиц нашей эпохи».

Я, естественно, не буду вдаваться в подробности чрезвычайно запутанного и интересного расследования «дела Коломбов». Отмечу лишь, для полноты картины, что в 1986 году, ровно через сто лет после появления отчёта Р. Ходжсона, существующее до сих пор ОПИ выпустило пресс-коммюнике, которым этот отчёт, по существу, полностью дезавуировало. Основу коммюнике составило заключение доктора В. Харрисона, известного эксперта по подлогам и фальшивкам, в котором в резкой форме отмечалась тенденциозность Ходжсона, его постоянное стремление опираться на «предвзятый отбор свидетельств» или даже на «откровенную ложь» – лишь бы только обличить Блаватскую. От лица ОПИ Харрисон приносил извинения основательнице Теософского общества за то, что «нам потребовалось сто лет» для выяснения истины...

Если всё это так, то просьба о прощении действительно выглядит вполне уместной – отчёт Ходжсона, несомненно, явился для Блаватской одним из самых страшных ударов в жизни; другим стала «измена» Соловьёва... Очевидно, именно так должна была впоследствии оценивать его поведение

Блаватская: ведь осенью 1884 года она рассталась с ним как с другом и единомышленником. Её письма к Соловьёву из Индии, куда она отправилась «спасать» тамошнее Теософское общество, и затем из Европы – это письма к близкому человеку, с массой подробностей, переживаний, откровенностей и совсем неформальными заключительными строками: «Вечная вам любовь и дружба верной вам до гроба Е. Блаватской», «вам навеки преданная Е. Блаватская» и т.п.

Между тем у самого Всеволода Сергеевича не было ни малейших сомнений в правоте Ходжсона; отчёт комиссии ОПИ, судя по всему, доставил ему искреннюю радость, подведя под его позицию мощную документальную базу, – и впоследствии в назидание русскому читателю Соловьёв опубликовал в «Современной жрице...» обширные выдержки из этого документа со своими комментариями. Однако отношения с Блаватской он продолжал поддерживать, отвечая на её письма – и не менее задушевно... Дело в том, что у него возникло и всё более укреплялось желание сделать «в pendant к ходжсоновскому» своё «тщательное и беспристрастное расследование». Так он и написал Майеру, своему знакомому члену ОПИ. При этом Соловьёву явно хотелось добыть непреложные доказательства своей правоты – а для этого, конечно же, необходим был личный контакт со «Старой леди».

Вторая и последняя встреча наших героев, состоявшаяся летом 1885 года, привела Соловьёва к вожаденной цели. Всё сложилось для него как нельзя более удачно. Блаватская никогда не следила за своим здоровьем; потрясения же, связанные с «делом Коломбов», привели её в ужасное состояние. Она вернулась в Европу совсем больной. Один из лечащих Блаватскую врачей, с которым беседовал сам Соловьёв, сказал ему, что «не видал ничего подобного в течение всей моей многолетней практики. У неё несколько смертельных болезней – всякий человек от каждой из них давно бы умер. Но это какая-то феноменальная натура...» Физические страдания, несомненно, усугублялись духовными: борец по определению, Елена Петровна ни в коем случае не собиралась сдаваться, – но ощущение того, что дело всей её жизни находится под уг-

розой, накладывало отпечаток на все её побуждения и поступки этого времени. Наконец, как то нередко бывало в её беспокойной жизни, Блаватская испытывала серьёзные денежные затруднения. В общем, всё было плохо.

Характерно, что в этой критической ситуации «Старую леди» тянуло именно к Соловьёву. Едва живая, с трудом передвигаясь, Блаватская приехала к Соловьёву в маленький швейцарский городок, где он тогда отдыхал, и убедила его провести лето вместе с ней, в баварском городе Вюрцбурге, соблазняя «уроками оккультизма». Соловьёв согласился, исходя из своих соображений: «Никаких «уроков оккультизма» она, конечно, мне давать не будет, ибо таких «уроков» и давать нельзя; но пока я ей нужен, пока она одинока и покинута самыми даже преданными её друзьями, она изо всех сил станет морочить меня феноменами – и вот тут-то я и узнаю всё, что мне надо».

Чего уж лучше...

В «Современной жрице...» Соловьёв изобразил себя человеком, сознательно и хладнокровно спровоцировавшим Блаватскую на откровенность. При этом он воспользовался целым рядом благоприятных обстоятельств: тяжелым положением «Старой леди», нуждой в его поддержке и, наконец, несомненной симпатией – если не сказать более – Елены Петровны к нему. «...Я уже достаточно подготовил её к убеждению, что я человек, любящий посмеяться, легко относящийся к её обществу, но расположенный лично к ней. Я твердо знал мою роль и так же твердо знал то, что только этой ролью добьюсь, наконец, сегодня всего, чего так давно хотел добиться».

Соловьёв с нескрываемым удовольствием живописал сцену разоблачения – вернее, саморазоблачения – «воровки душ». «Пан или пропал!» – мелькнуло у меня в голове». Всеволод Сергеевич, по его словам, решил «подыграть» Блаватской, продемонстрировав своё глубинное понимание той ситуации, в которой постоянно приходилось пребывать создательнице Теософии. «...Обман обману рознь, – заявил он ей, – есть надувательство и надувательство! Играть роль, ка-

кую вы играете, увлекать за собою толпы, заинтересовывать собою ученых, учреждать общества в разных странах, возбуждать целое движение — помилуйте! да ведь это необычайно, и я невольно восхищаюсь вами».

Если всё было так, как описывает Соловьёв, то игру он провёл тонкую... Речь шла ведь не о грубой лести, а именно о понимании того, с какими непосильными задачами постоянно сталкивается Блаватская, — и оправдании её неразборчивости в средствах, с помощью которых решались эти задачи... Блаватская, писал Соловьёв, нуждалась «в личном друге и собеседнике», с которым бы можно было беседовать «нараспашку» — и вот он, желанный... «Её мрачная, изумлённая и почти испуганная физиономия стала быстро проясняться. Глаза так и горели, она с трудом дышала, охваченная возбуждением. «Да! — вдруг воскликнула она. — У вас очень горячее сердце и очень холодная голова, и недаром мы встретились с вами!.. Один в поле не воин, и теперь, среди всех этих свалившихся на меня напастей, старая и больная, я слишком хорошо это чувствую... Придите ко мне на помощь, и мы с вами удивим весь мир, всё будет у нас в руках...»

И далее Соловьёв воспроизводит поток горячечных речей Блаватской, из которых следовало, что все её «феномены» — подделка, необходимая ей для популяризации, «раскрутки», как сказали бы сейчас, её учения, Теософии... «Ведь будь мои книги... в тысячу раз интереснее и серьезнее, разве я имела бы где бы то ни было и какой бы то ни было успех, если б за всем этим не стояли феномены? Ровно ничего бы не добились и давным-давно поколела бы с голоду...» Соловьёву в знак доверия была даже продемонстрирована «серебряная штучка» — тот самый маленький колокольчик, при помощи которого возвещали о себе махатмы... А вслед за этим последовал призыв: «Спасите меня, помогите мне... Подготовьте почву для моей деятельности в России... Я думала, что мне нет уж возврата на родину... Но ведь он возможен... Вы можете больше всех теперь. Пишите больше, громче о теософском обществе, заинтересуйте им... и «создавайте» русские письма Кут-Хуми... Я вам дам для них материалы...»

На этом самом месте, пишет Соловьёв, он не выдержал — хотя и «ожидал чего-нибудь подобного»: «Я схватил шляпу и, ни слова не говоря, почти выбежал на свежий воздух...»

Воспроизведённая выше сцена — несомненная кульминация всей нашей истории. Любитель мистики, пришедший к Елене Петровне с «большим душевным запросом» и получивший в ответ дешёвые фокусы, компенсировал свои духовные потери, разоблачив «воровку душ»... Как можно понять из книги Соловьёва, он, всё для себя уяснив, продолжал общение с Блаватской вплоть до своего отъезда из Вюрцбурга. Причем, пишет он, Елена Петровна, поняв свою «промашку», очевидно, надеялась всё-таки удержать нужного ей человека — разными способами. Она то заявляла, что все её признания были внушены ей извне, неким «черным колдуном», врагом махатм, овладевшим её сознанием; то — что это сами махатмы «испытывали» таким образом Соловьёва; то — переходила к неясным угрозам: «...вам будут очень-очень большие неприятности».

Пыталась она воздействовать на Соловьёва и после его отъезда; писатель на страницах «Современной жрицы...» цитировал некоторые письма Блаватской — «Я молчал, а она всё писала». Однако Соловьёв, по его словам, был неумолим; через некоторое время, собрав о Блаватской дополнительные сведения, он сообщил «о результатах своих исследований» своим знакомым членам ОПИ, а затем демонстративно вышел из Теософского общества. После этого всякие личные отношения Соловьёва с Блаватской, естественно, прекратились.

Впрочем, как утверждал сам писатель, он готов был ограничиться сделанным и, вернувшись в Россию, не собирался вести активную борьбу с Блаватской — при определённых условиях. Свою позицию он пояснял следующим образом: «В России о Теософском обществе и его основательнице очень мало известно, и самое лучшее — совсем не говорить об этом... Пока в русской печати не станет появляться превратных сведений об обществе и Елене Петровне, я буду молчать. Если же обо всём этом заговорят, и заговорят лживо, я почту сво-

им прямым долгом... восстановить всю правду и рассказать то, что мне известно».

Действительно, Соловьёв хранил свой «обет молчания» достаточно долго – вплоть до кончины Блаватской в 1891 году он воздерживался от разоблачительных выступлений в печати. Однако в том же году в журнале «Русский вестник» был опубликован обширный биографический очерк Блаватской. Автор его – В.П. Желиховская, очень любившая свою сестру (и, кстати, несмотря на свои неоднократные утверждения о неприятии теософии, немало сделавшая для её пропаганды в России), впервые, пожалуй, познакомила русского читателя с этой удивительной женщиной. Нужно отдать должное Вере Петровне: она старалась избегать панегирического тона, и ей в общем-то удалось создать довольно живой образ Блаватской, не говоря уж о том, что очерк содержал много интереснейших сведений, которые могла дать только близкая и любимая родственница. Желиховская не раз упоминала и о «феноменах», причём в таком контексте, что у читателя не возникало ни малейших сомнений в их подлинности, — хотя и подчёркивала постоянно, что она сама все эти «чудеса» не одобряла, видя в них своего рода злоупотребление Блаватской своими небывалыми возможностями.

Как бы то ни было, Соловьёв воспринял эту публикацию крайне болезненно и поспешил вступить в бой – в 1892 году он опубликовал в том же журнале свою «Современную жрицу Исиды»; годом позже он издал её отдельной книгой.

Что есть истина?..

Я, наверно, не рискнул бы поставить в подзаголовок этот столь ко многому обязывающий вопрос, если бы слово «истина» не мелькало так часто в книге Соловьёва. Недаром Желиховская свой ответ писателю так и озаглавила: «Е.П. Блаватская и современный жрец истины». Кстати, у самой Блаватской есть статья с названием «Что есть истина?»; в ней Елена Петровна пишет, в частности, об опасности, подстере-

гающей каждого, кто пытается разглядеть эту истину, притаившуюся на дне самого глубокого колодца на свете — колодца познания; он рискует увидеть там не более, чем своё собственное отражение...

Надо сказать, что, с точки зрения литературной, «Современная жрица...» Соловьёву, на мой вкус, совершенно не удалась: несмотря на свой поистине захватывающий сюжет, она получилась чрезвычайно тяжеловесной, лишенной какой бы то ни было внутренней стройности и потому, наверное, почти скучной. За исключением нескольких на удивление живых сцен, которые «ведёт» сама Блаватская (я уже отмечал, что образ Елены Петровны — удача Соловьёва, но, к сожалению, удача единственная), «Жрица» вполне оправдывает беспощадный отзыв брата писателя, Владимира: «какая-то серая книга»...

И тем не менее «Современная жрица...» надолго пережила своего автора — в отличие от всех прочих, чисто художественных произведений. И произошло это прежде всего потому, что книга Соловьёва нанесла очень серьёзный удар и по посмертной репутации Блаватской, и по всему её учению в целом. В этом отношении она не только стоила чисто документального отчёта Ходжсона, но и, пожалуй, превосходила его своей убойной силой. В конце концов Ходжсон опирался на свидетельские показания и материалы, исходившие от людей весьма и весьма подозрительных, — Коломбы просто источали дух авантюризма и мошенничества; к тому же было очевидно, что они действовали из личных побуждений, считая себя обиженными и Еленой Петровной, и всеми теософами, вместе взятыми. Соловьёв же имел незапятнанную репутацию порядочного человека; и делить ему с Блаватской было вроде бы нечего. Сам он объяснял своё выступление в печати намерениями исключительно благородными: вышеупомянутым стремлением к истине и желанием обезвредить разоблачённую «воровку душ».

Поскольку же Блаватская не оставляла — и, по-моему, не оставляет — равнодушным никого из тех, кто хоть раз попал в её ауру, поскольку ей почти всегда было суждено вы-

зывать или безоговорочное поклонение, или ожесточённую ненависть – то Соловьёв обеспечил своему творению долгую жизнь. Его книга всегда будет находиться в центре внимания тех, кто так или иначе заинтересован теософией. Противники Блаватской и её учения сразу же взяли «Современную жрицу...» на вооружение – недаром вскоре после появления этой книги ОПИ поспешило перевести её на английский язык и издать за свой счёт. И с тех пор книга Соловьёва служит одной из главных опор всем, кто считает Блаватскую мошенницей чистой воды, а её учение – столь же откровенным шарлатанством. Ну а в стане поклонников «Старой леди» имя Соловьёва предано единодушному проклятию; он безоговорочно объявлен заведомым лжецом. «Яго теософии» — определение, данное писателю в одном из писем Елены Петровны, было подхвачено её последователями (так, в частности, названа глава, посвященная взаимоотношениям Блаватской и Соловьёва, в книге Сильвии Крэнстон, которая по справедливости считается самой основательной и надежной биографией основательницы теософии).

Поскольку мне – раз уж я взялся за эту историю – неизбежно предстоит высказаться по этому поводу, то хочу сразу же оговорить, что не могу отнести себя ни к сторонникам, ни к противникам Блаватской. Подобная оговорка, наверное, может показаться банальной или даже трусливой – чем-то вроде отказа от своей собственной, ясно заявленной позиции; мне же просто не хочется, чтобы в колодце познания в очередной раз отразилось всего лишь чьё-то лицо – пусть даже до боли знакомое и любимое. Мне, видите ли, хочется сохранить объективность...

Так вот, я убеждён, что не верны обе заявленные выше точки зрения: Соловьёв не был отъявленным лжецом, а Блаватская – безусловной мошенницей. С позиций чистой математики это утверждение должно казаться бессмысленным: ведь там если a больше b , то b неизбежно меньше a ; т.е. если Соловьёв писал правду, значит, Блаватская была мошенницей, если же неправду – значит, он сам является лжецом. Но в том-то и прелесть, что мы имеем здесь дело не с математи-

кой, а с той сферой, где все величины предельно условны и очень относительны...

Начнём с Соловьёва. Его позиция изначально очень уязвима: писателю приходится верить исключительно на слово и прежде всего в самом главном – в том, что касается признаний Блаватской относительно фальсификации «феноменов». Соловьёв сам хорошо сознавал это, замечая после описания сцены признания: «Не особенно приятно знать правду, добиться её таким тяжёлым путём и быть вынужденным таить её про себя или слышать: «Однако, милостивый государь, это довольно невероятно и у вас нет никаких законных доказательств возможности того, о чём вы пишете».

Это слабое место, естественно, сразу же было осознанно и прочувствовано теми, кого возмутила «Современная жрица...». Уже Желиховская – первый и, несомненно, самый авторитетный оппонент Соловьёва – в своём опровержении стремилась доказать прежде всего, что лживость суть определяющая черта писателя, что верить на слово ему как раз невозможно. Она педантично и основательно разбирала разнообразные фактические неточности в его изложении событий – и выглядело это, как правило, убедительно. В самом деле, своё обличение, где, в принципе, было важно каждое слово, значительна каждая деталь, Соловьёв написал в свободной романической форме, закатывая диалоги и монологи на несколько страниц, без ссылок на какие-либо современные записи. Да и едва ли он стенографировал свои беседы с Блаватской... Между тем книга-то ведь создавалась через пять лет после описанных событий; подробнейшее, дословное воспроизведение в ней того, что говорилось так давно, конечно же, производит определённый художественный эффект, но в то же время внушает и серьёзные подозрения в достоверности или, во всяком случае, в точности написанного. То же касается и многих фактических деталей – здесь Желиховская, используя разнообразные документальные материалы, прежде всего письма своей сестры, постоянно ловит писателя за руку, уличая его как раз в вопиющей неточности.

При сколько-нибудь критическом отношении к тексту неизбежные подозрения вызывала и ещё одна его характерная особенность. С первых же страниц «Современной жрицы...» становилось ясно, что её автор отнюдь не относится к людям, способным умереть от скромности. Соловьёв последовательно изображает себя настоящим героем – предельно пронизательным, мудрым, вовремя говорящим все нужные слова и совершающим все необходимые поступки; Блаватскую он держит буквально в железных тисках; ну а второстепенные персонажи по сравнению с ним выглядят просто пигмеями... И здесь текст Соловьёва снова приходит в противоречие с текстом писем – на этот раз его собственных.

Дело в том, что значительная часть писем Соловьёва к Блаватской оказалась в конце концов в руках её сестры; Желиховская сообщает, что Соловьёв предпринимал попытки эти письма получить, причём на очень характерных условиях: «Он... предлагал поменяться с ним на мои к нему письма и, в случае моего согласия, обещал не помянуть моего имени в своей статье» – переговоры велись незадолго до публикации «Современной жрицы...»

То, что Соловьёв стремился получить свои письма, не удивительно; удивительно скорее то, как он, не получив их, рискнул всё-таки написать «Жрицу» в духе такого безоговорочного самопреклонения и затем опубликовать её. Очевидно, у писателя действительно была плохая память... Дело в том, что общий тон его писем – чрезвычайно уважителен, а нередко и подобоострастен по отношению к разоблачаемой им главе Теософского общества, причём это вполне можно сказать и о письмах, отправленных им Блаватской после «разоблачения». Лучше всего охарактеризовала их сама Блаватская, писавшая сестре: «...бедный наш Всеволод Сергеевич Соловьёв! Давно ли я в Лондоне, а уже два жалких письма получила. Просит только любить и не забывать... Дескать, никого из чужих так не любил, как меня старую. Спасибо ему!» Ни малейших сомнений в «феноменах» Соловьёв в этих письмах не выражает; более того, сообщает, что сам «почти постоянно ощущает вокруг себя дуновения и до такой степе-

ни, что становится противно». В этой связи Желиховская вспоминает, что когда она как-то раз в присутствии Соловьёва выразила сомнение в некоторых «феноменах», тот обрушился на неё с укоризнами: «Как, говорил, не стыдно вам так не доверять сестре и очевидности? Вы увидите, вы будете посрамлены в своём неверии».

Всё это, конечно же, ставит под сомнение тот «самообраз» хладнокровного аналитика, непоколебимого «жреца истины», который Соловьёв с такой любовью создавал в своей книге. Сам он впоследствии пытался объяснить всё это, как тонкую игру, направленную на то, чтобы заставить Блаватскую поверить ему и «открыться», — но подобная версия, по-моему, выглядит совсем уж литературно; достаточно вспомнить, что на роль хладнокровного интригана претендовал желчный, издержанный ипохондрик, мучительно искавший в этой жизни точку опоры...

Вообще, мне кажется, что в «Современной жрице...» много сочинительства — Соловьёв нередко описывал происходившее таким образом, каким ему хотелось, чтобы оно происходило. Причём я не удивился бы, узнав, что он сам искренне верил в то, что пишет правду. Ведь он, несомненно, принадлежал к числу людей, которые никогда не ошибаются, которые всегда правы, а если действительность противоречит этому самому сильному, а нередко и единственному их объяснению — то что ж, тем хуже для действительности... Отсюда, кстати, и пренебрежение к фактической точности — все детали оказываются вторичными в свете великолепия, который исходит от самого автора.

И всё-таки подобное сочинительство ещё не равнозначно прямой, заведомой лжи — так же как, например, склонность к устройству скандалов в общественных местах отнюдь не означает, что подобный скандалист способен хладнокровно убить своего ближнего. Есть ведь грань, которая отделяет недостатки от пороков. Соловьёв прожил долгую жизнь, имел сложный, тяжёлый характер, доставил немало хлопот окружающим — и всё-таки, по-моему, его духовный, нравственный облик не соответствовал тому, который

создавался и создается в произведениях авторов – поклонников Блаватской. Не был Соловьёв таким злодеем и вырожденком; не был Яго...

Тут всё дело, в конце концов, упирается всего лишь в несколько страниц «Жрицы», на которых Блаватская признаётся Соловьёву, что использует для пропаганды своего учения методы, ну, скажем так, нетрадиционные. Всё остальное вторично и относится к личным соображениям, сомнениям и подозрениям писателя. Здесь же всё предельно чётко – либо это было, либо этого не было. Мне эта сцена представляется достоверной.

Меня, откровенно говоря, поражает как раз не то, что Блаватская производила «феномены» – если не все, то многие – при помощи ловкости рук, а то, что её последователи пытаются убедить себя и весь мир в их истинно чудесном характере. Письма махатм, падающие буквально на головы заинтересованным лицам, перемещение других материальных предметов на огромные расстояния, звуковые эффекты... И всё это по первой необходимости, по самому пустяковому поводу. Как к Соловьёву не относиться, а с некоторыми его замечаниями по этому поводу трудно не согласиться. Он ведь совершенно прав, когда пишет, допуская возможность чудесного, что оно, по определению, не должно происходить постоянно. «Помилуйте! – не раз говорил я Елене Петровне. – Вы совершенно компрометируете вашего «хозяина» (махатму. – А.Л.). Сей величайший мудрец... лежит в глубине Тибета, у самого порога Нирваны. Его дивный ум решает судьбы мира. И вдруг вы ему отсюда «дзинь»! Он тотчас же делает «затрату жизненной силы»... облекается в астральную оболочку – и, во мгновение ока, шашь сюда к вам. «Дзинь! Что прикажете?...» «А ну-ка, любезный, напиши письмо г-же А. и кинь через час его ей на голову!» – «Слушаюсь»... Ведь он, выходит, не «хозяин» вам, а лакей на побегушках!

О, как сердилась она на меня за такие речи, как таращила свои громадные глаза цвета полинявшей бирюзы».

Сердиться на Соловьёва, возможно, и следовало, тон у него

противный, ёрнический, но ведь по существу-то он был прав, несомненно прав. И признание Блаватской, по-моему, выглядит гораздо естественней и понятней, чем постоянные «записочки» махатм, переносимые с Тибета.

Теперь о «Старой леди». С точки зрения самого Соловьёва, разоблачение «феноменов» равнозначно было признанию Блаватской мошенницей, а теософии – шарлатанством. «Всё дело, – писал он, – именно в феноменах. С их помощью Е.П. Блаватская создала своё Теософское общество, в их всеоружии она явилась в 1884 году в Европу для насаждения своего учения, ими она сделала себе рекламу и собрала вокруг себя людей...» Для автора «Современной жрицы...» «феномены» вообще превратились в какой-то «бзик»; придя к Блаватской с «великим душевным запросом», он каким-то странным образом целиком и полностью ушёл в выяснение природы всех этих звоночков, «дуновений», записочек и прочее. По словам Желиховской, сестра её постоянно жаловалась: «Просто не знаю, что делать с Соловьёвым» – писатель не давал ей покоя, «умоляя научить его феноменам». Когда же оказалось, что учиться здесь нечему – за исключением некоторых, чисто технических приёмов, – Соловьёв впал в ярость и «отряс прах».

Всё это проблемы Всеволода Сергеевича, которому, очевидно, на роду было написано искать себе место на жизненном пиру и так и не обрести его. Поразительно то, что многие правоверные последователи Блаватской, судя по всему, искренне разделяют позицию своего «Яго» – либо «феномены», либо ничто. Но уж им-то, казалось бы, хорошо известно, насколько вторичны все эти манипуляции Блаватской, автора «Разоблачённой Исиды» и «Тайной доктрины», человека, который впервые, по существу, устроил встречу западного общества с восточной эзотерикой – встречу, плоды которой мы пожинаем до сих пор... У нас нет возможности в этом очерке коснуться, хотя бы в общих чертах, учения Блаватской, которое вызывало и вызывает самое различное, как правило, диаметрально противоположное отношение. Теософское общество, во всяком случае, давно приобрело всемирный характер и объе-

диняет в своих рядах около ста тысяч человек; убеждённых противников у теософии, я думаю, не меньше... И то и другое в равной степени свидетельствует о жизненной силе дела, начатого Блаватской, как к нему ни относиться. Над книгами Блаватской, написанными с тем своеобразием, которое вообще отличало эту женщину, читатели сидят годами – и меняются в своём отношении к миру, становятся другими. Какие уж тут колокольчики...

Соловьёв не собирался тратить годы на изучение теософии – с «Разоблачённой Исидой» он был знаком и как-то обмолвился вещью фразой, зафиксированной Желиховской, что это и есть самый удивительный «феномен» Блаватской. В «Современной жрице», однако, он берёт свои слова назад, заявляя, что книга Блаватской – «это огромный мешок, в который без разбору и системы свалены самые разнообразные вещи». Соловьёв признаёт, что «есть в ней, бесспорно, интересное и серьёзное», но, как выясняется, он, мистик и эрудит, ничего нового для себя в этой книге не обнаружил. С таким же высокомерным презрением он оценивает и те «уроки оккультизма», которые пыталась давать ему Блаватская, стремясь привязать к себе «любителя феноменов» – создательница теософии, как выяснилось, «просто не могла сказать мне что-либо новое... и я уносил нетронутую мою записную книжку». «Я, – пишет Соловьёв тут же, – ждал обещанных феноменов». Ну что ж, каждому своё...

Представляется, что взаимоотношения между Блаватской и Соловьёвым во многом определялись той проблемой, которая вообще постоянно должна была тревожить «Старую леди», – проблемой передачи своих знаний, проблемой Учительства. Виктория Кравченко, автор одного из немногих по-настоящему оригинальных и интересных русских исследований по истории мистицизма, совершенно справедливо отмечает глубинную разницу в решении этой проблемы на Западе и на Востоке. В Европе даже мистическая традиция опиралась на логику, на «систему собственно не передачи, а доказывания знаний», на «сугубо интеллектуальное развитие учеников». На Востоке же «передача знания – непосредственный жизнен-

ный акт, вложенный в налаженную, многолетнюю систему постоянного общения учителя и ученика. Она не вербальна, а интимно-сообщительна». Добавим, что «Восток» здесь вполне собирательное понятие, включающее в себя «всё, что не Европа». Вспомним очень «западного» дона Хуана и его откровенно издевательское отношение к попыткам некоего Кастанеды превратить Учение в сбор информации по интересующим учащегося вопросам.

Блаватская, пишет Кравченко, вполне «уловила сущность восточной (точнее, индийской) «тропы ученичества». Она, очевидно, чуть ли не первой в Европе попыталась учить не только через тексты, обращаясь не только к интеллекту. В этом плане её «феномены» представляют собой попытку – и, что греха таить, на мой взгляд, мягко говоря, неудачную – «развернуть сознание» ученика в нужном направлении, заставить его иначе воспринимать действительность, ждать от неё гораздо больше, чем она даёт обычно. И опять вспоминается дон Хуан с его чудесами, настоянными на наркотической мякоти кактусов...

О степени необходимости и допустимости подобных «педагогических» приёмов мы сейчас говорить не будем – особая тема... Отметим лишь, что, признаваясь Соловьёву в «ручном» производстве «феноменов», Блаватская даже в его передаче ни единым словом не дезавуировала своё Учение, не ставила под сомнение его истинность – она лишь говорила о тех неизмеримых трудностях, с которыми приходится сталкиваться, внушая эти истины непосвящённым. И уж в этом-то она конечно была права. Живой пример тому являл сам её собеседник, не желавший вникать в сущность Учения, а жаждавший «феноменов» – того, что в любом случае было вторично по отношению к этой сущности.

...В объёмном сочинении Соловьёва есть несколько совершенно поразительных страниц, которые показывают, что он иногда умел-таки услышать и запомнить то, что действительно делало Блаватскую тем, кем она являлась на самом деле – провозвестницей нового, жизненно сильного Учения. «И вдруг она затихла, преобразилась, отошла от своей зло-

бы дня, очутилась в иных сферах. И из этих сфер послышался вдохновенный голос. «...Махатмы говорят, что так же невозможно открыть новую истину, как и создать атом материи или силы. Истина есть то, что существует извека, – всё, что не вечно, то ложно...» И дальше следует очень не банальный, особенно по тем временам, текст, а затем суждение Соловьёва, в высшей степени для него характерное. «Подобные мысли, во всяком случае интересные, а иной раз и весьма глубокие, высказывались Еленой Петровной с необыкновенной простотой и ясностью, составлявшими несомненный признак истинной талантливости и, конечно, были главнейшим магнитом, меня к ней притягивавшим. Иной раз, и притом совершенно неожиданно, она превращалась в настоящую вдохновенную проповедницу, вся преображалась и заставляла забывать, что ведь, однако, она не что иное, как самая беззащитная **обманщица** (выделено мною. – А.Л.), которую надо только окончательно, осязательно для всех разоблачить...»

По-моему, Соловьёв весь тут: он слышит «настоящую вдохновенную проповедницу», ощущает подлинную глубину её мысли, притягивающую его «как магнит», и тут же словно спохватывается: да что это я, она же мошенница – колокольчик-то приводится в действие вручную... Он присутствует при подлинном феномене – Блаватская излагает новое понимание жизни; а его, в конечном итоге, волнует лишь одно – может её Учитель переместить в пространстве клочок бумаги или нет... Его позиция как нельзя лучше объясняет, почему Блаватская для пропаганды своего подлинно феноменального учения прибегала к помощи «феноменов» весьма сомнительного свойства.

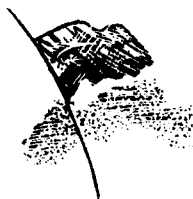
Повторюсь, что мне кажется ущербным стремление теософских авторов превратить Елену Петровну в некую праведницу с сияющим нимбом вокруг главы. Грехов у неё, наверное, было немало; о многих из них она сама писала Соловьёву в письме, поразительном и по откровенности, и по внутренней силе убеждения в своей конечной правоте, – он цитирует это письмо, рассказывая об окончательном разрыве отношений со «Старой леди». Там она, в частности, сравни-

вает себя с затравленным собаками кабаном, а Соловьёва с «дружелюбным по виду зверем», совершенно неожиданно напавшим со спины.

На том они и расстались — и пошли дальше, каждый своим путем. Блаватская умерла в 1891 году в Лондоне; несмотря на разнообразные тяжелые болезни, она до последних дней продолжала работать во имя своего Учения, делая всё возможное для укрепления Теософского общества. Последователи Блаватской похоронили её за городом на сельском кладбище посреди удивительных, возможных только в Англии зелёных полей и фруктовых садов. Для них, по словам автора одного из некрологов, «она по-прежнему оставалась живой», и поэтому особой скорби на её похоронах не выражалось.

Не было этого, очевидно, и на похоронах Всеволода Соловьёва, дожившего до начала двадцатого века, но по другой причине — о нём забыли... Сам Соловьёв отлично сознавал, что это так, — и мучился этим сознанием. «Нет, нет, я ещё жив, но я умер» — эту печальную фразу за несколько лет до его кончины слышал от Всеволода Сергеевича один из редких его собеседников. Впрочем, в некрологах так же, как и в предельно сжатых энциклопедических статьях, об этом писателе поминалось, как правило, что в свое время он «был весьма популярен среди невзыскательных читателей»...

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬ



ВОСПИТАНИЕ НАСЛЕДНИКА*

Рождение внука

12 декабря 1777 года в Петербурге широко и пышно праздновали рождение великого князя Александра Павловича. Самым счастливым человеком на этом блестящем празднестве была, без сомнения, бабушка новорожденного, императрица Екатерина.

У государыни были свои веские причины для радости. Дело в том, что со своим сыном Павлом она не ладила. Родила его Екатерина тогда, когда ей самой жилось совсем несладко. В 1744 году она, пятнадцатилетняя дочка захудалого немецкого князька, была выписана в Россию тогдашней императрицей Елизаветой Петровной, желавшей выдать ее замуж за своего племянника и наследника Петра Федоровича. Этот брак оказался несчастливym. Умная, изящная, хорошо образованная, Екатерина оказалась не в силах найти общий язык с вздорным, упрямым и туповатым мужем.

Мелочная опека со стороны царственной тетки, женщины незлой, но взбалмошной, еще больше усложняла отношения между супругами. К 1754 году, когда у них родился сын Павел, отношения эти стали уже совершенно нестерпимыми. К тому же Елизавета отняла новорожденного у матери, поручив его воспитание невежественным нянькам.

После смерти Елизаветы в конце 1761 года Петр III взошел на трон. А еще через полгода он был свергнут с престола своей женой, а затем убит ее сторонниками. Как стало ясно впоследствии, эти трагические события произве-

* Этот очерк и два последующих опубликованны в моей «Книге для чтения по истории России XIX века». М., 2003.

ли самое сильное впечатление на маленького Павла. Павел готов был обожествить отца за мученическую кончину, мать же мальчик возненавидел. Тем более что Екатерина, сильно переживавшая раньше свою оторванность от сына, теперь, когда появилась возможность взять его воспитание в свои руки, казалось, махнула на ребенка рукой. Большая государственная политика, придворная жизнь, любовные похождения – все это целиком захватило молодую императрицу.

Когда же Павел вырос, стал юношей, а затем мужчиной, Екатерине оставалось только ужасаться и негодовать, глядя на своего отпрыска. Павел все больше напоминал ей ненавистного мужа своим упрямством и вздорностью. Все дела Екатерины он встречал в штыки, почти не скрывал своей неприязни к близким ей людям. Он ненавидел мать и боялся ее; императрица, в свою очередь, обращалась с сыном презрительно и высокомерно.

Очевидно, что сын стал главной неудачей в жизни этой женщины, которая почти всегда добивалась того, чего хотела. Тем больше надежд возлагала Екатерина теперь на внука-первенца. Она сразу же поставила перед собой задачу воспитать мальчика идеальным человеком и, более того, идеальным государем.

Это стремление было порождено не только страшным разочарованием в неудавшемся сыне-наследнике, оно опиралось на высокую философию Просвещения, выраженную в трудах европейских ученых-просветителей, поклонницей которых Екатерина стала еще в молодости. Взойдя на престол, она продолжала усердно изучать произведения Монтескье и Беккариа, завязала переписку с Вольтером и бароном Гриммом, вела в Эрмитаже душевные беседы с Дени Дидро, издателем знаменитой просветительской энциклопедии, приехавшим в Россию по приглашению самой Екатерины. Идеями просветителей она вдохновлялась и при воспитании любимого внука.

На первом плане в системе взглядов просветителей был человек. Ведь последовательное развитие нации, разум-

ный государственный строй и правильная организация хозяйства – все это становилось возможным лишь при одном условии: если каждый человек в отдельности и все человечество в целом будут становиться все просвещеннее, а следовательно, разумнее, честнее, справедливее... Для просветителей – недаром они назывались именно так – неразрывная взаимосвязь между просвещением и прогрессивным развитием человечества казалась само собой разумеющейся.

Естественно, проблемы становления человеческой личности всегда занимали просветителей. Один из самых знаменитых трудов, созданных Жан-Жаком Руссо в русле просветительской философии, так и назывался: «Эмиль, или О воспитании». Им зачитывалось все образованное европейское общество. По современным понятиям этот трактат, так же как и многие другие сочинения просветителей на темы воспитания, представляется несколько наивным. Ребенок рассматривался здесь как чистый лист бумаги, на котором опытная рука может написать то, что считает нужным.

Воспитателю необходимы лишь знания, разумный план занятий и твердая воля. При соблюдении этих условий ребенок с железной неизбежностью должен был стать близким к идеалу человеком. Его черты характера, врожденные недостатки, влияние окружающей обстановки – все это отступало на задний план перед напором педагога, вооруженного идеями философии Просвещения.

Подобные взгляды вдохновляли Екатерину на педагогический подвиг. Сына она упустила: из Павла получился человек, не способный разумно жить и тем более управлять государством.

Воспитание внука позволяло взять реванш за неудачу с сыном. Именно поэтому появление на свет «господина Александра», как называла внука в своей переписке Екатерина, вызвало у царственной бабушки такой восторг. Она не могла нарадоваться на новорожденного: «божественный младенец», «у него преумные глаза», «он прекрасен, как ангел» – подобные похвалы внуку императрица щедрой

рукой рассыпала в своих письмах к барону Гримму. Как считала Екатерина, природа предоставила ей великолепный материал для педагогического эксперимента; остальное должна была довершить «опытность» мудрой бабушки. «Я сделаю из него чудесного мальчугана», – писала царица Гримму.

Бабушкина радость

Воспитание малыша Екатерина взяла в свои руки сразу и безоговорочно, теперь этому не могли помешать никакие государственные дела. Прежде всего она изолировала ребенка от родителей – Павла и его супруги, Марии Федоровны, об уме и способностях которых царица была самого невысокого мнения. Матери только показали новорожденного издали, после чего Екатерина унесла его в свои покои. В этом случае царица поступила с матерью Александра так же безжалостно, как в свое время поступили с ней. Однако все дальнейшее было в ее пользу.

В самом деле, Елизавета Петровна, действуя по-домостроевски, по сути дела, изолировала Павла от окружающего мира, искалечила его нравственно. Своими «педагогическими» приемами она очень способствовала тому, что из Павла вырос неуравновешенный, болезненный, издерганный, совершенно не владевший собой человек, который позже, став императором, так поражал и ужасал окружающих.

Безобразия начались здесь с самой колыбели – в буквальном смысле этого слова, потому что колыбель эта была обита... мехом чернобурых лисиц. Накрывали ребенка стеганым ватным одеялом; в детской было невероятно душно и жарко. Екатерина в своих «Записках» вспоминала о том, как сама видела сына «таким образом уложенным; пот выступал у него на лице и по всему телу, вследствие чего, когда он несколько подрос, то малейшее дуновение воздуха причиняло ему простуду...».

Подобные заботы во вред ребенку стали вообще определяющими в воспитании Павла. Ему не давали самостоятельно и шагу ступить – сама Елизавета прибегала на каждый крик – и довели до истерик, до того, что у мальчика начались нервные припадки, и «он прятался под стол, когда сильно хлопнут дверью». Малыша постоянно перекармливали жирным и сладким, результатом чего стало хроническое расстройство пищеварения.

Воспитание «господина Александра» было поставлено совершенно иначе – в полном соответствии с рекомендациями просветительской педагогики. Прежде всего Екатерина позаботилась о физическом здоровье новорожденного. С ужасом вспоминая «бестолковых старушек», загубивших здоровье ее сына, императрица сумела найти для внука воспитательницу и гувернантку, сознательно разделявшую ее взгляды на воспитание и, самое главное, сумевшую провести их в жизнь. Прасковью Ивановну Гесслер, англичанку по рождению, современники единодушно признавали «женщиной редких достоинств», считая, что именно от нее Александр «приобрел любовь к простоте, порядку и опрятности».

В самом деле, быт новорожденного был обустроен очень толково – даже и на нынешний день вполне соответствовал бы понятию о здоровом образе жизни. Вместо душной колыбели – железная кроватка с гигиеническим кожаным тюфячком. В комнате горело не больше двух свечей, чтобы воздух всегда оставался чистым. К тому же «господин Александр» спал всегда с открытыми окнами и ежедневно принимал холодную ванну.

Как только маленький князь подрос и встал на ноги, в строгий распорядок дня вошли пешие прогулки на свежем воздухе и разнообразные физические упражнения. Естественно, что Александр никогда не простужался. Мальчика приучали работать в саду, сеять горох и сажать деревья, его учили править лодкой, ловить рыбу... Мальчик был крепок, здоров и бодр.

Правильное физическое развитие занимало важное ме-

сто в программе воспитания «идеального человека». Но, развивая и укрепляя тело мальчика, Екатерина все же прежде всего думала о его духовном росте. Она мечтала, что придет время, когда ее любимец поразит весь мир «величием души»... А для этого он должен был составить правильное представление об окружающем мире и о своем месте в нем. В своей переписке Екатерина очень четко формулировала, что, с ее точки зрения, стоит на первом плане в нелегком деле духовного становления «господина Александра»: «...знание людей и жизни, благоволение к роду человеческому, снисхождение к ближнему, познание вещей, как они должны быть и какие они есть на самом деле».

Поначалу эту сторону дела Екатерина почти полностью взяла на себя. Невзирая на всю свою занятость, она посвящала внуку массу времени. Она сочиняла для мальчика нравоучительные сказки, написала для него «Историю России». А «Бабушкина азбука» соединяла обучение грамоте с назиданием и нравоучением: каждая буква в ней сопровождалась соответствующим изречением, которое должно было наставлять ребенка на путь истинный. Эта азбука, писала Екатерина Гримму, «постоит за себя»: «Все видевшие ее отзываются о ней очень хорошо и прибавляют, что это полезно не для одних детей, но и для взрослых. Сначала ему говорится без обиняков, что он малютка, родился на свет голый, как ладонь, что все так рождаются, но потом познание и образование производят между людьми бесконечное различие, и затем, нанизывая одно правило за другим как бисер, мы переходим от предмета к предмету. У меня только две цели впереди: одна — раскрыть его ум для внешних впечатлений, другая — возвысить его душу».

Воспитание шло успешно: бабушка не могла нарадоваться на внука. Действительно, судя по письмам Екатерины, маленький князь поражал своими способностями. Александру шел только четвертый год, а он уже «складывает из букв слова, он рисует, пишет...». В тот же год Екатерина занялась с внуком арифметикой, а затем и географией по настоянию маленького Александра, пожелавше-

го узнать все, что возможно, о «фигуре земли». Из библиотеки Эрмитажа принесли глобус, и мальчик, по словам бабушки, тут же «принялся отчаянно путешествовать по земному шару».

В четыре года Александр уже неплохо знал основные европейские языки: «Он очень хорошо понимает по-немецки, знает порядочно по-французски и по-английски». Для самой Екатерины большую прелесть в этих занятиях составляла добрая воля и душевная открытость мальчика. Она постоянно отмечает в своих письмах к Гримму, что Александра «ни к чему не принуждают», «он делает что хочет; ему только не позволяют вредить себе и другим». Мальчик учился с таким поразительным успехом прежде всего потому, что хотел учиться: окружающий мир был ему интересен. «Я еще не видела мальчугана, – писала Екатерина, – который был бы так любопытен, жаден до знаний, как этот... Если ему начнут рассказывать, он весь – слух и внимание. У него прекрасная память, и его не проведешь».

Появление Лагарпа

Первые, младенческие, годы пролетели быстро. Вскоре пришла пора, когда Александра нужно было «отцепить от бабушкиного подола». Когда мальчику минуло пять лет, Екатерина стала подыскивать ему учителей, которые могли бы достойно продолжить дело воспитания и образования великого князя. И вот тут-то и начались проблемы, которые так осложнили впоследствии и жизнь и правление Александра.

Дело в том, что увлечение Екатерины философией Просвещения носило достаточно внешний характер и выразилось в значительной степени в словах: в письмах и задушевных беседах с французскими просветителями. Обратной же стороной этих слов были дела – реальная политика Екатерины, весьма жесткая, а нередко и просто беспощадная по отношению к основной массе населения

России. С одной стороны, царица стремилась предельно укрепить свою личную власть и власть представлявших ее интересы чиновников: система управления страной была заметно усовершенствована, но приобрела при этом деспотический характер, может быть, в большей степени, чем при предшественниках Екатерины. С другой стороны, императрица поставила крестьян в полную зависимость от помещиков, в которых она видела опору самодержавия.

В царствование Екатерины в России был наведен порядок, которого так не хватало раньше. Но это был совсем не тот порядок, к которому призывали любимые Екатериной просветители, — основанный на законности, соблюдении интересов всех слоев населения и взаимовыгодном сотрудничестве их друг с другом. Нет, это был жесткий самодержавно-крепостнический порядок, в основе которого лежало беспощадное угнетение народных масс. Всю выгоду от этого устройства получали чиновник и помещик, ставшие основными определяющими фигурами русской жизни.

Вольтеру, барону Гримму и другим зарубежным поклонникам просвещенной императрицы трудно было разобратся в неинтересной для них российской действительности. Они верили Екатерине на слово.

Но русские поклонники Просвещения — по крайней мере, те, для кого эта философия не ограничивалась красивыми словами, — все яснее видели, насколько далека реальная политика императрицы от ее сладких речей о стремлении к «блаженству подданных». Эти люди, немногочисленные, но сильные своей искренностью и убежденностью, все резче критиковали Екатерину. Но просвещенная царица не терпела критики, особенно от «своих». Она начинала гневаться, и в конце концов гнев ее находил выход в репрессиях против наиболее смелых и принципиальных сторонников истинного Просвещения. В результате Н. И. Новиков попал в тюремное заключение; А. Н. Радищев отправился в Сибирь, в ссылку...

В начале 1780-х годов до подобных репрессий дело еще

не доходило. Но уже тогда было совершенно очевидно, что царица не любит и боится тех, кто желает ослабления государственного гнета и смягчения крепостного права. Между тем именно среди этих людей, так горячо мечтавших о переменах к лучшему, отличавшихся умом, образованностью и порядочностью, стоило, наверное, искать учителей для великого князя, которого Екатерина прочила в «идеальные государи».

Однако царица предпочитала им придворных льстецов или исполнительных военных. Главными воспитателями князя стали генерал-адъютант Салтыков и генерал Протасов, которые думали только о том, как угодить государыне. Учителя же были разные, но, судя по всему, мало кто из них умел увлечь великого князя, дать ему что-то большее, чем груду разнообразных сведений по своему предмету. Самой характерной фигурой в этом отношении был, очевидно, протоиерей Андрей Самборский, который преподавал Александру Закон Божий, приобщая мальчика к православной вере. Главное достоинство Самборского, с точки зрения Екатерины, было в том, что он, как и сама царица, верил в Бога «по-европейски», «без излишеств и суеверий». Наставление им маленького князя в вере носило совершенно формальный характер. Протоиерей сам был холоден к религии и ученика своего оставил равнодушным к ней.

Так же формально происходило и большинство других занятий. Русский язык ему преподавал известный тогда писатель М. Н. Муравьев, а географию — знаменитый ученый и путешественник П. С. Паллас. Преподавали они, наверное, неплохо. Но ведь для воспитания идеального человека и учителя должны были быть особые, близкие к идеалу. Ни Муравьев, ни Паллас таковыми не являлись: учили «от сих до сих», за рамки вверенных им предметов не выходили и не могли оказать сколько-нибудь заметное влияние на духовный рост великого князя, на становление его личности.

Таким образом, хорошее начало грозило остаться без

продолжения. Те лучшие черты великого князя, которые так ярко проявились в первые годы его жизни, могли стусеваться, уйти на задний план, не получив поддержки извне. Но вот тут как раз рядом с Александром и появился человек, который сыграл определяющую роль в его воспитании.

Фредерик Сезар де Лагарп, швейцарский гражданин, воспитанный на идеях Просвещения, получивший образование и звание доктора права в Женевском университете, попал в Россию по воле случая. Ему довелось сопровождать в поездке по Италии младших братьев тогдашнего фаворита Екатерины Ланского. Сам Ланской был человеком во многих отношениях незаурядным, но братья не были похожи на него: по общим отзывам, их отличали, во-первых, наглость, во-вторых, глупость.

Тем не менее Лагарпу, опекавшему молодых шалопаев, удалось справиться со своей нелегкой задачей с блеском. Письмо, в котором он с большим умом и тактом описывал итальянскую поездку и высказывал некоторые педагогические соображения, произвело самое сильное впечатление на Ланского, поспешившего поделиться им с императрицей. Екатерина, которая как раз подыскивала внуку преподавателя французского языка, заинтересовалась Лагарпом и пригласила его в Россию.

Так в 1784 году Фредерик Лагарп вошел в штат преподавателей великого князя. Прошло совсем немного времени, и он стал тем самым единственным Учителем, которого так не хватало Александру. У Лагарпа были достаточно простые и четкие идеалы, воспринятые из философии Просвещения. В соответствии с ними он искренне почитал знания и презирал невежество, ценил в себе самом и в окружающих чувство собственного достоинства и терпимость, с отвращением относился к тем, кто угодничал перед высшими и угнетал слабых. Превыше всего он ставил свободу личности и ненавидел деспотизм. На этой почве у Лагарпа уже в Швейцарии стали возникать конфликты с властями, и он всерьез собирался уехать в Америку, что-

бы участвовать там в создании идеального общества, не знающего принуждения.

Тут перед нами с очевидной неизбежностью встают некоторые вопросы. И первый из них: как человек с подобными взглядами мог рискнуть отправиться в Россию, по сравнению с которой Швейцария была образцом законности и демократии? Ответ на него более или менее ясен: Лагарпа привлекли именно сложность ситуации и значительность вставшей перед ним задачи. Так же как и сама Екатерина, он увлекся идеей воспитать «идеального человека и государя», который должен был стать повелителем многомиллионной страны. Передать ему свои возвышенные идеи, направить его на решение насущных задач, вооружить необходимыми знаниями и тем самым осчастливить несчастную отсталую страну – подобное предприятие как нельзя лучше отвечало духу философии Просвещения и не могло не воодушевить ее искреннего и горячего поклонника.

При подобном подходе к делу Лагарп никак не мог смириться со скромной ролью преподавателя французского языка при Александре. Тем более что учитель и ученик почти сразу прониклись глубокой симпатией друг к другу. Лагарп, оказавшийся прекрасным педагогом, сумел найти средство, чтобы увлечь Александра занятиями французским языком. А главное, он с самого начала произвел на мальчика самое сильное впечатление своими личными достоинствами, которых так не хватало другим учителям: искренностью, душевной теплотой и благородством своих взглядов. Достаточно сказать, что Александр поначалу занимался с Лагарпом один раз в неделю, затем каждый день и в конце концов потребовал, чтобы ему позволили встречаться с любимым преподавателем дважды в день.

Сознание своих успехов воодушевило Лагарпа на рискованный шаг: в том же 1784 году, через несколько месяцев после своего приезда в Россию, он пишет императрице письмо. В нем он, во-первых, настаивает на том, чтобы его сделали главным воспитателем великого князя, а во-

вторых, смело излагает свою программу воспитания. Смело, потому что это была удивительная программа... Оказывается, Лагарп собирался привить своему ученику ненависть к деспотизму, к насилию над своими подданными, к неравенству между ними, то есть ко всему тому, что составляло сущность русской жизни. По мнению Лагарпа, идеальный правитель, которого он собирался воспитать из Александра, взойдя на престол, будет стремиться к торжеству законности и справедливости, к «служению народу» – вот во имя чего он будет царствовать.

И здесь возникает второй вопрос: почему, прочтя это сочинение, Екатерина не только не выслала Лагарпа из России, но и выказала ему свое благоволение, написав на полях записки: «Тот, кто это сочинил, способен преподавать не только французский язык». И действительно, вскоре Лагарпу было поручено руководить всеми учебными занятиями Александра, за генералами остался только общий надзор за распорядком дня и здоровьем великого князя. После этого влияние Лагарпа на Александра стало определяющим.

Объяснение здесь может быть только одно, и искать его приходится все в той же двойственности, которая определяла правление Екатерины. То, что писал в своем письме Лагарп, в корне расходилось с реальной политикой императрицы, направленной на усиление самодержавия и крепостного права. Зато она почти полностью соответствовала ее излюбленным речам о «блаженстве подданных» и о своих неустанных заботах по его обеспечению. Многие понятия Лагарп почерпнул из тех же сочинений идеологов Просвещения, которые так любила цитировать сама царица. Общие фразы о всеобщем благе ее не пугали, а даже доставляли ей удовольствие. Судя по всему, она была искренне уверена, что слова делу не помеха...

Теперь Александр проводил с Лагарпом почти все время, свободное от других занятий. Уроки французского, по мере того как великий князь постигал этот язык, все в большей степени превращались в уроки философии, истории,

политэкономии, на которых Лагарп внушал Александру свои возвышенные идеи. А кроме того, были постоянные совместные прогулки, сопровождающиеся задушевными беседами об окружающем мире и о том, какое место должен занять в нем подрастающий великий князь... О конкретном содержании этих бесед можно только догадываться. Но, зная принципиальность Лагарпа, надо думать, что свои взгляды он высказывал последовательно и четко. Александр же, преклонявшийся перед своим наставником, должен был воспринимать эти взгляды не за страх, а за совесть. Недаром окружающие заметили, что великий князь начинает смотреть на все глазами Лагарпа. Однажды Александр при свидетелях бросился обнимать своего учителя и был осыпан пудрой с его парика. В ответ же на замечание учителя: «Посмотрите, на что вы стали похожи» — мальчик воскликнул: «Все равно ничто дурное от вас ко мне не пристанет — только хорошее». Эта шутка звучала не по-детски серьезно; доверие, которое испытывал в это время Александр к Лагарпу, было поистине безгранично.

Но, с другой стороны, беседы с Лагарпом приводили мальчика к разладу с действительностью. Пусть его мир был пока что ограничен Зимним дворцом, придворным окружением императрицы, ее сановниками и фаворитами, и все же Александр, от природы наделенный душевной чуткостью, не мог не видеть, как расходятся возвышенные принципы, которые внушал ему Лагарп, с реальной русской жизнью.

Лагарп говорил ему о необходимости управлять мудро, опираясь на справедливое и разумное законодательство, а в России все решала воля чиновника или прихоть помещика. Лагарп говорил об ответственности тех, что стоят во главе государства, перед своим народом, а стареющая императрица окружала себя наглыми фаворитами и хитрыми сановниками-казнокрадами. Лагарп говорил о необходимости просвещения народа и общества, но Александр, подрастая, убеждался в том, что даже при дворе образо-

ванному человеку не с кем словом перемолвиться, а народ в России поголовно безграмотен. И в душе Александра просыпалось недоверие, а затем и презрение к тем, кто его окружал, и прежде всего к бабушке...

Плоды просвещения

Екатерина, судя по всему, проглядела эти плоды уроков Лагарпа или не придавала им серьезного значения. Она ведь привыкла не придавать значения высоким словам, искренне считая, что их вполне можно сочетать с низкими делами. К тому же в характере Александра, при всей его привлекательности, очень рано стала проявляться черта, которая могла ввести его бабушку – и не только ее – в заблуждение. Великий князь с малых лет стремился не огорчать тех, от кого зависел, умело скрывая свое истинное отношение к ним. В детские годы это относилось прежде всего к бабушке, позже – к отцу.

Павел в это время, как правило, пребывал в Гатчине, под Петербургом. Он жил там со своей женой и небольшим двором подчеркнуто скромно, почти аскетично. Большую часть времени Павел посвящал тому, что муштровал свою личную гвардию – «гатчинцев». И трудно было себе представить более резкий контраст, чем тот, который существовал между Гатчиной и Зимним дворцом, где стареющая Екатерина во главе своего окружения проводила время во всевозможных развлечениях, пышных балах и изысканных беседах.

Между тем юный Александр прекрасно уживался и здесь и там. В Зимнем он усердно и искусно демонстрировал свое преклонение перед бабушкой, на лету подхватывая каждое ее слово и беспрекословно исполняя каждую ее прихоть. Неудивительно, что Екатерина по-прежнему не могла нарадоваться на своего любимца и с доверием относилась к его наставнику.

В Гатчине же, где Александру приходилось бывать по

необходимости, он подлаживался к отцу не менее усердно и искусно. Александр с видимой охотой принимал участие в строевых учениях и муштровал солдат, приговаривая при каждом удобном случае: «Это по-нашему, по-гатчински». Правда, здесь он преуспел гораздо меньше, чем в Зимнем: свою неприязнь к матери Павел в полной мере переносил на ее любимца – Александру он явно не доверял. Лагарпа же Павел просто ненавидел, видя в нем живое воплощение либеральных идей, которые всегда вызывали в нем отвращение. Однако пока была жива царица, мнение ее вздорного сына никого особенно не интересовало.

Положение стало меняться с 1789 года, когда во Франции грянула Великая революция. По мере того как она быстро и бурно развивалась, Екатерина приходила все в больший ужас. Может быть, впервые императрица начала осознавать, к каким результатам приводят восхищавшие ее прежде слова; ей все ясней становилось, что французских революционеров вдохновляют идеи ее друзей-просветителей. Оказывалось, что за блеском красивых и умных фраз скрывались ужасы якобинского террора...

Екатерина прежде всего отправила в ссылку бюст Вольтера, самого почитаемого ею философа, велев вынести его из своих покоев на чердак. Узнав о казни французского короля Людовика XVI, Екатерина буквально заболела от ужаса и негодования, а затем прервала дипломатические отношения с государством якобинцев, введя Россию в состав антифранцузской коалиции. Пышно и с подчеркнутым почетом она принимала в Петербурге французских аристократов-эмигрантов, бежавших от ужасов террора.

В этих обстоятельствах положение Лагарпа становилось все более затруднительным. По его поводу начинают злословить придворные; открыто свою ненависть к нему выражают эмигранты, покровительствуемые Екатериной; Павел перед своим сыном оскорбляет его любимого учителя, называя Лагарпа «грязным якобинцем». Правда, сама

Екатерина, демонстрируя свою терпимость, продолжала оказывать покровительство швейцарцу. «Будьте якобинцем, республиканцем, всем, кем хотите, – сказала как-то императрица Лагарпу. – Я вижу, что вы честный человек, и этого мне достаточно».

И все же, хотя Лагарп пробыл в России еще несколько лет, его влияние на Александра все более ограничивалось, уроки проводились все реже. Отчасти это было вызвано еще и тем, что мальчик быстро вырослел и у него появились совершенно новые интересы. В 1793 году бабушка решила женить шестнадцатилетнего внука, подыскав ему суженую в одном из небольших немецких княжеств, которые постоянно были чем-то вроде заповедника невест для великих русских князей. После этого встречи Александра с Лагарпом почти совсем сошли на нет.

В конце 1794 года Екатерина официально сообщила Лагарпу, что он должен завершить свои занятия с Александром и покинуть Россию. Прощание было нелегким и для учителя, и для ученика. Накануне отъезда Лагарпа Александр написал ему искреннее и трогательное письмо, из которого ясно следовало, что, несмотря на внешнее отдаление от своего наставника, он по-прежнему обожал его.

«Помните, – писал Александр, в частности, – что вы оставляете здесь человека, который вам предан, который не в состоянии выразить вам свою признательность, который обязан вам всем, кроме рождения... Будьте счастливы, любезный друг, это – желание любящего вас и почитающего превыше всего. Я едва вижу, что пишу».

Будущее показало, что все это были не пустые слова. Любимый наставник уехал, и Александра, казалось, полностью захватили суэта придворной жизни, хлопоты и радости жизни семейной... Он по-прежнему лавировал между любящей бабушкой и своенравным отцом, по-прежнему был ровен и приветлив с окружающими его царедворцами и сановниками. И лишь по некоторым эпизодам жизни Александра мы можем судить, насколько глубоко в его душу запали уроки Лагарпа.

Особенно показательны в этом отношении несколько страниц из мемуаров Адама Чарторыйского. Этот представитель древнего и знатного польско-литовского рода находился в Петербурге на положении заложника из-за своего отца, пытавшегося во время разделов Польши бороться с Россией. Впрочем, если это и можно было назвать пленом, то весьма почетным: Чарторыйский жил без всякого надзора, более того, был принят при дворе, что, впрочем, совсем не радовало молодого человека. Держался он замкнуто, ни с кем не сближался, чувствуя себя совсем чужим в стране, лишившей независимости его родину. С молодым великим князем он тоже держался предельно сдержанно и отчужденно.

Однако эта сдержанность не обманула Александра. Чарторыйский получил схожее с ним воспитание и тоже был одушевлен идеями Просвещения, хотя никоим образом этого не афишировал. Но совершенно очевидно, что Александр почуял в гордом поляке родственную душу — по манере держаться, по отдельным репликам и беглым замечаниям. Все дальнейшее свидетельствовало о том, до какой степени великий князь истосковался по собеседнику, с которым можно было не таиться, быть искренним, говорить о самом заветном. Выбрав момент, когда они остались наедине, Александр без всякого повода завел с Чарторыйским предельно откровенный разговор, буквально исповедовался перед ним. Оказалось, что великий князь больше всего ненавидит тиранию и обожает свободу, что, если ему когда-нибудь придется взойти на российский престол, он прежде всего благодетельствует своих подданных конституцией, что он, наконец, сочувствует полякам и сделает все, что в его силах, чтобы помочь им восстановить свое уничтоженное государство...

В сущности, молодой князь не сказал ничего особенно умного или замечательного — все это были не более чем общие фразы в духе идей Просвещения. Но Чарторыйского поразили сила и искренность, с которой эти общие фразы были высказаны. По его собственному признанию,

он после этой беседы долго не мог заснуть, размышляя, что будет, если Александр придет к власти в России – в стране с деспотическим строем управления, крепостным правом, с темным, забитым населением.

...Прошло совсем немного времени, и в 1801 году, в самом начале нового века, Александр I взошел на престол. Пришло время реализовать идеи, внушенные Лагарпом. Пришло время облагодетельствовать плодами Просвещения свой народ, о котором Александр не знал почти ничего...

КАРАМЗИН ПРОТИВ СПЕРАНСКОГО

«Прекрасное начало»

Когда Александр I взошел на престол, он был встречен всеобщим восторгом и ликованием. Двор, гвардия, высшие сановники – все, кто окружал его, все, чье настроение могло иметь для него значение, спешили изъявить Александру свою безоговорочную преданность. Казалось, в истории России еще не было царя, которого любили бы так искренне.

Косвенное участие в убийстве отца Александру простили с удивительной легкостью; более того, многие ставили это ему в заслугу. От взбалмошного, гневливого, непредсказуемого Павла устали все; он ужасал свое окружение постоянными дикими выходками. Даже внешность Павла вызывала испуг и раздражение. «Умолк рев Норда сиповатый, закрылся грозный, страшный зрак» – так, с нескрываемым облегчением, писал о смерти царя Г. Р. Державин. И это чувство разделяли многие приближенные убитого самодержца, совсем не жалевшие, что никогда больше не увидят безумных глаз покойного, не услышат его сиплого, надрывного крика.

Александр выглядел полной противоположностью своему отцу. Он располагал к себе при первой же встрече: рыжеватый блондин с хорошей фигурой и приятным лицом, чей взгляд был всегда ласков, а губы постоянно сложены в мягкую полуулыбку – недаром придворные дамы называли его «наш ангел».

Внешности соответствовало и обхождение: в Алексан-

дре было много такта и обаяния. С юных лет он научился прекрасно владеть своими чувствами, умело скрывал недовольство и был приветлив даже с неприятными ему людьми.

Все эти черты обманывали многих, заставляя сначала возлагать на обходительного молодого царя несбыточные надежды, затем горько разочаровываться, упрекая его в коварстве. Прежде всего пострадали в этом отношении заговорщики, убийцы Павла, во главе с графом Паленом. Все они ждали от Александра почетных назначений и богатых пожалований, а Пален уже видел себя всемогущим временщиком при молодом царе, казавшемся ему слабым, «мягким, как воск». Однако не прошло и нескольких недель после переворота, как все заговорщики, и Пален в первую очередь, были высланы из столицы.

Затем пришло время разочаровываться в молодом царе старым екатерининским сановникам, кое-как пережившим бурное царствование ненавидевшего их Павла. Они рассчитывали, что Александр вернется к той консервативной политике, которая отличала Екатерину в последние годы ее правления. Государственная стабильность, основанная на деспотичной власти чиновников и поддержке этой власти помещным дворянством, — таков был идеал большинства екатерининских стариков. И вроде бы сам Александр собственноручно расписался в том, что любую другую систему правления считает невозможной, упомянув в своем манифесте при восшествии на престол, что царствовать будет «по заветам бабки своей, императрицы Екатерины».

Хранители этих заветов Д. П. Трошинский, П. В. Завадовский, Г. Р. Державин получили вскоре важные назначения, а затем начались обиды. Все они стремились реально влиять на государственную политику, а, как выяснилось, Александр совершенно не склонен был допускать это. Он был приветлив, даже сердечен в общении со старыми вельможами, позволял им руководить повседневной, рутинной чиновничьей деятельностью, более того, охотно выслушивал их мнения, предложения, «проекты». Однако на этом все и заканчива-

лось. Среди близких к нему людей царь совершенно откровенно говорил о стариках советниках: «Пусть болтают что хотят, лишь бы не мешали». Немногие духовно близкие Александру люди – П. А. Строганов, В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, Адам Чарторыйский – определяли государственную политику в первые годы его правления. Все они принадлежали к знатным дворянским родам и во многих отношениях были полной противоположностью екатерининским «служильцам» – были молоды, их так и называли: «молодые друзья»; воспитаны на идеях Просвещения; смотрели не назад, в прошлое, а в будущее; мечтали претворить свои идеалы в русскую жизнь. В 1802 году эти молодые аристократы во главе с самим царем составили Негласный комитет. Название вполне соответствовало сути этого необычного органа: его не было в официальной структуре органов управления Российской империи, его члены не значились в штатном расписании и не получали жалованья. Они вместе с Александром составили узкий, интимный дружеский круг; встречаясь почти каждый день в царском кабинете, «молодые друзья» готовили необходимые, с их точки зрения, преобразования. Много лет спустя Адам Чарторыйский писал, вполне справедливо, что все сделанное верховной властью в России в первые годы правления Александра так или иначе обсуждалось в Негласном комитете.

А между тем в эти годы были проведены реформы в различных сферах русской жизни – по самым важным, может быть, направлениям. Во-первых, в 1802 году были учреждены министерства и преобразован Сенат. Благодаря созданию министерств, которые заменили одряхлевшие коллегии, Россия получила хорошо организованные, деятельные органы центрального управления. Между министерствами и губернской администрацией налаживалась тесная взаимосвязь. В результате в России впервые за всю ее историю была создана единая, строго централизованная система управления (так называемая «линейная система»). Сенат в этой системе занял место высшего контрольного органа, следившего за тем, чтобы правящая бю-

рократия не нарушала в своей деятельности законы Российской империи.

Вторым направлением в трудах Негласного комитета стал крестьянский вопрос. Опять-таки впервые в русской истории представители верховной власти, обсуждая этот вопрос, исходили из того, что крепостное право есть зло, что государство, подавляющее большинство населения которого находится в положении, близком к рабству, не заслуживает добрых слов. Правда, в решении этого вопроса «молодые друзья» были настолько осторожны, что результаты их деятельности здесь оказались совсем незначительными. Наиболее важный антикрепостнический указ «О вольных хлебопашцах» 1803 года носил сугубо рекомендательный характер, то есть позволял помещикам освобождать крестьян с землей за выкуп (подавляющее большинство помещиков делать это добровольно совершенно не собиралось). Неудивительно, что этот указ не дал почти никаких результатов. Подобная робость объяснялась, очевидно, нежеланием верховной власти портить отношения с поместным дворянством, наиболее серьезной социальной силой в России.

Третий вопрос касался системы народного образования. В 1803–1804 годах такая система стала создаваться. В сельской местности в церковных приходах планировалось открыть приходские училища для крестьянских детей; в уездных городах – уездные училища, предназначенные для детей местных ремесленников, мелких торговцев и чиновников невысокого ранга. В губернских городах учреждались шестиклассные гимназии, в которых должны были учиться дворянские отпрыски. Из гимназии открывался путь в университет, к высшему образованию. При этом ученик, успешно закончивший приходское училище, мог перейти в уездное училище, а ученик, хорошо закончивший уездное училище, – в гимназию.

Таким образом, было задумано развернуть в России достаточно стройную и охватывающую все основные слои населения систему образования. По крайней мере, так она выглядела на бумаге. На практике же все оказалось значи-

тельно хуже. Вся беда была в том, что на создание училищ низших ступеней отпускалось слишком мало средств. Поэтому если университеты и гимназии благодаря этой реформе стали серьезными явлениями русской жизни, то уездные и особенно приходские училища так и остались в основном в проекте. Другими словами, основная задача, поставленная Негласным комитетом в этой сфере, — дать хотя бы начальное образование основной массе населения России, так и осталась невыполненной.

И все же, при всей скромности и незавершенности реформ, проведенных Александром I и его «молодыми друзьями», они произвели сильное впечатление на русское общество, не привыкшее к подобной деятельности верховной власти. Недаром А. С. Пушкин вспоминал впоследствии это время добрым словом: «...дней Александровых прекрасное начало».

«Ограничить деспотизм»

Но всякое начало, пусть и самое прекрасное, ценно своим продолжением; оно значительно по-настоящему лишь тогда, когда реально открывает путь к серьезным переменам. Иначе ему неизбежно суждено превратиться всего лишь в воспоминание, постепенно слабеющее в памяти современников, не говоря уже о потомках. Между тем первые преобразования Александра такого продолжения не имели: крепостное право они не ослабили; просвещенных или просто грамотных людей в народной среде почти не прибавили...

Наиболее сильное впечатление своей последовательностью производили министерская реформа и указ о правах Сената, но именно они меньше всего были направлены в будущее. В самом деле, в обоих случаях речь шла почти исключительно о совершенствовании привычной для России самодержавно-бюрократической системы управления — той самой, которая создавалась и отлаживалась здесь веками. Александр I дал этой системе то, чего ей так недо-

ставало прежде: он сумел создать хорошо организованные центральные органы управления и наладить их тесную взаимосвязь с местными органами. Новые функции Сената тоже не внесли в систему управления страной ничего принципиально нового: власть всего лишь попыталась обеспечить контроль над бюрократией; создала штат избранных сановников, которые должны были следить за тем, чтобы все остальные чиновники не нарушали законы, не воровали, не брали взятки и т.п.

Александр I, взойдя на престол, любил повторять, что одну из главных своих задач видит в том, чтобы «ограничить деспотизм нашего правительства», чтобы поставить закон выше власти, в том числе и выше ее самодержавного главы, то есть самого себя.

Удалось ли ему достичь этого? Лучший ответ на этот вопрос дает история с ремонстрацией, которая разыгралась в 1802 году, почти сразу после того, как был принят указ о правах Сената.

Дело в том, что этот указ первоначально ставил под контроль Сената не только бюрократов – чиновников разного уровня власти, но и в какой-то степени самого государя императора. Один из пунктов указа предоставлял Сенату право ремонстрации: если сенаторы, ознакомившись с новым императорским указом, замечали, что он противоречит российскому законодательству, не согласуется с действующими законами, то они могли оспорить этот указ – обратить внимание царя на его законодательную оплошность. При этом Александр оставлял за собой возможность настоять на своем: он мог пренебречь сенаторской ремонстрацией, повторить свой указ и тем самым окончательно придать ему силу закона. И все же право ремонстрации вносило в русское законодательство небывалый ранее дух: Сенат превращался в инстанцию, способную обратить внимание царской власти на ее ошибки. Это было ново для самодержавной России и полезно с точки зрения борьбы за законность; теперь можно было хоть в какой-то степени «ограничить деспотизм правительства».

Александр I мог бы гордиться этим указом, которым совершенно добровольно ставил свою власть под контроль закона. Мог бы гордиться... если бы сам соблюдал его. Один-единственный раз сенаторы попытались воспользоваться правом ремонстрации – почти сразу после того, как это право получили. В 1802 году Александр издал указ по инициативе военного министра Вязьмитинова, в соответствии с которым дворяне, служившие в унтер-офицерском звании, могли уходить в отставку, только отслужив 12 лет. С точки зрения царя и военного министра, подобный указ вызывался насущной государственной необходимостью: в армии катастрофически не хватало грамотных унтеров. Дворяне же, как правило, из мелкопоместных, не получившие военного образования, составляли лучшую часть унтер-офицерского состава. Они, по крайней мере, умели читать и писать. Естественно, что правительство стремилось задержать их на службе.

Но этот указ сразу же вызвал волну негодования в дворянской среде, которая захлестнула и Сенат. Сановники-сенаторы, многие из которых представляли собой дворянскую элиту, готовы были постоять за интересы своего сословия, тем более что царь обеспечил им такую возможность. Один из них, польский аристократ граф Северин Потоцкий, предложил своим коллегам немедленно воспользоваться правом ремонстрации. Основание для этого было налицо: новый указ нарушал знаменитый Манифест о вольности дворянской, изданный еще в 1762 году Петром III. Манифест предоставлял дворянам право самим решать, когда, где и сколько лет им служить; в отставку они могли уходить по собственному желанию.

Державин, председательствующий в Сенате, будучи человеком старого склада, испугался предложения Потоцкого. Он воспринял его как начало конца: царская воля оспаривается, наступает хаос и полная погибель! Но, сообщив царю о «беспорядках», Державин получил четкое указание: «Дайте делу законный ход». А что еще мог сказать Александр, узнав, что сенаторы собираются действовать строго в духе свежее испеченного указа о правах Сената?

Вскоре после этого Державин имел сомнительное удовольствие доложить царю о результате сенаторских дебатов: «...Государь, все сенаторы против вас». Сенат принял решение воспользоваться правом ремонстрации во имя соблюдения законности.

Александр с неудовольствием выслушал сенаторов и не дал им никакого ответа. А через несколько дней от царского имени было опубликовано разъяснение, снимавшее все вопросы: оказывается, сенаторы неверно поняли свои права; оказывается, они имели право оспаривать только те указы, которые были изданы до 1801 года, то есть до восшествия на престол Александра Павловича.

Хотите – оспаривайте Манифест о вольности дворянской, приводите его в соответствие с новым указом об обязательной службе; какой еще вывод должны были сделать сенаторы из царского разъяснения? По сути дела, после первого же испытания Александр отрекся от самого главного достижения на пути к законности – он ликвидировал даже то слабое подобие контроля над своей властью, которое устанавливал указ о правах Сената.

У Александра, впрочем, готовы были объяснения: я действую во благо государства, я принимаю нужные и важные законы, а они, сенаторы, ставят мне палки в колеса. Я задумал совершить великие преобразования, я стараюсь сделать страну процветающей, народ счастливым, а они наверняка будут мешать мне и впредь...

Совершенно очевидно, что никто, в том числе и Лагарп, не подготовили молодого царя к тому, что управлять государством по закону гораздо сложнее, чем по собственному произволу. Тут одно из двух: либо ты управляешь по закону, заранее смиряя себя перед ним, сознавая всю сложность подобного правления; либо ты действуешь так, как хочешь, не считаясь ни с чем, кроме собственной воли; но тогда не стоит провозглашать торжество законности и постоянно твердить о своем стремлении ограничить деспотизм!

Двойственность, столь характерная для Александра, метавшегося между высокими абстрактными стремлениями и

реальными проблемами русской жизни, сказалась и на судьбе Негласного комитета. Казалось, члены комитета были близки Александру по убеждениям, хорошо знали, чего хотят, и чувствовали себя не безгласными исполнителями, а советниками и сотрудниками молодого царя. Этих людей волновала прежде всего польза дела, а не мнение государя – явление почти невозможное при обычном, бюрократическом ходе дел. «Молодые друзья» были внутренне свободны; они высказывали свои соображения искренне, даже если эти соображения противоречили мнению Александра.

Судя по всему, именно это обстоятельство, которое должно было радовать свободолюбивого Александра, очень быстро стало утомлять и раздражать его. Когда же царю стало ясно, что некоторые из друзей (Строганов, например) готовы не только оспаривать его точку зрения, но и стремятся навязывать свою – ему, государю! – судьба Негласного комитета была решена. Уже в 1803 году он собирается все реже, затем постепенно его заседания прекращаются вообще. При этом все члены комитета получают почетные назначения: Кочубей становится министром внутренних дел, Строганов – его товарищем (заместителем), Чарторыйский занимает место попечителя своего родного виленского учебного округа, Новосильцев – петербургского округа. Но из всех этих назначений следовало, что «молодые друзья» перестают быть друзьями государя; из сотрудников они превращались в исполнителей его воли, пусть и самого высокого ранга. Казалось, эпоха либеральных мечтаний завершилась и Александр, оставив свои возвышенные стремления, превращался в полноценного самодержца.

Государственный интерес

Но это было не так. Дальнейшие события показали, что у молодого царя по-прежнему оставалась мечта о коренном преобразовании государственного строя, о превращении самодержавной монархии в конституционную. Причем дело

было не только в возвышенных стремлениях к справедливости и всеобщему благу, внушенных Александру на уроках Лагарпа, точнее – не только в этих стремлениях. В желании царя изменить систему управления просматривается серьезный государственный интерес; тяга Александра к конституции в значительной степени объяснялась вполне конкретными проблемами, которые порождал самодержавно-бюрократический строй.

После восшествия на престол Александр, как человек, тонко чувствовавший ситуацию, все яснее должен был осознавать пороки самодержавного строя. С одной стороны, царю, как мы видели, претил деспотизм бюрократической системы, бездумное подавление всего, что в нее не укладывалось. Много лет спустя Н. Г. Чернышевский – мыслитель, настроенный весьма радикально, – говорил, что бюрократы в России «живут, задрав рыло кверху». Сказано было грубовато, но совершенно справедливо. В самом деле, действия чиновников любого ранга, любого уровня власти определялись почти исключительно указаниями начальства – ведь сверху шли не только указания, но и жалованье, награды, поощрения и нагоняи; «сверху» чиновника назначали и «сверху» в конце концов отправляли в отставку. А работать чиновникам приходилось с теми, кто внизу; с теми, от кого положение чиновников никак не зависело. Естественно, что интересы населения практически не брались в расчет правящей бюрократией. Именно эти или подобные им соображения заставляли Александра думать и говорить о необходимости ограничить деспотизм правительства – впрочем, как мы видели, царю не удалось ограничить даже свой собственный деспотизм, заложенный, очевидно, в самых глубинных пластах его натуры. Ведь именно с нежелания самого самодержца считаться с чем бы то ни было, кроме собственной воли, и начиналась русская несвобода. При таком подходе к делу можно было ожидать, что соблюдение и защита народных интересов так и останутся для Александра благими намерениями, которыми, как известно, вымощена дорога в ад.

Однако у самодержавно-бюрократической системы были и такие черты и качества, которые угрожали уже не народным, а собственным интересам Александра как главы государства. В самом деле, трагические судьбы его отца и деда, свергнутых с престола и убитых заговорщиками, не могли не волновать молодого царя, тем более что он сам, хоть и косвенно, участвовал в заговоре и знал, как это делается! А ведь Павел и Петр III были далеко не единственными жертвами – не даром XVIII век в русской истории называют эпохой дворцовых переворотов. И тут неизбежно вставал вопрос: почему заговоры и перевороты стали обычным, почти заурядным явлением в России после того, как в начале XVIII века Петр Великий своими реформами обеспечил здесь полную и окончательную победу самодержавно-бюрократического строя?

Размышления на эту тему приводили к ответу, который мог показаться несколько неожиданным, – концентрация всей возможной власти в одних руках порождала соблазн эту власть свергнуть. Дворцовые перевороты идут один за другим именно тогда, когда власть сосредоточивается в одном дворце, в одном тронном зале.

На первый взгляд, самодержавный строй, к которому Россия пришла в XVIII веке, был воплощенным идеалом для ее правителей: вся власть в твоих руках, никто не мешает, управляй как хочешь! Но даже гениальный правитель (а много ли было их в истории?) не в силах управлять один; он вынужден опираться на свое окружение, которое указывает ему на проблемы, дает советы, разрабатывает проекты, проводит их в жизнь и т.п. Самодержец в России опирался на бюрократию, а она, прикрываясь государственными интересами, нередко преследовала свои частные, корыстные цели. И если этой силе нечего было противопоставить, то глава государства неизбежно становился безвольной игрушкой в ее руках.

В не меньшей, если не в большей, степени все это касалось царского двора и гвардии. Так же как чиновники, придворные и гвардейцы формально находились в полном рас-

поряжении государя, на деле же он неизбежно попадал в зависимость от тех, кто составлял его ближайшее окружение, и вынужден был угождать им всеми возможными средствами, иначе...

Екатерина, бабка Александра, отлично понимала, что скрывается за этим «иначе», и поэтому раздавала направо и налево сотни тысяч десятин государственной земли, десятки тысяч государственных крестьян; жаловала чины и ордена, нередко за заслуги весьма сомнительные; закрывала глаза на явные злоупотребления. Павел же, у которого при всей его взбалмошности было искреннее стремление к порядку и справедливости (пусть и очень своеобразно понимаемыми), пытался бороться с беззаконием – и был беспощадно убит гвардейскими офицерами, возглавляемыми одним из высших сановников империи! Когда вся власть находится в одних руках, когда один-единственный человек несет ответственность за то, что происходит в стране, ему нужно быть готовым к тому, что недовольные его правлением рано или поздно попытаются убрать «плохого» правителя, посадив на его место другого, «хорошего». Обойтись без сановников, придворных, гвардии, без бюрократической системы в целом Александр конечно же не мог да и не собирался. Но, хорошо затвердив азы просветительства, молодой царь знал, что в теории эту систему можно (и нужно!) уравновесить, создав рядом с ней другую, отличную от нее в принципе. Для стабилизации государственного строя следовало попытаться привлечь к управлению страной и в центре, и на местах выборных представителей разных слоев населения, которые работали бы не на верховную власть, а на это население, в отличие от бюрократов-чиновников, назначаемых сверху; выборные неизбежно должны были постоянно поглядывать вниз, принимая во внимание наказания и пожелания тех, кто их выбирал. На местах – в волостях, уездах и губерниях – выборные решали бы хозяйственные проблемы, открывали бы школы и больницы; в центре, в тесном сотрудничестве с верховной властью, совершенствовали бы законодательство.

Если бы такая система – система самоуправления – была создана, она, несомненно, оживила бы местную жизнь и придала бы законодательной работе более разумный, более «народный» характер. Кроме того, подобная система, при правильном подходе к ней, могла бы стать надежной опорой царской власти, обеспечив ей большую самостоятельность и независимость по отношению к бюрократии.

Власть, опирающаяся на сотни органов самоуправления, разбросанных по всей России, имеющая за спиной выборный законодательный орган, – такая власть приобретала стабильность и внутреннюю силу, немыслимую при самодержавно-бюрократическом строе. Ее уже нельзя было бы ликвидировать одним ударом – убийством, заговором, дворцовым переворотом.

Конечно, подобные рассуждения носили достаточно отвлеченный характер, но вскоре после того, как Негласный комитет был распущен, страну потрясли события, заставившие царя перейти от общих рассуждений о деспотизме правительства к созданию конкретного плана государственного преобразования.

Сперанский и его план

В 1805 году Россия вступила в войну с наполеоновской Францией. В этой войне, происходившей за пределами России, в Центральной Европе, русская армия потерпела ряд поражений. В 1807 году возникла прямая угроза вторжения французской армии в Россию. Чтобы избежать этого, Александр I вынужден был подписать с Наполеоном тяжелый и унижительный для России Мирный договор в прусском городе Тильзите.

После этого престиж молодого государя резко упал. Очарование, которое Александр внушал своим подданным в первые годы правления, рассеялось как дым. Царя обвиняли в том, что он ввязался в ненужную для России войну и проиграл ее. Всеобщее недовольство усугублялось финансовым кризисом, вызванным военными расходами.

Зарубежные послы в своих донесениях, может быть, несколько сгущая краски, писали о всеобщем недовольстве царем в среде столичного дворянства и даже предрекали Александру судьбу его несчастного отца.

В такой непростой обстановке Александр попытался реализовать свою мечту о коренном преобразовании России. Очевидно, что общая идея этого преобразования была ему ясна, но она требовала детальной разработки и понятного изложения. Однако еще Лагарп отмечал неумение – или нежелание – маленького Александра быть последовательным, доводить до конца начатое дело, додумывать до конечного вывода пришедшую в голову мысль. С годами эта черта не только не исчезла, а еще больше усилилась. П. А. Строганов, который знал царя лучше многих других, сказал как-то, что Александр нуждается в человеке, который на лету ловил бы его обрывочные мысли и придавал бы им четкую и законченную форму.

Это было действительно так. Зато, как бы компенсировав этот недостаток, Александр обладал удивительной способностью в нужное время находить нужных людей, которые за него додумывали и доделывали то, что он считал необходимым. В начале правления это были члены Негласного комитета, после Тильзитского мира – Сперанский, в последние годы царствования – Аракчеев.

Михаил Михайлович Сперанский был одним из самых замечательных русских государственных деятелей. Один из его биографов с полным основанием называл Сперанского «светилом российской бюрократии».

Выходец из семьи сельского священника, он сумел сделать блестящую карьеру за счет своих талантов, знаний и удивительной работоспособности. Сперанский обладал на редкость ясной головой, моментально вникал в смысл самого запутанного документа, на лету ухватывал любую, даже мельком высказанную мысль. Этого мало – никто не умел так четко изложить свое понимание интересующего начальство вопроса и дать дельный совет в плане его решения. Если учесть, что при этом он был порядочен, надежен, никогда не

занимался интригами, отличался снисходительностью к низшим и умел вызывать уважение высших, то Михаила Михайловича следует признать идеалом чиновника.

Начав свою карьеру при Павле I, в канцелярии генерал-прокурора, Сперанский за неполных три года «пересидел» здесь четырех начальников, хотя все они, занимая должность, стремились максимально обновить штат своих подчиненных. При восшествии на престол Александра I Сперанский сразу же попал в поле зрения сановников, окружавших молодого царя. В пору учреждения министерств Трошинский (министр юстиции) и Кочубей (министр внутренних дел) боролись за то, чтобы включить в свой штат этого замечательного чиновника. Молодой и энергичный Кочубей победил своего престарелого соперника, и вскоре статс-секретарь Сперанский стал одной из самых заметных фигур в Министерстве внутренних дел.

В 1806 году часто болевший Кочубей стал посылать Сперанского вместо себя на доклады к государю. Попадая на глаза к Александру, Сперанский привлек внимание царя своей поразительной талантливостью. Она бросалась в глаза всем, кто общался с Михаилом Михайловичем. Так, Наполеон, встречавшийся с Александром в 1808 году в немецком городке Эрфурте, имел со Сперанским недолгую беседу, после которой подвел его к царю с вопросом: «Не угодно ли Вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?»

Возвышение Сперанского совпало по времени с падением «молодых друзей» царя. У всех у них по разным причинам и поводам возникают разногласия с Александром, в результате которых министр внутренних дел Кочубей отправляется в бессрочный отпуск, Чарторыйский уходит в отставку, а Строганов и Новосильцев уезжают за границу с дипломатическими поручениями.

Приходит время Сперанского. В 1807–1810 годах царь поручает ему наиболее важные, проблемные вопросы: Сперанский отлаживает новорожденную линейную систему – взаимосвязь между центральными и местными органами управ-

ления; пытается вывести страну из тяжелого финансового кризиса, в который она попала в результате разорительных войн.

Не случайно именно Сперанскому Александр поручил разработать план государственного преобразования, который должен был в корне изменить существующую в России систему управления. Суть плана состояла в том, чтобы рядом с бюрократической системой управления развернуть систему самоуправления, направленную на удовлетворение местных региональных интересов. На всех административно-территориальных уровнях Российской империи – в волостях, уездах и губерниях – Сперанский предполагал создать выборные органы – думы. В думы самого низшего уровня – волостные – должны были входить все местные землевладельцы и выборные от государственных крестьян; уездные думы предполагалось формировать из депутатов, выбранных волостными думами данного уезда; губернские думы – из депутатов, выбранных уездными думами данной губернии. Думы всех уровней должны были заниматься местными делами, прежде всего хозяйственными.

Эту грандиозную систему самоуправления, все органы которой были крепко связаны в единое целое, должна была венчать Государственная дума, образуемая из депутатов всех губернских дум, ежегодно собиравшихся в Петербурге. Государственная дума была органом законодательным; она должна была обсуждать проекты новых законов. При этом обсуждались только те проекты, которые поступали от царя. Окончательное решение по любому проекту также принимал царь. Для облегчения взаимоотношений царя с Думой Сперанский предполагал создать еще и Государственный совет, в который царь сам назначал бы угодных ему сановников. Госсовет должен был советовать царю, какие законопроекты следует вносить в Думу.

Совершенно очевидно, что Сперанский в своем плане ясно и последовательно изложил основные идеи Александра. (Сам он впоследствии напоминал царю, что всего лишь добросовестно делал то, что ему было поручено.) При этом Спер-

ранский сумел соблюсти главное условие, поставленное Александром: его план вовсе не ограничивал царскую власть, не уменьшал полномочия бюрократических органов управления ни в центре, ни на местах. Речь шла лишь о том, чтобы дополнить самодержавно-бюрократическое управление самоуправлением и тем самым усилить российскую государственность в целом.

Александр одобрил план Сперанского: действительно, лучше исполнить его «заказ» было, наверное, просто невозможно. Однако царь не спешил претворять этот достаточно смелый проект в жизнь: из всех предложений Сперанского он сразу же осуществил лишь одно, причем наименее значимое. В 1810 году был учрежден Государственный совет. В него теперь должны были отправляться все проекты законов для предварительного обсуждения. С точки зрения дальнейшего совершенствования самодержавно-бюрократической системы управления, эта мера имела смысл. С помощью высших сановников, заседавших в Госсовете, хорошо знакомых с техникой чиновничьего управления страной, царю было легче принимать решения по поводу судьбы того или иного законопроекта. Но никаких принципиальных изменений в государственном строе России не произошло. В личных беседах Александр давал понять Сперанскому, что полное осуществление их общих идей – дело времени. Однако, как показали дальнейшие события, государь был неискренен со своим верным статс-секретарем.

Карамзин: «Кому все это нужно?»

Александр хорошо понимал, что полное осуществление плана должно привести к серьезным, небывалым еще в России переменам. Ведь до сих пор все (или почти все) действия власти, включая и грандиозные преобразования Петра I, были направлены на развитие самодержавно-бюрократической системы. Теперь же речь шла о том, чтобы привлечь население к управлению страной, позволить ему самому ре-

шать насущные проблемы своей жизни. В преддверии столь грандиозных реформ Александр не мог не беспокоиться тем, как отнесутся к ним высшие сановники, придворные, столичное дворянство. Для того чтобы узнать это, Александр дал прочитать рукопись плана верхушке петербургского общества, сделав его предметом самого оживленного обсуждения в той среде, мнение которой интересовало царя.

Трудно сказать, какой реакции ожидал Александр; на деле же план вызвал в столичном обществе бурю негодования. Сановники и придворные и раньше недолюбливали его автора; Сперанский всегда выглядел в их среде белой вороной; происхождением, манерой держаться, подчеркнутой принципиальностью и порядочностью он настолько выделялся среди царского окружения, что был обречен на почти полное одиночество. Вся сила и влияние Сперанского держались исключительно на добром расположении к нему царя, что, в свою очередь, вызывало зависть и ненависть. Конкретная деятельность Сперанского, нередко позволявшего себе во имя государственной пользы затрагивать интересы отдельных важных персон и дворянства с бюрократией в целом, также не прибавляла ему популярности в этой среде.

Теперь же этот неприятный во всех отношениях человек раскрыл свою истинную сущность, покусившись на самое святое для большинства читателей плана — на самодержавный строй, надежно охранявший их состояние и привилегии. Реакция была однозначной: Сперанского осыпали руганью и самыми нелепыми обвинениями — вплоть до того, что будто бы он стремился устранить царя, ввести республиканский образ правления и стать первым российским президентом. Александра не могла не испугать столь мощная негативная реакция, тем более что в этой консервативной среде были не только пышущие злобой «ругатели и ненавистники», но и мыслящие люди. Один из них, Н. М. Карамзин, не пожалев времени и сил, выступил с развернутым опровержением плана.

Вне всяких сомнений, Карамзин был одним из самых за-

мечательных людей своего времени. Великолепный писатель, незаурядный мыслитель, выдающийся историк, проявивший небывалое по тем временам умение превращать сухой фактический материал в захватывающее действо «Истории государства Российского», Карамзин был очень популярен в дворянском обществе; его охотно принимали при дворе; чувства симпатии и уважения к нему испытывали и сам Александр, и другие члены императорской семьи.

Особенным почетом Карамзин пользовался при маленьком «тверском дворе» великой княгини Екатерины Павловны, сестры Александра (ее муж – принц Георгий Ольденбургский – был губернатором Тверским, Ярославскими и Новгородским). Этот двор в 1810–1811 годах стал средоточием оппозиции либеральному курсу; именно отсюда шла самая резкая критика Сперанского. Екатерина Павловна, женщина умная и образованная, особо отличала Карамзина. После одной из бесед, предметом которой были реформы начала царствования Александра, а также деятельность Сперанского и его план государственного преобразования, Екатерина Павловна настоятельно попросила Карамзина изложить свои мысли на бумаге – не только для нее, но и для царя. «Брат мой достоин их слышать», – сказала она.

Карамзин сразу же откликнулся на просьбу великой княгини и в феврале 1811 года уже читал ей свою «Записку о древней и новой России».

Основная идея этого довольно объемного сочинения была проста, доступна и соответствовала взглядам подавляющего большинства представителей дворянского общества. Автор «Записки» очень последовательно и логично доказывал, что самодержавие – единственный государственный строй, способный обеспечить благополучие и процветание русского народа. Карамзин развивал здесь свою излюбленную мысль о том, что каждый народ в ходе исторического развития «обустроивается» по-своему, соответственно определяющим чертам своего характера, «духа». Еще в ранней работе, в знаменитых «Письмах русского путешественника», написанных в конце XVIII века, Карамзин утверждал, что со-

вершенно не случайно англичане создали стабильную, хорошо организованную конституционную монархию, Францию постоянно потрясают революции, а швейцарцы живут в республике – все это результат проявления того или иного «народного духа» в сфере государственного устройства.

В «Записке» же Карамзин проводил мысль, что восточные славяне, составившие основу русского народа, сделали свой выбор раньше, чем какой-либо другой народ, у самых истоков своей истории. Они призвали государственную власть извне, вручив свою судьбу без всяких оговорок варяжской дружине во главе с Рюриком, от которого пошла великокняжеская, а затем и царская династия, создавшая на Руси самодержавный строй. Романовы в этом отношении оказались достойными преемниками Рюриковичей.

По мнению Карамзина, это было разумное решение и правильный выбор. Русский народ нуждался в постоянной доброжелательной опеке сверху, со стороны самодержавной власти, которая брала на себя все заботы об его защите от внешних врагов, наводила разумный порядок внутри страны, заботилась о правильном развитии земледелия, торговли и ремесел. Весь ход исторического развития России, заявлял Карамзин, определяется одной простой зависимостью: сильно самодержавие – русский народ благоденствует; слабеет самодержавная власть – и на Руси воцаряется хаос, народ разоряется, страдает и бедствует.

При этом автор проводил резкое различие между просвещенным самодержцем, искренне стремящимся сделать свой народ счастливым, и деспотом, этот народ угнетающим. В недавнем прошлом образцом подобного деспотизма он представлял Павла I, который «начал господствовать всеобщим ужасам... считал нас не подданными, а рабами». Однако, по Карамзину, выходило, что впадать в другую крайность и считать подданных свободными людьми тоже никак нельзя... Любая попытка привлечь выборных представителей к решению местных вопросов, и особенно к законодательной работе, представлялась Карамзину подрывом самодержавного строя, то есть началом конца. Он был уверен, что это неиз-

бежно приведет к господству групповых, партийных интересов, ослабит власть в центре и на местах и в конечном итоге приведет к развалу Российской империи.

Самодержец, писал Карамзин, может делать все, за одним лишь исключением: он не имеет права ограничивать свою собственную власть, перекладывать ее на чьи-либо плечи. Царь несет ответственность за все происходящее в России, и снимать с себя эту ответственность он не должен. Именно в этом «грехе» Карамзин совершенно откровенно обвинял Александра.

Собственно, Карамзин давал царю лишь одну-единственную рекомендацию – вернуться «на путь истинный». Государственные учреждения России были, по убеждению автора «Записки», хорошими, но люди, служившие в них, нередко плохими. Искать людей, подбирать честных и надежных исполнителей своей воли, но ни в коем случае не затевать «коренных преобразований» государственного строя – вот призыв, обращенный Карамзиным к Александру I.

В «Записке» Карамзина были свои достоинства: он отлично знал русскую историю, умел оперировать историческими фактами, обосновать ими свою точку зрения. И в этом отношении автор «Записки» имел заметное преимущество перед Сперанским, чей план был умен и логичен, но носил отвлеченный характер, не учитывал реальной расстановки сил в стране, игнорировал традиции и обычаи, складывавшиеся здесь веками. Карамзин же стоял на почве российской действительности, созданной веками исторического развития; стоял, утвердившись на ней так прочно, что любое движение вперед казалось ему невозможным.

В том же 1811 году Екатерина Павловна представила «Записку» императору, ненадолго приехавшему в Тверь. Тогда же состоялась и беседа Карамзина с Александром I. Царь, судя по его реакции, остался беседой неудовлетворен, а «Запиской», которой Карамзин критиковал реальные преобразования и царские планы, был просто обижен. Простился Александр с Карамзиным чрезвычайно холодно.

Зато «Записку» Карамзина с восторгом приняли дворянст-

во и бюрократия. По сути дела, Карамзин выразил именно их взгляды, предельно ясно дав понять Александру, что серьезные реформы не нужны и не только не встретят поддержки в этих единственно влиятельных в России кругах, но, наоборот, возбудят там всеобщую ненависть. Каковы бы ни были истинные взгляды Александра, он принял это к сведению.

Через год, в марте 1812 года, Сперанский получил отставку и был с позором выслан в Нижний Новгород. Непосредственной причиной падения Сперанского была сложная интрига – у него хватало врагов и при дворе, и в высших бюрократических сферах, причем враги эти не стеснялись средствами: Сперанского обвиняли в сношениях с агентами Наполеона, в продаже государственных тайн и т. п. Сам же Сперанский в одном из писем, отправленных из ссылки на имя Александра, убежденно писал, что «первый, и единственный, источник всего, что случилось», – план государственного преобразования.

Опальный реформатор был конечно же прав. Царь воспользовался предлогом и пожертвовал Сперанским в угоду его многочисленным противникам. Надвигалась война с Наполеоном, и Александр ни в коем случае не хотел пребывать в ссоре со своим окружением. Действительно, сановникам, придворным, столичному дворянству царь угодил: известие о ссылке Сперанского здесь было принято с восторгом. При этом все заинтересованные стороны отлично понимали, насколько принципиально это царское деяние. Когда при расставании с человеком, вся вина которого была, в сущности, лишь в том, что он добросовестно и умело развивал царские идеи, Александр сказал: «Прости, Михайла Михайлович, иначе я поступить не могу», – он не только просил прощения у своего верного сотрудника. Этой фразой царь признавал свою неспособность изменить положение дел в России, прощался с собственными возвышенными мечтами. Период преобразований закончился.

ОБРАЗЦОВЫЙ ГОСУДАРЬ

Порядок

Николай I, государь император всея Руси, управлявший этим государством на протяжении 30 лет, являл собой воплощение самодержавного порядка. Он, казалось, самой природой был создан для защиты устоев самодержавия и борьбы с вольномыслием. Он обладал ясным, холодным, но неглубоким умом, органически неспособным к восприятию идеи прогресса – вечного развития всего сущего. Во всех своих действиях царь руководствовался врожденным, непреодолимым консерватизмом. Любимая мысль о серьезных коренных преобразованиях государственного строя воспринималась им как крамола, как зловердный зародыш бунта и анархии.

К тому же царь, обладавший сильной волей и огромной работоспособностью, не ведал сомнений – во всяком случае, всегда решительно гнал их от себя. Не ведал Николай и жалости: хотя в его характере не было изуверской жестокости, но он всегда методично и с холодной беспощадностью карал за малейшее отступление от установленного порядка вещей.

Это врожденное стремление к порядку «без дальних рассуждений» подкреплялось образованием, полученным Николаем Павловичем. Старший брат, Александр I (разница между братьями составляла 19 лет), практически не вмешивался в это дело; оно целиком и полностью находилось в руках матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, женщины недалекой и плохо разбиравшейся в людях. В результате если у Александра главным воспитателем в свое время был Лагарп, так много ему давший, то у

Николая эту роль играл генерал Ламсдорф – неумный, невежественный и жестокий человек. Учителя были подобраны по случаю – как Бог послал. Среди них не было ни одного, кто мог бы увлечь великого князя и заинтересовать его изучением наук. Сам царь впоследствии так вспоминал об этих занятиях: «На лекциях наших преподавателей мы (с младшим братом Михаилом) или дремали, или рисовали их же карикатуры, а потом к экзаменам выучивали кое-что вдолбежку, без плода и пользы для будущего».

Отвращаясь от «бесплодных умствований», Николай, по словам воспитателей, с каждым годом все ясней проявлял свое «пристрастие ко всему военному». Они пытались как-то бороться с этой односторонностью, но совершенно безуспешно. Так, однажды, когда великий князь получил тему сочинения: «Доказать, что военная служба не есть единственная служба дворянина, но что и другие занятия для него столь же почетны и полезны», – Николай по прошествии времени сдал преподавателю чистый лист без единого слова.

Исключительное для семейства Романовых пристрастие к фрунту, сиречь военному, войсковому строю, с годами у Николая лишь усилилось. Это было непреодолимое свойство натуры. Оно проявлялось во всем, и прежде всего во внешнем облике императора: казалось, он так и родился в мундире. Высокий, широкогрудый, до конца дней своих сохранявший отличную выправку, царь так и запечатлелся в памяти современников великолепным образчиком офицера-строевика. Холодный, зоркий взгляд его больших серых глаз замечал малейшую погрешность; звонкий тенор был куда как хорош для четкого приказа, для «разноса и распеканции». А чего стоила походка, знаменитая «военная походка», увековеченная Н. С. Лесковым: «Голова прямо, грудь вперед, шаг маршевый, левая рука пригнута и держит пальцем за пуговицу мундира, а правая или указывает куда-нибудь повелительным жестом, или тихо, медленным движением обозначает такт, соответственно шагу ноги».

Стройные, неподвижно застывшие ряды гвардии, над которыми в томительной тишине вот-вот прозвучит звон-

кая команда... Эхом разносятся голоса офицеров... И вот огромная людская масса приходит в движение, устремляясь в едином порыве, в едином ритме к указанной цели. Эта картина не только услаждала взор самодержца, в ней он черпал уверенность в своих силах, в своем безграничном могуществе и беспредельной власти. Военные учения, смотры, парады с молодых ногтей неудержимо влекли к себе Николай той предельной четкостью и простотой, с какой определялись здесь отношения между людьми: мудрый командующий, возложивший на себя все бремя власти; преданные, на лету ловящие каждое слово приказа младшие командиры; покорная масса солдат, как один человек повинаяющаяся начальству!

Здесь, на плацу, закладывались основы той «государственной мудрости», которой определялось все тридцатилетнее царствование Николая. Сейчас трудно без улыбки читать о том, что поездка двадцатилетнего Николая в Англию в 1816 году вызывала опасения у его матери: как бы великий князь не нахватался там по молодости «конституционных идей». По просьбе Марии Федоровны министр иностранных дел граф Нессельроде даже составил для него специальную записку-предостережение. Плохо же они знали Николая!

Если Александр I незадолго до этого, беседуя в Англии с лидерами парламентских фракций, рассуждал о «благотельности для управления страной разумной оппозиции» и обещал завести таковую в России, то его младший брат решительно предпочитал общество английских военных. Парламентские дебаты не интересовали Николая совершенно, многие проявления общественной жизни вызвали отвращение. Так, по поводу распространенных в Англии митингов и клубов он заметил одному из своих приближенных: «Если бы, к нашему несчастью, какой-нибудь злой гений перенес к нам эти клубы и митинги, делающие больше шума, чем дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или, еще лучше, лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление».

Чтобы он, Николай, на этот «шум», на эти бесконечные споры променял божественный самодержавный порядок, издавна утвердившийся в России?! Строгая централизация, полное единоначалие на всех уровнях управления, безоговорочное подчинение низших высшим – всей своей сущностью самодержавно-бюрократический строй как нельзя лучше отвечал фрунтовой натуре нового императора. К тому же с первых дней царствования он обрел мощную идейную опору в лице Николая Михайловича Карамзина.

Если попытка Сперанского придать самодержавию европейский облик встревожила в свое время Карамзина, то грозные события 14 декабря потрясли его до глубины души. В этот день историограф был в Зимнем дворце, выходил на Сенатскую площадь. «Я видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упали к моим ногам». Глубоко прочувствовав угрозу возлюбленному им строю русской жизни, которую несло в себе восстание, он «алкал пушечного грома». Когда же гром прогремел и горизонт самодержавной России очистился, Карамзин, насмерть простудившийся в этот день (он умер через два месяца), успел-таки дать новому царю урок политической грамоты.

Можно представить себе, с каким глубоким вниманием и сочувствием слушал Карамзина Николай. Историограф конечно же держал речь в духе своей знаменитой «Записки о древней и новой России», проводя свою центральную, излюбленную мысль: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием!» В самодержавии, и только в нем, видел Карамзин залог благополучия русского народа. Задача государства состоит в том, чтобы совершенствовать этот замечательный строй, а не изменять его. И так же как и в «Записке», Карамзин в беседе с Николаем не щадил нововведений покойного Александра I, разрушавших, по его мнению, самодержавие. Не щадил настолько, что присутствовавшая при этой беседе Мария Федоровна просила его «пощадить уши матери», на что Карамзин достойно отвечал, что говорит с матерью «не только усопшего, но и ныне здравствующего го-

сударя», подчеркивая тем самым свою веру в здравый смысл и добрую волю нового царя.

Идеи Карамзина полностью отвечали глубинным, инстинктивным ощущениям Николая, которые, таким образом, не только озвучивались в самой изящной форме, но и получали развернутое историческое обоснование и становились основой целой идеологической системы. Недаром семья Карамзина после смерти историка получила небывало высокую пенсию, а набело переписанный экземпляр «Записки о древней и новой России» всегда находился под рукой императора. О том, насколько хорошо усвоил Николай уроки, преподанные Карамзиным, можно судить по письму, которым царь в июне 1826 года сопроводил доклад следственной комиссии по делу декабристов.

В этом письме царь дважды упоминал порядок вещей в России, каждый раз вкладывая в это понятие разный смысл. Он писал здесь об «установленном порядке, освященном веками славы», то есть о самодержавно-крепостническом строе, вечном, нерушимом, составлявшем самую суть бытия русского народа. Писал он и об эфемерном и опасном порядке вещей, сложившемся в предыдущее царствование, имея в виду непоследовательность внутренней и внешней политики, неоправданные попытки реформ, попустительство либеральным идеям.

Этот «порядок вещей», по словам Николая, неизбежно должен был привести к открытому бунту против власти. Восстание декабристов объяснялось им прежде всего слабостью и непоследовательностью Александра I. Николаю же это «отвратительное» событие давало право и преимущество «доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих». Вольномыслию, ведущему к смуте, следовало противопоставить силу, «анархическим устремлениям» – коренной, несокрушимый порядок русской жизни, который не нуждался ни в каких преобразованиях – только в ещё большем, всемерном укреплении.

Система

Итак, новый самодержец четко уяснил себе основную задачу его царствования: он стремился сохранить и укрепить господствовавший в России порядок вещей. А для этого, очевидно, нужно было привести в идеальное состояние систему управления страной, которая лежала в основе этого порядка: самодержавно-бюрократический механизм следовало отладить так, чтобы он действовал без перебоев. Средства же к достижению этой цели определялись в значительной степени властной, прямолинейной натурой царя, стремившегося управлять огромной страной с военной строгостью и простотой – как полком на плац-параде.

Каждое утро в Зимний дворец съезжались министры с туго набитыми портфелями. Царь ждал их в своем кабинете, готовый управлять и властвовать: его поразительная работоспособность, редкая память, постоянное внимание к деталям отмечались всеми, кто имел с ним дело. По-военному четко Николай высказывал свою волю, которая воспринималась министрами почтительно и беспрекословно. Под перьями департаментских чиновников эта воля обретала соответствующую форму и разносилась по всей Руси! С берегов Невы по всем направлениям летели фельдъегерские тройки, развозя по губерниям указы, рескрипты и циркуляры. На берегах Волги, Оки или Упы, в желтых казенных зданиях, поставленных на центральных площадях губернских городов, срабатывало следующее звено; царская воля, опять-таки должным образом оформленная, расходилась по уездам, получая там воплощение уже во вполне конкретных административных деяниях: с кого-то выбивали недоимку, кому-то забривали лоб по новому рекрутскому набору, кто-то переселялся на новые места... И на каждую входящую бумагу незамедлительно составлялась ответная, исходящая бумага – формальный канцелярский порядок соблюдался неукоснительно.

На обработку взаимодействия между различными звеньями вертикали власти Николай не жалел усилий, стре-

мьсь максимально подчинить управление страной своему личному контролю. Наверное, не было еще на Руси царя, который так много времени посвящал бы своему «царскому делу», – слова Карамзина о той огромной ответственности перед своим народом, которую каждый самодержец возлагает на свои плечи, были Николаю близки и понятны. Каждый день с семи часов утра в его кабинете уже горели свечи: царь трудился над ворохом бумаг, добросовестнейшим образом изучая и проекты очередного комитета по крестьянскому вопросу, и донесения послов, и план «реформы» обмундирования столичных будочников. Почти не было дня, чтобы царь пренебрег добровольно возложенной на себя обязанностью инспектировать казенные учреждения столицы – в любой момент он мог нагрянуть с проверкой и в кадетский корпус, и в сиротский дом, и в суд, и в таможню. С той же целью ежегодно, не жалея лошадей, Николай, «смерчу подобно», стремглав носился по всей России, наказуя и милуя, распекая и награждая, требуя от чиновников всех рангов одного: безупречного порядка в делах.

Формальный порядок торжествовал по всей линии, и чем ближе к престолу, тем строже соблюдались все формальности. Николай Павлович в этом отношении был предельно внимателен и небрежности не прощал. Так, к примеру, видный сановник николаевского царствования М. А. Корф вспоминал в своих записках, как он получил строгий выговор от Николая за то, что в представленных им в спешном порядке бумагах (царь собирался уезжать за границу) было множество описок. «Я люблю Корфа, – сказал царь, – с ним этого никогда не случалось, а видно, он теперь подумал, что за скорым отъездом я только погляжу бумаги и не стану их читать. Я доказал противное... Надо принять меры, чтобы это было в первый и последний раз».

Формальный порядок торжествовал. Естественно, что весь аппарат управления, сверху донизу, состоял в основном из людей, способных этому порядку соответствовать и умевших к нему приспособиться. С приходом к власти Николая I наступило время полного торжества чиновника-бюрократа, не

за страх, а за совесть воспринявшего основное требование государя императора: «Не рассуждать, а исполнять!»

Поскольку Николай «наводил порядок» чрезвычайно последовательно, то на самый верх пробивались люди предельно исполнительные и в то же время лишённые всякой инициативы и самостоятельности в исполнении своих служебных обязанностей. Эти качества отличали большинство высших сановников, окружавших Николая, таких как военный министр А. И. Чернышов, министр юстиции В. Н. Панин и многие другие.

Характернейшей фигурой этого царствования стал министр иностранных дел К. В. Нессельроде, настоящий долгожитель высшей сановной среды: Николай унаследовал его на министерском посту от своего предшественника и доверял ему эту важнейшую сферу государственных дел на протяжении всего своего тридцатилетнего правления. И совершенно очевидно, что феноменальная «усидчивость» Нессельроде в министерском кресле объяснялась не столько его несомненной компетентностью – прекрасным знанием расстановки сил в правительствах и закулисных интриг при дворах Европы, сколько полной зависимостью министра от своего грозного повелителя, которую сам Нессельроде с униженной готовностью постоянно подчеркивал: «Я не более чем рупор идей Вашего величества».

Нессельроде, впрочем, не отличался инициативой и при Александре I. А вот Михаил Михайлович Сперанский, не раз доказавший в предыдущее царствование свою способность к самостоятельным суждениям, явил собой яркий пример сознательного отречения от этой редкой в бюрократической среде особенности. Николай, сумевший оценить деловые качества автора еретического плана государственного преобразования, поставил его во главе II отделения Собственной канцелярии, занимавшегося кодификацией (приведением в порядок, систематизацией) предельно запущенного российского законодательства – работой, нет слов, важной, но носившей чисто технический, формальный характер. Сперанский выполнил ее с привычным блеском,

за что и получил графский титул и орден Святого Андрея Первозванного. Была горькая ирония в том, что автор знаменательного проекта преобразования России получает высшую награду империи, создав Свод законов, упорядочивший ее самодержавно-бюрократическое основание!

Черты формальной, бездумной исполнительности были присущи большинству николаевских сановников, проявляясь у одних ярче, у других мягче, смазанней. И, как всегда, имелся деятель, воплощавший их с такой полнотой, что ни на что другое места уже не находилось: министр путей сообщения П. А. Клейнмихель, притча во языцех, не человек, а живое воплощение системы. Немецкий дипломат О. де Брэ, долгие годы прослуживший в России, рисует его портрет яркими красками. Отметив, что Клейнмихель получил «чисто военное образование, в котором основательность познаний и ученость не играли никакой роли, а главное место занимали послушание, пунктуальность и деятельность», автор пишет: «Деятельный, беспощадный и неумолимый в выборе средств, он не признает трудностей и как будто хочет доказать, что на свете нет ничего невозможного. Он относится к людям, как к орудиям и машинам, не зная сострадания... Его ненавидят и презирают. Не подлежит сомнению, что можно было бы достигнуть тех же результатов, действуя с большей кроткостью и меньшей поспешностью, не истощая средств казны, не разоряя подрядчиков и не жертвуя множеством человеческих жизней».

Формалистика, торжествовавшая наверху, естественным образом распространялась на все уровни бюрократической системы управления. В должный срок и должным образом поданная бумага становилась главным результатом чиновничьей деятельности. При этом нужно иметь в виду, что Николай значительно увеличил штаты как центральных, так и местных учреждений. Если в 1820-х годах в России было около 20 тысяч чиновников, то к середине XIX века – более 60 тысяч. Соответственно невероятно увеличилось количество бумаг, как входящих, так и исходящих, все сложнее и таинственней становились их пути. (Недаром в это время издает-

ся книга с характерным названием: «Руководство к наглядному изучению административного течения бумаг в России», очевидно необходимая любому россиянину, входящему в соприкосновение с бюрократической системой.)

Делопроизводство становилось чуть ли не главной сферой российского бытия, оттесняя реальную жизнь на задний план. Вспомним Гоголя: «Герои наши видели много бумаги, и черновой, и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя и даже просто какую-нибудь светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, склонив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттягании земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим свой век под судом, нажившим себе и детей, и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за № 368!» – «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! А не то снимут сапоги, и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина сухими листьями». Только здесь, только в этом заколдованном месте мог осуществиться сюжет гениальной гоголевской поэмы, где мертвые души идут за живых людей.

Мощный круговорот ведомственной документации совершался при Николае I плавно и бесперебойно. Однако при подобном порядке дел чиновники всех уровней стремились прежде всего удовлетворить свое непосредственное начальство; вовремя, в нужном духе ответить на поступившую сверху бумагу. Начальство же, подобно Николаю, требовало соблюдения определенных форм, внешней четкости и аккуратности. Если царя при этом интересовало еще и содержание документов, то подавляющее большинство чиновни-

ков удовлетворялось достижением чисто формального порядка в делах, нисколько не беспокоясь о том, насколько оно соответствует порядку действительному. Бюрократия еще в большей степени, нежели раньше, зажила своей, оторванной от реальности жизнью, заговорила особым, лишь ей понятным канцелярским языком.

В «Былом и думах» А. И. Герцен приводит очень характерный рассказ одного губернатора, который, будучи только что назначен на эту должность, никак не мог уразуметь смысла одной важной деловой бумаги. Никто из его бывалых подчиненных не мог помочь ему понять содержание этого документа. Однако вопрос: «Как выйти из этого нелегкого положения?» — их не только не смутил, но и удивил: в наличии был некий столоначальник, который «двадцать лет на такие бумаги отвечал». Объяснить суть бумаги не смог и он, но, как выяснилось, этого и не требовалось: «Столоначальник принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочил две бумаги. Губернатор взял их, прочел. Прочел раз и два — ничего понять нельзя. «Я увидел, — рассказывал он, улыбаясь, — что это действительно был ответ на ту бумагу, — и, благословясь, подписал. Никогда более не было помину об этом деле — бумага была вполне удовлетворительна».

Но этот насквозь формализованный, действующий по своим особым законам аппарат управлял реальной страной, живыми людьми. И здесь деятельность бюрократии сопровождалась множеством злоупотреблений, особенно когда дело касалось безгласных и незащищенных народных масс. Ведь бюрократическая система была замкнутой, недоступной для контроля извне. Жалобы на чиновников рассматривались такими же чиновниками, только более высоких рангов. Круговая порука, связывавшая бюрократов всех уровней, позволяла им действовать с почти полной уверенностью в своей безнаказанности. Должностные преступления, как правило, вскрывались лишь тогда, когда увлекшиеся чиновники переходили все возможные границы, забывая о необходимости несложными канцелярскими хитростями маскировать свои темные дела. Но даже эти немногие

разоблачения потрясали современников, рисуя жуткую картину развала внешне так хорошо отлаженного бюрократического механизма.

М. А. Корф в своих записках рассказывал о ревизии Петербургского надворного суда, из которой выяснилось, что в нем около тысячи нерешенных дел, а «счет неисполненным решениям и указам никто не знал, проверить же их число не было возможности, потому что все реестры, книги и прочее пребывали в совершенном расстройстве... Денежная отчетность была в таком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до 650.000 рублей потерян всякий след и, вследствие того, ее хранили под названием суммы «неизвестных лиц».

Положение усугублялось тем, что «место действия происходило в столице, в центре управления, почти окно в окно с царским кабинетом...».

Николай, глубоко и искренне переживавший за свое дело, не щадивший во имя его собственных сил, приходил от таких историй в отчаяние.

Надо отметить, что царь достаточно чутко ощущал слабые места своей системы управления. Ему самому не раз приходилось сталкиваться с вопиющими злоупотреблениями чиновников самых различных рангов. И дело было не только в разъедавших систему взяточничестве и коррупции. Бюрократия и в центре, и на местах работала к тому же чрезвычайно вяло, недобросовестно, сводя дело к формальным отпискам, тормозя проведение в жизнь многих решений высшей власти, в том числе и принципиально важных.

Этого Николай не терпел, с этим он пытался бороться. Но единственно возможный путь преодоления недостатков бюрократической системы царь видел в еще большем, максимальном усилении своего личного контроля. Поскольку же контролировать все было невозможно, Николай особое внимание уделял тем вопросам, которые он по различным причинам считал наиболее важными. Их он изымал из обычной системы управления и передавал в ведение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Этот ор-

ган, который в прежнее царствование играл весьма скромную роль, теперь стал самым главным. Функции Собственной канцелярии год от года становились все более обширными: она занималась и кодификацией законов; и политическим сыском, и кавказскими делами.

Николай тем самым как бы давал понять, что не доверяет своей собственной системе управления, и вносил в нее элемент чрезвычайщины, «особого положения». Но ведь в Собственной канцелярии, в конце концов, работали те же российские чиновники, обремененные все теми же характерными для бюрократии пороками. Попытки преодолеть недостатки бюрократической системы с помощью чисто бюрократических средств, как правило, кончались безуспешно. Однако Николай упорно и последовательно шел именно по этому пути, руководствуясь знаменитой аксиомой Карамзина: «Система хороша – люди плохи». Хотя сейчас кажется очевидным, что корень всех зол был именно в системе: именно она коверкала людей и уродовала всю русскую жизнь.

Идеология

На протяжении долгого времени николаевская система производила на современников впечатление поистине ошеломляющее: казалось, в России заработала в полную силу неуклюжая, но мощная машина, способная без особых усилий перемолоть любое инородное тело, и нет той машине сносу!

Необходимо иметь в виду, что николаевский режим существовал отнюдь не только за счет произвола, слежки и командных окриков с высоты престола. У него были свои глубинные корни, свои выстраданные традиции, и с этой точки зрения вполне понятно и оправдано благосклонное внимание Николая к карамзинской концепции русской истории. Была у этого режима и своя социальная база: тот порядок вещей, увековечить который взялся царь, имел своих ревностных сторонников и в среде бюрократии всех чинов и рангов, и, самое главное, в помещичьих усадьбах.

Яркое представление о мировоззрении привилегированных сословий дают заметки одного из характернейших действующих лиц николаевской эпохи, бессменного управляющего III отделением Леонтия Васильевича Дубельта, реально державшего в своих руках всю сложную систему надзора за Россией. Александр Иванович Герцен, видевшийся с Дубельтом по своим непростым поднадзорным делам, справедливо считал его «умнее всех трех отделений канцелярии, вместе взятых». Действительно, от подавляющего большинства своих собратьев-чиновников Дубельт выгодно отличался и умом, и тонкой проницательностью, и очень редкой по тем временам способностью действовать осознанно, предвидя результаты. К тому же у него была литературная жилка, сказавшаяся и в весьма красноречивых докладах «по начальству», и в чрезвычайно любопытных заметках «для себя», которые Леонтий Васильевич делал время от времени на протяжении всей своей многолетней службы. Эти заметки, не претендуя на звание системы или теории, предельно четко выражали очень ясную и последовательную жизненную позицию.

В основе ее – хорошо усвоенная «первая обязанность честного человека: любить выше всего свое отечество и быть самым верным подданным своего государя». При этом высокая карамзинская мысль об ответственности монарха перед своей страной исчезает напрочь, понятия отечества и самодержавия у Дубельта сливались совершенно; без царя, по его мнению, не могло быть и России: «Ее можно сравнить с арлекинским платьем, у которого лоскутки сшиты одной ниткой, – и славно, и красиво держится. Эта нитка и есть самодержавие. Выдерни ее, и платье распадется». Все успехи России – исключительная заслуга верховной власти: «Дай Бог здоровья и всякого счастья нашим царям, что они так прославили имя русское на земле». Лучший же из самодержцев царствует ныне. В своих заметках «для себя» Дубельт не жалел славословий Николаю I: «Все великое и прекрасное так свойственно нашему государю, что уж и не удивляет!.. Велик Николай Павлович, чудо-государь – какая конститу-

ция сравнится с его благодеяниями». Его царствование в глазах Дубельта – апофеоз России. «От времени и обстоятельств не только веи, грады и твердыни исчезают с лица земли, но и царства отжившие, как древа, сгнивающие в корне. Между тем не угаснет звезда России, венчающая славные и мудрые дела императора Николая Павловича».

Под дланью мудрого и могучего монарха, взявшего на себя тяготы государственного управления, народу российскому – крестьянам и помещикам – предоставлялось мирно благоденствовать, отправляя свои сословные обязанности в соответствии с «внутренним устройством империи», то есть крепостным правом. Крепостничество наряду с самодержавием – вот основной залог процветания России. «Наш народ, – пишет Дубельт, – оттого умен, что тих, а тих оттого, что несвободен». Русский «мужичок», по мнению автора заметок, совершенно счастлив в условиях крепостной неволи: он «живет мирно, обрабатывает свое поле и благодарит Бога за свой насущный кусок хлеба. Не троньте этот народ, оставьте его в патриархальной простоте и во всем природном его величии...» Не дай бог отменить крепостное право: «мужичок» сначала, может, и обрадуется, но потом, потеряв голову от магического слова «свобода», захочет попытать счастья в другом месте, пойдет шататься по городам, «где потеряет свою святую нравственность и погибнет...».

Исход трагический, но совершенно неизбежный, ибо, как выясняется, комплименты в сметливости, честности и прочих добродетелях, которые расточает «мужичку» автор заметок, не мешают ему считать русского крестьянина «не скажу зверем, но получеловеком», не способным отвечать за свои поступки. За ним нужен постоянный надзор, и этот надзор при нынешнем положении дел образцово осуществляет поместное дворянство. «Помещик, – пишет Дубельт, – самый надежный оплот государя. Никакое войско не заменит той бдительности, того влияния, какое помещик ежеминутно распространяет в своем имении. Уничтожь эту власть, народ наплет и нахлынет со временем на самого

царя» – вот ужасающая перспектива крестьянской реформы. В государственных интересах нужно стремиться к сохранению полной власти помещиков над крестьянами; «дело в том, чтобы эту власть не употреблять во зло, – ну, а это уже дело правительства».

Так несколькими крупными, отчетливыми мазками рисует Дубельт картину идеального государственного устройства, открывающего благонамеренному человеку неисчерпаемые возможности для счастливого житья-бытья. «Есть и у нас худое, – признает он, – без этого нельзя. Но уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно, в России. Это зависит от тебя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь нигде такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в царствии небесном».

Итак, склони голову перед существующим, покорись строгому, но справедливому порядку, знай свое место, не умствуй, не мечтай об ином – и ты обрешь истинное счастье! Этот призыв к благонамеренному россиянину не случаен: кому, как не Дубельту, специалисту-профессионалу по борьбе с инакомыслием, было знать истинную цену этой благонамеренности, в ней он видел поистине основу основ существующего порядка!

Недаром в заключение этой тирады Дубельт иронически замечал: «Такие рассуждения, конечно, нашим журналистам, нашим передовым людям, не по нутру...» Вот эти-то люди – изгой, оторванные от родной почвы, не связанные ни с каким сословием, – и были в глазах Дубельта единственным беспокойным, а следовательно, и опасным элементом в Российской империи, застывшей в своем благоденствии. В них, и только в них, видел он зловердную закваску «губительных перемен».

Все эти беспокойные «передовые люди», журналисты и им подобные, являются, по мнению Дубельта, «адскими плодами» ложного просвещения; от них же «разврат» может пойти по всей Руси. Пока положение прочно, пока незыблемо стоят самодержавие и крепостное право, их держать в узде

не так трудно. Но не дай бог «свободы» – зараза неизбежно перекинется на простой народ: начнет «мужичок» учиться грамоте, что в крепостной России ему, слава богу, не угрожает, и «станет развращать свои понятия чтением гадкой нынешней литературы: журналы собьют с толку...».

Впрочем, вся эта «гниль», по твердому убеждению Дубельта, наносная; она – зарубежного происхождения. Обличая «мерзкий Запад», автор заметок не стесняется в выражениях; обращаясь с «заветом» к своим сыновьям, он пишет: «Не заражайтесь бессмыслием Запада – эта гадкая помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям; они ни вас и никого другого к добру не приведут... Для нас одна Россия должна быть самобытна, одна Россия должна существовать; все иное есть только отношение к ней, мысль, приведение». Противостояние России и Запада должно быть полным и безусловным – в этом залог ее благополучия.

Идеи, подобные тем, которые высказывал в своих записках Дубельт, буквально носились в воздухе с первых дней правления Николая: их проповедовал молодому царю Карамзин, они пронизывали Манифест о восшествии на престол и другие официальные документы этого времени. Однако всего этого было недостаточно. После первого в истории страны революционного взрыва стало очевидно, что бороться с «духом времени» путем одних репрессий невозможно – вернее, под эти репрессии необходимо было подвести идейное обоснование. «Людям движения» необходимо было противопоставить идеологию, оправдывавшую застой. Разрозненные мысли и соображения консервативного характера для пользы «царского дела» следовало свести в цельную, стройную систему. Эту задачу в полной мере выполнил николаевский министр просвещения Сергей Семенович Уваров, сформулировавший в начале 1830-х годов теорию «официальной народности».

Уваров был, несомненно, человеком незаурядным, заметно выделявшимся в среде тех безгласных статистов, которыми привык окружать себя Николай. Он вполне мог оча-

ровать собеседника, произвести впечатление человека европейски образованного, талантливой и даже «благородно мыслящего». И все же, как показывает весь его жизненный путь, прежде всего Уваров был чиновником-бюрократом, использовавшим свои таланты во имя удовлетворения карьерных интересов.

Именно эти интересы и определяли деятельность Уварова на посту министра народного просвещения. Исходя из них, сформулировал он свою знаменитую теорию. Недаром хорошо знавший министра С. М. Соловьев видел в нем «умного, хитрого холопа», стремившегося «потрафить» барину-самодуру. Уваров, писал историк, «быстро уловил веяния времени и сумел сформулировать ряд четких, логичных внешне положений, которые вполне отвечали настроению императора».

В сущности, Уваров говорил о том же, о чем говорили и другие защитники устоев: о противостоянии самодержавной России и «гнилого» Запада, о необходимости для успеха в этой борьбе «укрепить отечество на твердых основаниях; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные остатки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения». Но в отличие от всех прочих Уваров сам эти «отличительные начала» четко определил и тем самым превратил общие рассуждения в стройную идеологию. По уваровской теории, русский народ обладал национальным характером, резко отличавшим его от народов европейских. Это отличие было порождено определяющим влиянием православной религии, в лоне которой русский человек получал свое духовное развитие. Если европейские народы, увлеченные желанием лучше обустроить свою земную жизнь, во имя этого бунтовали, свергали неугодных им правителей, меняли свое государственное устройство, то русский народ был и остался совершенно аполитичным. Он стремился к одному: приблизиться к высоким евангельским идеалам смирения, доброты, милосердия. Именно поэтому он раз и навсегда отдал свою судь-

бу в царские руки, избрав тот государственный строй, который вполне соответствует этим стремлениям: самодержавие, отечески опекающее россиян, взявшее на себя все тяготы управления страной. Так в одно неразрывное сплетались звенья этой идеологической системы, названной впоследствии теорией «официальной народности»: православие, самодержавие, народность.

Тот же С. М. Соловьев дал Уварову и его теории резкую, но во многом справедливую оценку: «Он (Уваров. – А. Л.) не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину – императору Николаю; он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, то есть слова: православие, самодержавие и народность; православие – будучи безбожником, не веруя в Христа даже по-протестантски; самодержавие – будучи либералом; народность – не прочтя в своей жизни ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки».

От подобной теории нельзя было ожидать научной глубины и основательности, зато она как нельзя лучше отвечала идеологическим задачам, вставшим перед самодержавием. Ведь с позиций «официальной народности» николаевская Россия являлась идеалом государства для всякого истинно русского человека. И напротив, всякий, кто начинал выражать свое недовольство, критиковать существующий порядок вещей, воспринимался как изгой, потерявший духовную связь со своим народом, попавший под «тлетворное влияние Запада». Таким образом, правящая бюрократия получала мощное идеологическое оружие в борьбе со своими противниками.

Безопасность

Теперь, имея на вооружении теорию Уварова, царь мог со спокойной совестью организовать борьбу с врагами самодержавия, а значит, и с врагами всего русского народа.

События 14 декабря ясно показали Николаю, насколько его предшественник запустил наряду со многим прочим и эту сферу государственной деятельности. Действительно, при Александре I существовало несколько секретных полиций, которые все работали примерно одинаково – одинаково плохо. К тому же взаимоотношения этих ведомств, занятых, по сути, одним и тем же делом, не были четко определены, что неизбежно приводило к взаимным склокам и страшной неразберихе. Профессиональный уровень подавляющего большинства сотрудников этих «секретных полиций», не говоря уже об их человеческих качествах, был ниже низкого. Полуголодные и невежественные агенты, набранные среди отбросов общества, думали только о своем прокорме; нередко они стряпали самые нелепые «политические» дела, шантажируя мирных обывателей – вечную дойную корову всех российских полиций. Совершенно очевидно, что система безопасности по всем статьям проигрывала своим противникам – декабристам. Даже предельно содержательные доносы провокатора Шервуда, подробно освещавшего деятельность Южного общества, не заставили верховную власть принять надлежащие меры. Новый царь надлежащие меры принял. Создание новой системы государственной безопасности – системы, грандиозной по своему размаху, разветвленной, всеохватывающей и в то же время в отличие от предшествующего периода строго централизованной – разворачивалось в двух направлениях. Прежде всего в 1826–1827 годах был сформирован корпус жандармов (с 1836 года – Отдельный корпус жандармов), составивший костяк системы. У этого военно-полицейского формирования имелись предшественники, которые и послужили для него исходным строительным материалом: в середине 1820-х годов в России было 59 различных жандармских частей. Одни из них действовали в войсках, обеспечивая порядок или собирая сведения о настроениях солдат и офицеров; другие несли полицейскую службу в столицах и губернских городах: ловили преступников, выбивали недоимки, подавляли народные волнения и пр.

Во главе жандармского корпуса стоял шеф жандармов, опиравшийся в своей деятельности на специальное Управление (впоследствии – Штаб). Ему непосредственно подчинялись генералы корпуса, стоявшие во главе округов, на которые была разделена вся Россия (сначала их было пять, к 1836 году – семь). В каждый губернский город назначался жандармский штаб-офицер (от майора до полковника), под началом которого находились специальные команды из обер-офицеров и рядовых чинов.

Одновременно с этой «явной» политической полицией создавалась и тайная полиция. 27 июля 1826 года начало свою деятельность III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. III отделение, функционировавшее «негласно», составило единое, точнее двуединое, целое с жандармскими органами в центре и на местах. Эта двуединая сущность новой системы подчеркивалась и тем, что начиная с 1826 года и вплоть до ликвидации III отделения в 1880 году шеф корпуса жандармов был в то же время и начальником III отделения.

III отделение быстро превратилось в настоящий мозговой центр новой системы государственной безопасности: сюда стекалась вся информация с мест, здесь разрабатывались операции по борьбе с «инакомыслием» и составлялись инструкции, координирующие деятельность жандармов в округах и губерниях. Именно III отделение придавало этой системе тот жутковатый колорит таинственности и вездесущности, который заставил А. И. Герцена характеризовать ее как «вооруженную инквизицию, полицейское масонство, имевшее во всех уголках империи, от Риги до Нерчинска, своих братьев слушающих и подслушивающих».

Функции новых органов, если судить по соответствующим «нормативным документам», поражают своей почти бескрайней широтой: жандармы должны были «наблюдать за общим мнением и народным духом»; следить за «подозрительными лицами»; обнаруживать тайные общества; разыскивать фальшивомонетчиков; контролировать деятельность государственного аппарата, выявляя злоупотребления

и неблагонадежность чиновников всех рангов; надзирать за «направлением, духом и действиями» различных религиозных сект, а также за деятельностью культурных и научных обществ; вести наблюдение за иностранцами, пребывающими в России, и ведать в случае необходимости их высылкой; разбирать жалобы, просьбы и прошения «по тяжёлым и семейным делам», поступавшие как на высочайшее имя, так и в само отделение; сверх того, «заниматься всеми вообще происшествиями в государстве» — пожарами, убийствами, народными волнениями и пр., — собирая о них информацию и составляя соответствующие «ведомости».

Таким образом, предполагалось, что новая политическая полиция будет осуществлять поистине всеобъемлющий надзор за народом и обществом. Делом первостепенной важности объявлялось всемерное укрепление самодержавного государства и православной церкви, с одной стороны, и беспощадная борьба с любыми попытками подорвать «основы основ» русской жизни — с другой. При этом «подрывная деятельность» понималась чрезвычайно широко: ее видели не только в идейной борьбе, в либеральных и атеистических «умствованиях», но и в служебных проступках, пренебрежении церковными обрядами, безнравственном поведении — в любых отступлениях от раз и навсегда определенных норм частной и общественной жизни. Жандармам приходилось принимать на себя массу обязанностей, как правило, политической полиции не свойственных: они должны были не только бороться с противниками существующего строя, но и брать под свою сурово-благожелательную опеку всех благонамеренных россиян, зорко следя за тем, чтобы эта благонамеренность нигде и ни в чем не давала сбою: чтобы чиновники не воровали, обыватели не спивались, мужья не изменяли женам, богатые не притесняли бедных, бедные не держали зла на богатых и т. д. и т. п.

Жандармам можно было жаловаться на произвол и несправедливость со стороны чиновников других ведомств, на их защиту предлагалось рассчитывать.

Рассказывали, что когда первый шеф жандармов А. Х. Бен-

кендорф попросил у Николая инструкцию, то царь протянул ему носовой платок, молвив при этом: «Вот тебе моя главная инструкция: чем больше слез ты оботрешь, тем больше буду тобой доволен». Собственно, каждый россиянин должен был привыкнуть к мысли, что у него за спиной постоянно присутствует некое подобие ангела-хранителя в голубом жандармском мундире, с розгой в одной руке и с вышеупомянутым платком – в другой. Обидят тебя – утешит, провинишься – пеняй на себя! На путь истинный тебя наставят такими средствами, что долго потом еще будешь почесываться.

В борьбе с «разрушителями устоев» жандармы действовали куда успешней, чем анекдотические полиции начала века. Те, кто пытался продолжить дело декабристов, бороться с властью революционными средствами, были в эту эпоху обречены на поражение. Но, как показало время, та главная цель, которую преследовал Николай I, создавая тайную полицию, – остановить с ее помощью всякое движение мысли, превратить теорию «официальной народности» в вечную непоколебимую формулу, – эта цель оказалась совершенно недостижимой.

То же можно сказать и о цензуре, которая при Николае I стала вторым столпом безопасности. В это время она приобрела небывалый ранее размах. На первый взгляд может показаться, что ее функции были несравнимо более скромными, чем у жандармского корпуса и III отделения: жандармы следили буквально за всем, а цензура – только за литературой. Но вспомним: именно литература представляла собой главную опасность; с точки зрения защитников устоев, через нее проникал в страну чуждый россиянам «дух инакомыслия», через нее «гниющий Запад» заражал своими миазмами мирных обывателей.

Уже в самом начале правления Николая I, в 1826 году, был принят цензурный устав, который современники прозвали «чугунным». Насколько этот устав ограничивал свободу печати, очевидно из содержания тех параграфов его, в которых накладывается запрет на рассуждения о внутриполитических вопросах: «Запрещается всякое произве-

дение словесности не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение. А потом цензоры, при рассматривании всякого рода произведений, обязаны всевозможнее обращать внимание, чтобы в них не вкрадывалось ничего могущего ослабить чувства преданности, верности и добровольного повиновения постановлениям высочайшей власти и законам отечественным. Запрещаются к печатанию всяких частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления, если предположения сии не одобрены еще правительством». В подобном же духе были выдержаны и другие параграфы, посвященные цензуре сведений и рассуждений о внешней политике, философии, истории и т.п.

В 1828 году «чугунный» устав был заменен другим, чуть более мягким, который ставил перед цензурой задачи быть «как бы таможенною, которая строго наблюдает, чтобы не были ввозимы товары запрещенные». Но и новый устав открывал перед цензурой возможности для самого свирепого произвола.

Деятельность цензуры в полной мере определялась установками теории «официальной народности»: цензоры должны были беспощадно изгонять из литературы все, что не укладывалось в ее предельно жесткие рамки. Неудивительно, что трудно было найти в те времена писателя, который не испытал бы на себе цензурных гонений. Многие замечательные произведения, такие как «Борис Годунов» А. С. Пушкина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова и другие, публиковались с многочисленными цензурными пропусками и искажениями; другие, подобно гениальному «Демону» М. Ю. Лермонтова, вообще не могли быть напечатаны. В 1830–1840-х годах за публикацию «крамольных» статей был закрыт целый ряд популярнейших журналов: «Европеец», «Московский телеграф», «Телескоп». Редакторам, авторам да и самим цензорам постоянно угрожали отсидка на гауптвахте, высылка из столицы под надзор полиции. Недаром у историков эти времена получили название «эпохи цензурного террора».

Однако следует иметь в виду, что и в этой сфере правительство далеко не всегда достигало поставленных целей. Чаще всего цензорами назначались исполнительные, но ограниченные и плохо образованные чиновники. Они моментально реагировали на «опасные», с их точки зрения, слова и выражения. Например, совет автора поваренной книги поставить только что испеченный пирог на «вольный дух» тут же вызывал вмешательство цензора. Был случай, когда цензор из совершенно безобидного описания путешествия в Сибирь решительно вычеркнул известие о том, что некоторые народы в тех краях ездят на собаках: ведь в православной Руси испокон веку все ездили на лошадях. Цензоров пугало и слишком сильное выражение любых чувств, кроме, конечно, верноподданнических. Так, например, знаменитый петербургский цензор Красовский, разбирая невинное лирическое стихотворение поэта Раича, особую пометку сделал против строк, в которых автор сообщал, что готов отдать любимой девушке душу, сердце и всего себя. «А что же останется Богу, царю и отечеству?» – вопрошал бдительный цензор.

Но в то же время, когда подобным чиновникам приходилось сталкиваться со сколько-нибудь сложными идеями и художественными образами, они нередко выглядели весьма беспомощными. В результате хоть и с потерями, но сквозь цензурные преграды прорывались и доходили до читателя такие яркие и в то же время резко критические по отношению к окружающей действительности произведения, как публицистика В. Г. Белинского, философские статьи А. И. Герцена, повести И. С. Тургенева и многое другое.

«Ремонтные работы»

Надо сказать, что Николай I был достаточно умным человеком и серьезным государственным деятелем, чтобы понимать, насколько реальное положение дел в России не соответствует теории «официальной народности» и бодрым отчетам

чиновников всех рангов. Характерно, что, беспощадно расправляясь с декабристами, Николай потребовал от секретаря следственной комиссии А. Д. Боровкова, чтобы тот составил для него свод мнений участников восстания о состоянии дел в России в конце царствования Александра I.

Подобный свод был представлен царю, причем Боровков проделал весьма серьезную и добросовестную работу. В этом своде хотя и в смягченной форме, но достаточно ясно было выражено критическое отношение декабристов к существующему положению вещей и намечена программа необходимых преобразований. «Надобно даровать ясные, положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами в кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно всякому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унижительную продажу людей». Свод серьезно заинтересовал Николая. Боровков вспоминал впоследствии, что председатель Государственного совета В. П. Кочубей сказал ему: «Государь император часто просматривает ваш любопытный свод и черпает из него много дельного; да и я часто к нему прибегаю».

Невозможность ограничиться одними репрессивными мерами в борьбе за сохранение самодержавного строя была очевидна для Николая. Волей-неволей приходилось размышлять о том, как с помощью частичных преобразований укрепить самодержавие, навести в нем порядок, изменить то, что уже безнадежно отжило. Беспощадно карая тех, кто настаивал на переменах, Николай по необходимости сам становился реформатором.

Впрочем, подавляющее большинство мер, принятых им в этом направлении, трудно назвать реформами. Они скорее напоминали ремонтные работы на ветхом, плохо держащемся на плаву судне. Как правило, речь шла все о том же пресловутом наведении порядка в государстве, серьезно запущенном в предыдущее царствование.

И прежде всего это касалось российского законодательства, о чем уже говорилось выше. Здесь действительно царил полный хаос: ведь последним упорядоченным Сводом законов Русского государства было Соборное уложение 1649 года. Огромная масса законодательного материала, накопившаяся с тех пор, нуждалась в выявлении, профессиональной обработке, сведении в одну систему – в кодификации. Исполнение этой задачи Николай I поставил под свой контроль: в 1826 году было создано II отделение императорской канцелярии, которое возглавил М. М. Сперанский.

Кодификация была проведена в короткий срок и на самом высоком профессиональном уровне. В 1830–1832 годах было издано 45 томов Полного собрания законов Российской империи (с 1649 по 1825 год); затем стали публиковаться тома с новыми законами, принятыми уже при Николае I. Все материалы в этом издании располагаются в строго хронологическом порядке. В 1833 году было опубликовано 15 томов Свода законов. Для этого издания огромная масса законодательного материала была тщательно обработана, систематизирована и расположена по тематическому принципу. Вся эта работа была, несомненно, выполнена добросовестно и с пользой. При этом она, однако, имела чисто технический характер и не внесла ничего нового ни в российское законодательство, ни в государственный строй, ни в принципы управления.

Еще более сложные проблемы существовали в начале правления Николая I в финансовой сфере. И здесь без слова «хаос» просто не обойтись. Многочисленные тяжелые войны, которые приходилось вести России в предыдущее царствование, вконец подорвали и государственное хозяйство страны, и систему денежного обращения. Большинство министров финансов при Александре I своими необдуманными мерами лишь усугубляли положение. Бюджет постоянно сводился с дефицитом: государственные расходы значительно превышали доходы; денежное обращение было подорвано выпуском огромного количества ничем не обеспеченных банкнот; государство находилось на грани банкротства.

Все эти беды сумел избыть Е. Ф. Канкрин, один из немногих серьезных государственных деятелей николаевского правления.

Канкрин обладал целым рядом несомненных достоинств: был умен, хорошо образован, чрезвычайно работоспособен и педантично добросовестен. Но, пожалуй, главное, что отличало его от прочих николаевских сановников, — Канкрин не только не боялся иметь собственные соображения по важнейшим финансовым и экономическим вопросам, но и упорно отстаивал их перед самим царем. Николай, в свою очередь, терпел строптивость Канкрина, хорошо понимая все значение его деятельности. Не случайно, возглавив Министерство финансов еще при Александре I, Канкрин занимал этот пост более двух десятилетий, почти до самой своей кончины (1821–1844).

Канкрин стремился выправить положение, не прибегая к повышению прямых налогов, которыми и так было излишне обременено население России. Вначале он навел режим самой строгой экономии, которому волей-неволей подчинились все министерства и ведомства. Затем Канкрин обратился к протекционизму: еще в 1822 году, в конце царствования Александра I, он добился значительного повышения таможенных пошлин на большинство промышленных изделий, ввозимых в Россию из-за рубежа. С помощью этой меры Канкрин рассчитывал защитить русскую промышленность от иностранной конкуренции и тем самым способствовать ее развитию.

В 1826 году по инициативе Канкрина в России была введена система винных откупов. До того продажа спиртных напитков, приносящая высокие доходы, являлась монополией государства. Но как показала практика, значительная часть вырученных средств расхищалась при этом чиновниками-казнокрадами. Теперь же частные лица стали откупать у казны право торговать спиртными напитками в различных губерниях. Доходы государства, таким образом, гарантировались. Правда, откупщики вели свою торговлю с невероятными злоупотреблениями, наживая за счет местного насе-

ления огромные капиталы. Однако, с точки зрения Канкринна, это было меньшим из зол: он рассчитывал, что капиталы, несправедливо нажитые частными лицами, вероятнее всего, будут вложены в торговлю или в промышленное производство. От средств же, расхищенных ворами-чиновниками, министр никакой пользы для государства не ждал.

Наиболее значительным достижением Канкринна явилось упорядочение денежного обращения. Бумажные деньги (ассигнации) постоянно падали в цене; в разных местах они шли по различному курсу; население все больше теряло к ним доверие. В то же время широкое хождение в России получили иностранные монеты — так называемые «ефимки» и «лобанчики». В таких условиях и государству, и частным лицам было чрезвычайно сложно вести расчеты, заключать торговые сделки и т.д. Накопив в казне достаточно средств, Канкрин в 1843 году заменил обесцененные ассигнации кредитными билетами, причем правительство взяло на себя обязательство размена этих билетов на серебро по первому требованию. Эта мера сыграла важную роль в некотором оживлении промышленности, и особенно торговли, в восстановлении кредитоспособности государства. Важно отметить, что эта реформа никоим образом не ущемляла интересы населения. Она проводилась за счет излишков денежных средств, накопленных в казне благодаря разумной и расчетливой политике Канкринна.

В целом деятельность Канкринна, так же как и другие меры подобного рода, принятые в царствование Николая I, не носили принципиального характера. Они помогали государству держаться на плаву, но не открывали перед ним никаких перспектив. Единственное, что могло помочь в этой ситуации, — это скорейшее решение крестьянского вопроса: отмена или хотя бы смягчение крепостного права.

Проблемы, порождавшиеся крепостной системой, явственно ощущались в Зимнем дворце. Помимо ухудшения экономического положения России Николая не могли не беспокоить и те волнения, которые возникали в связи с резким усилением эксплуатации крестьян помещиками. Неда-

ром шеф жандармов А. Х. Бенкендорф в одном из своих отчетов о положении дел в России назвал крепостное право «пороховым погребом под государством».

В то же время заявить прямо и открыто о необходимости если не отмены, то хотя бы смягчения крепостного права Николай не мог и не хотел. Во-первых, это неизбежно вызвало бы недовольство господствующего сословия – помещного дворянства, с которым власть, несмотря на всю свою мощь, ссориться опасалась. Во-вторых, не позволяли собственные идеологические установки: ведь в соответствии с теорией «официальной народности» Россия представляла из себя благоденствующую страну и ни в каких серьезных преобразованиях не нуждалась.

В результате могущественный самодержец вынужден был подготавливать свои реформы в этой важнейшей сфере тайно, скрываясь от посторонних глаз и ушей. Крестьянский вопрос разрабатывался в Секретных комитетах, которые в царствование Николая I сменяли один другой; всего их было создано десять. Подобный подход к делу – секретное обсуждение вопроса, от которого зависит судьба основной массы населения, – не мог дать серьезных результатов. Кроме того, исполнители царской воли – сановные бюрократы, заседавшие в этих комитетах, – были совершенно не заинтересованы в сколько-нибудь серьезных преобразованиях и неспособны к ним.

М. А. Корф, бывший членом очередного Секретного комитета, передает в «Записках» свой очень характерный разговор с одним из коллег, обеспокоенным сложностью крестьянского вопроса. «Как же быть? – тревожно спрашивал он. – Тронешь часть – ползет целое. Что же нам делать?» – «А не трогать ни части, ни целого, – отвечал Корф. – Так мы дальше протянем». Трудно более ярко выразить общее отношение николаевской бюрократии не только к отмене крепостного права, но и вообще к каким бы то ни было реформам. Неудивительно, что результаты деятельности Секретных комитетов были крайне незначительны.

Несколько смелее царь действовал в отношении «своих»,

то есть государственных, крестьян, чье положение в это время тоже было достаточно тяжелым. В 1837 году на базе одного из департаментов Министерства финансов создано было новое Министерство государственных имуществ, которое возглавил П. Д. Киселев — один из немногих деятелей николаевского времени, искренне стремившийся улучшить положение крестьян. В ходе реформы, проводимой этим министерством, было организовано частичное переселение крестьян из густонаселенных районов, увеличены земельные наделы, уменьшены подати, создана сеть медицинских и учебных заведений в деревнях и селах. При этом свою задачу Киселев и его сотрудники видели не только в том, чтобы упорядочить государственное хозяйство: улучшая положение государственных крестьян, они стремились «подать благой пример» помещичьему дворянству.

Однако даже эта самая серьезная мера николаевского царствования в крестьянском вопросе имела общий для всей правительственной политики этого времени недостаток: она проводилась чисто бюрократическими мерами и была связана с созданием обширного штата администрации, которая, опекая крестьянство, должна была существовать за его счет. Это значительно ослабляло положительные результаты реформы.

Один из приближенных Николая I, генерал-адъютант Н. А. Кутузов, в своей докладной записке писал по поводу образования нового министерства: «Из одного департамента Министерства финансов вдруг выросло три департамента, несколько канцелярий, полсотни палат, сотни окружных управлений. Подобное умножение чиновников во всяком государстве было бы вредно, но в России оно губило и губит империю... От этого умножения мест рождается и другое зло для успешного хода дел: бесконечная переписка (с учреждением Министерства государственных имуществ открылись три бумажные фабрики)... Огромность министерства требует огромных издержек, почему на расходы местных управлений собирается по два и более рубля с души. Этот налог и при хорошем состоянии кре-

стьян был бы тягостен, а теперь до невероятности обременителен».

Таким образом, попытки Николая I смягчить крепостное право, улучшить положение основной массы населения не увенчались успехом. Общий дух николаевского царствования, идеологические установки правящей бюрократии, методы, которыми она действовала, — все это делало невозможным последовательное решение крестьянского вопроса. А это означало лишь одно: серьезных перемен, которые позволили бы России выйти из состояния застоя, в это царствование не будет.

Предельная ясность в этом вопросе наступила в последние годы царствования Николая I, получившие впоследствии название «мрачного семилетия». Напуганный европейской революцией 1848–1849 годов, царь окончательно отказался даже от робких попыток что-то изменить в крепостной системе. Вся его поразительная энергия теперь окончательно и бесповоротно была направлена на меры охранительного характера. В эти годы Россия застыла в полной неподвижности.

Между тем во внешней политике все более явственно назревал военный конфликт с Европой, который должен был подвергнуть николаевский порядок самому серьезному испытанию.

Надвигалась Крымская война...

КРЕСТНАЯ НОША*

При всем увлекательном многообразии истории в ней всегда будут выделяться эпохи особые, имевшие из ряда вон выходящее значение для того или иного народа, региона, всего человечества. Замечательный историк Т. Н. Грановский справедливо писал о том, что и ученых, и дилетантов влекут «великие повороты, которыми начинаются новые круги развития»¹. В истории нашей страны любой желающий легко разделит эти эпохи-«перевороты» — основные вехи на ее тернистом пути. Становление государства, принятие христианства, нашествие татаро-монгол и так далее, вплоть до последней «перестройки» включительно.

Эпоха, в которой русский царь Александр II играл, безусловно, главную роль, занимает в этом ряду не только законное, но и, пожалуй, совершенно исключительное место. На мой взгляд, она вообще уникальна. В основе ее — грандиозная крестьянская реформа, в корне изменившая жизнь страны. Для того чтобы осознать все значение отмены крепостного права, нужно хорошо представить себе, какую из ряда вон выходящую роль сыграло оно в истории России. Ведь на протяжении четырех с половиной столетий все бытие нашей страны буквально нанизывалось на этот роковой стержень. Да и будучи сломленным, он долго давал о себе знать. Крепостничество оказалось живучим; оно долго коверкало русскую жизнь и после реформы 1861 года. Более того, мне кажется, что порой оно неожиданными судорогами проявляет себя и в наши времена — и на государственном уровне, и на бытовом, повседневном...

* Функционально очерк был написан как предисловие к книге Л. М. Ляшенко «Александр II»; однако, на мой взгляд, он имеет самостоятельное значение, и в контексте этого сборника ему отводится важная роль, поскольку именно здесь идет речь об одной из самых жизненно важных проблем русской истории — создании и ликвидации крепостной системы.

Корень зла

Если попытаться судить объективно и здраво – что нам, земнородным, дается с трудом, а в отношении нашего исторического прошлого, может быть, в особенности, – то трудно уйти от впечатления: крепостное право в той тяжелой форме, в какой оно сложилось в России, было неизбежным, так же как и неразрывно связанное с ним самодержавие. Во всяком случае, это была жестко определенная плата за будущее...

Ведь надо иметь в виду, что в результате татаро-монгольского нашествия Русь оказалась в положении гибельном, аналог которому нелегко найти в мировой истории. Потеряв свои наиболее плодородные и перспективные в хозяйственном отношении юго-западные и западные земли, захваченные Литвой, она была оттеснена в северо-восточный, медвежий угол Европы, на бесплодный суглинок, в дремучие леса и болота. Под стать почве у нас и климат – жесткий, резко континентальный, с суровой зимой и знойным, нередко засушливым летом; в отношении амплитуды колебаний средних температур зимы и лета Московскую Русь вообще не с чем сравнивать. На этих широтах условия для земледельческого хозяйства хуже только в Сибири – так там оно и не существовало вплоть до присоединения этого региона к России.

А ведь сама Русь только земледелием и держалась – при всей скудости его плодов. Никаких особых природных богатств на ее территории не было, дороги же к морям перекрыли соседи-враги. И на фоне этого хозяйственного неблагополучия – бесконечные феодальные усобицы, еще более его усугубившие. И главное горе – многовековое иго, сопряженное с регулярной выплатой дани: те немногочисленные излишки, которые давала русская земля, уходили в Орду; нередко же приходилось отдавать и самое необходимое, то, без чего сложно было выжить.

Обращаясь к этому тяжелейшему периоду в нашей истории, начавшемуся в XIII веке, поражаешься тому, что из подобной ямы вообще удалось выбраться... Хотя платить,

конечно, пришлось дорого. «...Россия, – писал Герцен, – была спасена; она стала сильной, великой – но какой ценой? Это самая несчастная, самая поработенная из стран земного шара; Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни»². Конечно же, на земном шаре были и остаются страны куда несчастнее, чем Россия, – простим автору этих строк публицистический перехлест, вспомнив, в частности, что написаны они в 1850 году. Ночь накануне рассвета, как известно, кажется особенно темной... Зато Герцен, пожалуй, впервые в русской литературе так четко и ясно определил цену, уплаченную Россией, за возможность двигаться вперед по своему историческому пути. Платить пришлось постепенным подчинением, причем с каждым веком все более безоговорочным, двум беспощадным деспотам-близнецам: самодержавию и крепостному праву.

Сейчас совершенно очевидно, насколько взаимосвязаны эти явления, как подпитывали они друг друга в процессе своего становления. Великокняжеская, а затем и царская власть, собрав воедино Северо-Восточную Русь, стремилась всеми силами обезопасить ее границы, расширить пределы, пробиться к морям... На все это нужны были силы, а также средства, на которые эти силы можно было содержать. Между тем звонкой монеты в казне постоянно не хватало; скудные земли, собранные под единой властью Москвы, не стали от этого богаче и плодородней. Зато теперь этих земель было много и постепенно становилось все больше; они, по меткому выражению В. О. Ключевского, надолго составили единственный реальный капитал московских князей.

Землю стали давать в обеспечение службы. Именно в обеспечение: получив из рук власти поместье, хозяин-помещик должен был служить с него «конно, людно и оружно» – то есть не только по первому требованию власти являться на службу, но и обзавестись за свой счет боевым конем и оружием, привести с собой определенное количество пеших ратников. При скудных урожаях, низких ценах на хлеб (земледелием занималась подавляющая часть населения, более или менее обеспечивавшая себя всем необходимым) и постоянных служебных отлучках хозяина – все это

было тяжким испытанием, не выдержав которое помещик неизбежно терял землю и выбывал из своего относительно привилегированного сословия. Чтобы избежать этого, ему волей-неволей приходилось выжимать максимум возможного из работавших на него земледельцев.

Между тем при обилии земель народу на Руси было относительно немного. Естественно, что свободные земли как магнитом притягивали тех, кому стало худо на обжитых. Ну а если кого пугала целина – южные, открытые кочевникам степи или заволжские лесные дебри, – те и на земле обетованной могли поискать лучшей доли, переходя от хозяина к хозяину, из дворянского поместья на боярскую вотчину. Как остроумно заметил С. М. Соловьев, земледельческая масса в те времена представляла собой «жидкое тело» – чем больше на нее давишь, тем скорее она утекает...

Многим, если не большинству помещиков, подобное положение дел грозило разорением и социальной гибелью. Естественно, они возопили, и столь же естественно, что власть эти вопли слышала. Не могла не услышать. Ведь она сама сознательно и целенаправленно создавала дворянское сословие как свою самую надежную военную и социальную опору и должна была заботиться о его хотя бы относительно благополучии. С конца XV века свобода земледельца в передвижении в поисках лучшей доли начинает ограничиваться и постепенно, шаг за шагом, сводится к нулю – знаменитое Соборное уложение 1649 года окончательно запрещает крестьянам переходить с места на место.

Крестьянский труд, таким образом, становится подневольным, что развязывает помещикам руки: «жидкое тело» структурируется, твердеет, теперь на него можно давить вплоть до полного разрушения. С другой стороны, проводя крепостнические меры, власть наводит необходимый для себя порядок на Руси, «дисциплинируя» основную массу населения, облегчая себе и полицейский контроль над ней, и сбор податей.

Еще раз отметим, что путь, по которому пошла Русь, представляется тяжелым, воистину тернистым, но – исторически оправданным. За счет крестьянской свободы было

создано государство, которое сумело справиться со всеми внешними врагами, невероятно раздвинуть свои пределы, пробиться к морям. Однако, заложив в основу этого величия подневольный труд основной массы собственного трудового населения, государство само приобретало все более деспотический характер, стремясь все сферы народной жизни подчинить своему контролю и руководству. И не было у него в этом деле помощника более надежного и верного, чем помещное дворянство. Получив от власти землю и даровую, по сути, рабочую силу, дворянское сословие безоговорочно поддерживало все ее самодержавные устремления. Опираясь именно на дворянство, последние Рюриковичи и первые Романовы не только успешно решали внешнеполитические проблемы, но и преодолевали сопротивление своенравного боярства, подавляли крестьянские волнения, диктовали свою волю городскому населению. Наконец, именно дворянство послужило главным рычагом Петру Великому в его грандиозных преобразованиях, ознаменовавших окончательную победу самодержавного строя в России.

Повторяю, во всем этом сложном, двуедином процессе нетрудно отыскать внутренний смысл; более того — он кажется настолько ясным, что возникает даже соблазн сказать: «Иначе нельзя...» Условия, в которые попала Русь, требовали максимального напряжения сил всего ее населения. И государственная власть, приняв на себя роль жестокого, нередко беспощадного организатора, сумела — таки их напрячь — до почти полного изнеможения, но зато, с государственной точки зрения, с блестящими результатами. И к тому же в этом диктате долгое время сохранялось некоторое подобие социальной справедливости. Да, понятие «государево тягло» стало одним из определяющих в русской жизни — но это тягло, в той или иной степени, тянули все сословия: и черный люд городов, и купечество, и даже боярство. А главными тяглецами, от которых в значительной степени зависели успех или неудачи в решении жизненно важных задач, стоявших перед страной, наряду с крестьянами-земледельцами, были те же помещики-дворяне. Только первые решали эти задачи за счет своего каторжного

труда на помещичьей земле, обеспечивая своих хозяев всем необходимым; вторые же — за счет службы, прежде всего военной. И была эта служба обязательной, постоянной и в высшей степени обременительной; проходила она в изнурительных походах и кровопролитных сражениях. Кто рискнет назвать легким это «тягло»...

Именно за счет крестьянского труда и дворянской службы прежде всего власть смогла вывести страну из медвежьего угла на мировой простор, сумела превратить ее в великую державу, богатую и сильную. В XVIII веке в ее распоряжении были уже и плодородные черноземные земли, и богатейшие залежи полезных ископаемых, и контроль над важнейшими торговыми путями. Ее голос на равных зазвучал в хоре тех, кто решал судьбы мира. Казалось, что теперь народ, на протяжении многих веков отдававший государству все возможное, вздохнет свободней.

Однако именно XVIII век, окончательно решивший многие жизненно важные вопросы государственного бытия в пользу России, стал временем наибольшей социальной несправедливости в ее истории. Именно в этом веке, продолжая максимально укреплять свои собственные позиции, власть, прежде всего в лице Екатерины II, осыпала благами лишь одно из двух определяющих сословий, причем в значительной степени за счет другого. Крестьянство же не только не получило ничего, но и потеряло то небольшое, что имело, вплотную приблизившись к положению быдла — рабочего скота.

В самом деле, дворянство в XVIII веке окончательно закрепляет за собой землю в собственность; а главное, такой же безоговорочной дворянской собственностью становятся и крепостные. Мы отмечали выше, что в прикреплении их к земле несомненно был определенный государственный смысл. Но ничто не могло оправдать превращение живых людей в штучный товар, предмет купли-продажи. Против этого протестовал даже сам русский язык, ведь если вдуматься, то от обычной фразы из диалога гоголевских героев, вполне порядочных представителей дворянского сословия дореформенной России: «А почем купили душу у Плюшкина?» — веет ду-

хом поистине сатанинским. Будто черные маги собрались и обсуждают богопротивное таинство – приобретение чужих душ... А чего стоит такое распространенное в то время определение крепостного крестьянина – то есть христианина, подобия Божия – как «крещеная собственность»...

И в то же время, по мере того как крепостное право становится все более всеобъемлющим и бесчеловечным, полностью подминая под себя земледельца, дворянское «тягло» по отношению к государству все легчает и, в конце концов, снимается вовсе. В 1762 году дворянство получает долгожданную свободу: Манифест о вольности дворянской снимает с плеч его представителей «тягло» обязательной службы, давая им самим возможность определить свою судьбу, выбрать свой жизненный путь.

Казалось бы, можно только порадоваться тому, что в XVIII веке на Руси, наконец, стали появляться относительно свободные люди. Но, как справедливо заметил в свое время В. О. Ключевский, подобными действиями государство в корне искажало саму идею «государева тягла», которое тянут все сословия во имя общего блага. В самом деле, раньше дворянам давали землю и прикрепляли к ней крестьян во исполнение обязательной и весьма обременительной службы государству. Теперь же служба становится необязательной – многие помещики после Манифеста 1762 года полностью посвящают себя хозяйственным делам, в то же время за нее начинают платить деньги, как правило, достаточные для обеспечения жизненных нужд служащих. Тем самым из государственной необходимости крепостное право превращается в систему привилегий, причем привилегий злостных, если вспомнить, что они покоились на рабском труде и искажении человеческого облика основной массы населения. И, кстати, все это было отлично понятно самому подневольному населению; когда пришла пора отмены крепостного права, крестьяне искренне рассчитывали получить волю наряду со всей, в том числе и барской, пахотной землей, исходя из того, что помещикам она ни к чему – «господа Государю служат, и он им за это жалование платит; с них и довольно...».

В то же время с XVIII века государство уже не только

опирается на крепостную систему – оно сливается с ней. Система государственного управления России, оформившаяся в общих чертах в правление Екатерины II, имела всего три административно-территориальных уровня. Первый – центр, столица, где находились высшие органы власти во главе с самим Императором. Второй – губерния, со своей столицей и местными органами власти под началом губернатора. И третий уровень – уездный, где главную роль играл капитан-исправник со своими помощниками – земскими заседателями. Дальше властная вертикаль продолжения не имела. Естественно, возникает вопрос, каким образом несколько человек могли сколько-нибудь упорядоченно осуществлять властные функции по отношению к населению целого уезда, в каждом из которых, по самому скромному счету, обитало десятка два тысяч человек?

Ответ на этот вопрос предельно четко дала сама власть устами внука Екатерины Николая I, заявившего как-то: «У меня сто тысяч даровых полицмейстеров», – что было совершенно справедливо. Столь же справедливо звучала бы подобная фраза и в отношении судей или податных чиновников, поскольку все эти государственные, по сути, функции в отношении крепостных крестьян – наведение и поддержание повседневного порядка, разбор спорных дел, сбор податей и прочее – осуществляли сами помещики. Официальные представители власти не более чем корректировали (и то, как правило, весьма условно) все эти процессы, появляясь в поместьях в исключительных случаях. Государственная система, таким образом, последовательно и органично переходила в крепостную, составляя с ней единое целое.

Таким образом, к началу XIX века крепостное право достигло своего апогея, а государство окончательно приобрело крепостнический характер. Вся эта чрезвычайно цельная, как видим, система к этому времени предельно упрочилась, разрослась, приобрела навыки в борьбе с недовольными, прежде всего с самим крестьянством. Этих «темных», разрозненных мужиков, не имевших ясного представления ни о стране, в которой они живут, ни о том, как ее сделать лучше,

власть беспощадно разгромила при подавлении пугачевщины, взяв их затем, в тесном сотрудничестве с помещиками, под самый жесткий, беспощадный контроль. Что же касалось «бунтовщиков хуже Пугачева» – тех немногих людей, кто считал себя истинно просвещенными и именно поэтому воспринимал крепостное право как зло, то час их славы был впереди... Пока же их можно было пересчитать по пальцам, и перед властным произволом они выглядели столь же беспомощными, как и крепостные. Сила же, противостоявшая им, казалась непреодолимой... Воистину «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй...»³.

Государственный интерес

В общем, крепостная система, неразрывно сросшаяся с государственной, в эпоху своего максимального развития – в конце XVIII – начале XIX века – производит впечатление монолита, жуткого своей цельностью, непоколебимостью... Каково было эту глыбу свернуть! Пресловутое сравнение с авгиевыми конюшнями выглядит здесь, пожалуй, слабым – Геракл всего-навсего очистил их от зловонных завалов; здесь же нужно было не просто уничтожить, а преобразовать – то, что преобразованию, казалось, никак не поддается.

Для того чтобы система крепостного права, представлявшаяся предельно устойчивой, сменилась другой, нужны были соответствующие условия. И они стали складываться постепенно, исподволь, именно в то время, когда крепостное право достигло своего апогея. Об этом стоит сказать несколько слов, поскольку вопрос о причинах отмены крепостного права, сложный сам по себе, был еще и сильно запутан в нашей исторической науке.

Еще в досоветские времена А. А. Корнилов, один из наиболее авторитетных исследователей крестьянской реформы, пожалуй, первым четко сформулировал свое понимание этих причин. С его точки зрения, крепостное хозяйство в первой половине XIX века постепенно начинало приносить меньше дохода, то есть становилось невыгодным. И,

во-вторых, крепостное право своей жестокостью побуждало крестьян к постоянным волнениям – то есть порождало постоянную опасность и для помещиков, и для государственной власти⁴.

Эти соображения были подхвачены советскими историками и развиты ими – без ссылок на Корнилова, – причем развиты по-марксистски, то есть предельно жестко и прямолинейно. Первый тезис – крепостное право невыгодно – прекрасно укладывался в русло привычных для марксизма рассуждений о необходимости соответствия производительных сил и производственных отношений. И в этих рассуждениях несомненно был смысл, поскольку крепостное право действительно все в большей степени превращалось в мощное препятствие на пути нормального хозяйственного развития России.

Дело в том, что крепостное хозяйство было стабильным и полностью себя оправдывало в тех условиях, когда носило натуральный характер, то есть воспроизводило то, что в нем и потреблялось. На протяжении долгого времени помещик требовал от крестьян, чтобы они кормили, поили и обеспечивали всем необходимым его и его семью. В амбарах должен был быть определенный запас хлеба, в леднике – битой птицы, в кладовой – солений и варений и тому подобное. И всего этого не требовалось слишком много (куда девать-то избыток? Перележит, испортится). Продать что-либо из сельскохозяйственной продукции было непросто – ее производили 90% населения России, обеспечивавшие себя всем необходимым.

В подобных условиях, когда требования помещика были ограничены самими условиями хозяйствования, уровень эксплуатации ими крепостных, как правило, имел какой-то разумный предел. В конце концов, нескольким десяткам или, тем более, нескольким сотням или тысячам человек содержать одно помещичье семейство было не так уж и накладно... Не случайно во второй половине XVIII века окончательно отлаживается господствующий в России тип крепостного хозяйства, в котором интересы барина и мужика-земледелльца были взаимно уравновешены. Часть своей зем-

ли помещик предоставлял своим крепостным в надел с тем, чтобы с этого надела они содержали себя, свои семьи, рабочий скот, имели приличный инвентарь. Кроме того, с надела крестьяне поставляли помещику натуральный оброк. Часть земли помещик оставлял для своей, барской запашки — ее на барщине обрабатывали те же крестьяне, используя свой скот и инвентарь. Помещичье и крестьянское хозяйства оказывались, таким образом, связаны в одно неразрывное целое — и помещичье благополучие в известной степени опиралось на относительное благополучие его крепостных. Помещик неизбежно должен был озаботиться тем, чтобы дать своим крестьянам, по мере возможности, наделы, достаточные для того, чтобы и сами земледельцы, и их скот, и инвентарь находились в приличном состоянии. И, соответственно, предоставить им время, необходимое для нормальной обработки этих наделов — то есть разумно ограничить барщину. Простая логика этой достаточно примитивной хозяйственной системы была доступна большинству нормальных хозяев-помещиков (хотя разнообразно невменяемых на этом пространстве тоже всегда хватало) и заставляла их держаться определенных пределов в эксплуатации своих крепостных. Тот же рабочий скот никто ведь не будет изнурять без особой надобности...

Однако именно с конца XVIII века подобная надобность появилась и стала проявлять себя все более ярко. Дело в том, что в это время в крепостном хозяйстве происходят серьезные перемены, порожденные общим ходом исторического развития страны. На огромном пространстве Российской империи складывается, наконец, единый внутренний рынок, потреблявший прежде всего сельскохозяйственную продукцию. Одновременно, в результате победоносных войн с Османской империей, Россия включает в свой состав плодородные южные территории, прорывается к Черному морю и начинает торговать той же сельскохозяйственной продукцией, прежде всего хлебом, с Европой. Таким образом, крепостное хозяйство теряет свой натуральный характер, становится товарным, прибыльным — точнее, может стать таковым. У основной массы поме-

щиков появляется реальная возможность получить со своего хозяйства деньги, которых, как известно, слишком много никогда не бывает...

Не случайно именно в это время возводятся замечательные усадьбы, задаются роскошные балы, заводятся из ряда вон выходящие крепостные театры и оркестры. Потребности помещного дворянства стремительно растут – и удовлетворяются они, естественно, единственно возможным образом: за счет крепостных. Барская запашка расширяется, пожирая крестьянские наделы; барщина увеличивается, пожирая крестьянское рабочее время. Мало того, помещики все в большей степени заставляют крепостных продавать часть своего, крестьянского урожая в пользу барина, настойчиво вводя денежный оброк наряду с натуральным.

Я думаю, что эффект бумеранга, производимый такой хозяйственной политикой, ясен читателю без дальнейших пространных рассуждений: увеличивая эксплуатацию крестьян сверх разумного предела, помещик подрывал крестьянское хозяйство, а заодно, неизбежно, и свое собственное. Но столь же ясен должен быть и другой вывод, столь же роковой для крепостной системы: соблюдая «разумный предел», в ее рамках невозможно было увеличить производительность своего хозяйства, придать ему товарный характер, добиться повышения прибыли...

Получался, таким образом, заколдованный круг. Заявленный выше марксистский тезис выглядит как будто совершенно справедливо – крепостное право действительно превращалось в препятствие на пути нормального развития хозяйства. Оно становится все более невыгодным – и прежде всего для самих помещиков. Остается только объяснить, почему основная масса помещиков так отчаянно, до последнего цеплялась за это невыгодное, застойное крепостное хозяйство, а после крестьянской реформы так горько оплакивало его крушение...

Ответ на этот вопрос лежит, очевидно, в области психологии, которая в марксистской историографии всегда играла роль падчерицы, причем крепко нелюбимой. Между тем общим местом в ней является то очевидное положение, что и

отдельные люди, и целые социальные группы и слои сплошь и рядом привычное и удобное (а второе, как правило, сливается с первым) решительно предпочитают разумному, выгодному, прогрессивному. В наших же широтах это положение справедливо, может быть, особенно... Для помещиков крепостное хозяйство было не просто привычным: оно на протяжении веков пронизывало их сознание, определяло их мировоззрение и бытовые привычки. Пристрастие к примитивной, не требующей особых умственных (а в XVIII – первой половине XIX века, пожалуй, и физических) усилий, хозяйственной системе вошло в их плоть и кровь. Конечно, она порождала все больше проблем, но жить с этими проблемами для подавляющего большинства помещиков было проще, чем решать их...

Тем более – что нужно иметь в виду – многим казалось: и проблем-то особых нет. Да, поприжали мужичка, выжимая из него сверх возможного, закрепив планку его эксплуатации на новой высоте. Ну, что же, придется ему, лежебоке, потрудиться... При полной и безоговорочной поддержке со стороны хорошо организованной власти помещики чувствовали себя в безопасности. Черные для них годы пугачевщины все больше воспринимались как призрак прошлого, как страшное предание. О будущем же по обычной русской беспечности большинство помещиков не задумывалось: на жизнь хватало – и слава богу!

А на жизнь, судя по всему, хватало. Даровая рабочая сила продолжала кормить и в изменившихся условиях. И не только кормить... М. Е. Салтыков-Щедрин на склоне лет, в 1880-х годах, вспоминая предреформенные времена, дал выразительную картину «пошехонского раздолья», возможного, наверное, только в эту эпоху. Не очень надежного, с постоянной головной болью о завтрашнем дне – и все-таки раздолья: относительно обеспеченной, сытой и пьяной жизни с массой специфических помещичьих удовольствий и развлечений, в основе которых были, как правило, насилие и издевательства над живыми людьми. И многими источниками, включая официальные документы, это общее ощущение, которое испытываешь, читая «Пошехонскую

старину», подтверждается: как будто в запустелую теплицу попал – гниль кругом, воздух затхлый, зато тепло и не дует... Бить же стекла, ради притока свежего воздуха, помещное дворянство не собиралось.

Теперь относительно второго интересующего нас тезиса: крепостное право становилось все более опасным... Он тоже был с восторгом подхвачен и развит в советской историографии – поскольку полностью соответствовал знаменитому ленинскому положению о том, что либеральные реформы могут быть лишь побочным результатом революционной борьбы. И с этим положением в ряде случаев невозможно не согласиться; в частности, оно выглядит совершенно справедливым для той эпохи, когда было сформулировано, – в конце XIX – начале XX века царская власть во главе с Николаем II шла на либеральные уступки, как правило, лишь под мощным нажимом революционного движения.

Однако как раз в отношении предреформенной эпохи тезис об «опасности» не работает совершенно. По одной простой причине: не было тогда проявлений недовольства сколько-нибудь серьезных, способных произвести на власть впечатление настолько сильное, чтобы заставить ее разрушить то, что, как казалось, составляет надежный фундамент русской жизни... Крестьянские волнения, конечно, бывали (когда их в царской России не было?). Но они носили разрозненный, эпизодический характер. Покойный П. А. Зайончковский, помнится, рассказывал, какие невероятные усилия употреблялись составителями советского многотомного издания «Крестьянское движение в России» по подбору соответствующего материала: известия о потравках барской запашки крестьянским скотом, об убиении нескольких помещичьих кур и пр. – все шло в ход. А все-таки количество этих «революционных актов» было относительно невелико и никак не желало переходить в нужное качество... При Николае I власть, как писалось выше, жестко и умело держала народные массы под своим контролем. Когда же по Руси прошел слух, что новый царь собирается дать волю – крестьянское движение вообще пошло на убыль.

Что же касается общества, то при Николае I, особенно в

последние годы его царствования, оно было полузадушено властью и никак не проявляло не только революционных, но и либеральных стремлений. Первый же приступ Александра II к отмене крепостного права поверг общество в состояние эйфории, не проходившей у большинства его представителей вплоть до 1861 года. Так что бояться вроде бы было некого...

Итак, господствующее сословие, обладавшее реальным влиянием на власть, отмены крепостного права не желало. Существующее положение вещей его вполне устраивало. Что же касалось тех, кого это положение не устраивало – умученных помещичьим игом крестьян и немногочисленных антикрепостнически настроенных общественных деятелей, – то они были явно не в силах оказать необходимое давление на власть, заставить ее пойти на уступки. Следовательно, власть пошла на грандиозные преобразования не потому, что захотела угодить помещикам, разочаровавшимся в крепостной системе, и не потому, что испугалась крестьян, эту систему ненавидевших. Следовательно, власть, прежде всего в лице ее главы Александра II, принимала решение самостоятельно, по доброй воле, исходя из высших соображений.

Соображения эти загадкой не являются. В свое время их четко сформулировал один из самых вдумчивых русских экономистов П. Б. Струве (тоже, кстати, бывший марксистом, но – «легальным», что означало, прежде всего, добросовестным). В своих статьях, посвященных крепостному хозяйству, Струве решительно отвергал все соображения о кризисе, более того, заявлял, что оно находилось «в цветущем состоянии» и накануне реформы (о чем, конечно, можно поспорить). Ликвидация крепостного права, писал Струве, явилось произвольным актом правительства, которое пошло на это из-за общегосударственных нужд, требовавших развития техники «во всех ее формах: форме техники промышленной и в особенности в форме техники транспортной и военной», а «всякий здравомыслящий человек должен был видеть, что строить в стране сеть железных дорог и поддерживать в ней крепостное право невозможно».

Эта точка зрения представляется нам совершенно спра-

ведливой. Только исходя из нее, можно понять, почему Николай I, официально провозгласивший курс на сохранение существующего порядка вещей – то есть самодержавия и крепостничества, – упорно, раз за разом, собирал секретные комитеты по крестьянскому вопросу, заставляя своих сановников, совершенно к этому не расположенных, обсуждать вопрос о смягчении крепостного права. И точно так же она объясняет, почему сын и наследник Николая I, консервативно настроенный и совершенно не соответствующий стереотипу «великого реформатора», так последовательно, преодолевая многочисленные препятствия, вел дело к крестьянской реформе – и сумел-таки ее провести, переломив крепостной стержень русской жизни.

Освободитель

Теперь, наконец, мы можем перейти к главному герою этой книги Л. М. Ляшенко – царю-Освободителю. Я надеюсь, что читатель согласится: все вышеизложенное позволяет говорить о жизненном подвиге этого человека. Одно только освобождение крестьян, не говоря уже о последующих реформах, заслуживает подобного определения. Ведь речь шла о том, чтобы в корне изменить русскую жизнь, как, наверное, не менял ее еще никто...

Любопытно и поучительно сравнить в этом отношении Александра II с другим великим преобразователем. Петр I – фигура несравненно более выразительная, чем герой этой книги, настолько, что многим подобное сравнение может показаться надуманным и неуместным. Избыток мощной, бьющей через край энергии, нестигаемая воля, последовательность и целеустремленность во всех своих действиях, умение подбирать себе сотрудников и заставлять их действовать с полной отдачей – все эти и многие другие черты Петра заставляют нас называть его Великим, и справедливо. Александр же, несомненно, лишен подобных замечательных черт и по сравнению с Петром выглядит человеком вполне заурядным.

Но попробуйте назвать великими Петровские реформы – не все сразу, а каждую по отдельности. По-моему, язык не повернется, если, конечно, в понятие «величие» мы вкладываем хоть сколько-нибудь возвышенный смысл, не ограничивая его исключительно широтой, размахом и количеством человеческих жертв... В самом деле – подушная перепись, окончательно закабалившая крестьян в их отношениях с государством и помещиками; распространение крепостных отношений на сферу мануфактурного производства; создание чиновной бюрократии, получившей под свое начало все население России; рекрутчина... Можно сколько угодно говорить при этом о необходимости, целесообразности, блестящих результатах всех этих мер с точки зрения государственной, – искренне восхищаться ими, по-моему, трудно; для этого надо полностью подавить в себе те свойства, которые так или иначе присущи, наверное, каждому из нас (или должны быть присущи): человечность, стремление к свободе, неприятие насилия... А вот реформы, проведенные Александром II: освобождение крестьян; создание органов местного самоуправления, гласный, независимый от бюрократии суд; всеобщая воинская повинность...

Петр, энергично и последовательно, максимально радикальными средствами проводил в жизнь традиционную политику последних Рюриковичей и первых Романовых: наводил порядок, подчинял регионы центру, выжимал все возможное из населения и т. д. Его политика действительно принесла грандиозные плоды, максимально укрепив государство, расширив его пределы, превратив в великую державу, – и платить за это пришлось свободой, еще более полной и безусловной мерой, чем при предшественниках Великого преобразователя. Тут с Герценом не поспоришь... Да и в дальнейшем преемники, при всех оговорках, от этой линии, в общем, не отступали, Александр же – отступил...

При всей непоследовательности проводимых им реформ, при всей сомнительности их конечных результатов Александр II, несомненно, назван Освободителем по заслугам. Более того, до недавнего времени ни один глава Российского государства, кроме него, не мог претендовать на этот ти-

тул. И пусть, с точки зрения самого Александра, достаточно консервативного, все это освобождение было в значительной степени делом вынужденным – что ж, тем выше его цена. Ведь как ни сложно воплощать свои заветные идеалы в жизнь, отказаться от них, ощущая, что жизнь властно требует чего-то иного, – согласитесь, в подобной позиции немало истинного величия. Конечно же, Александр II требует самого пристального внимания историков – и как государственный деятель, и как человек.

Тем более характерно, что до недавнего времени подобное внимание ему практически не уделялось. О реформах 1860-х годов написаны многие тома, о Реформаторе – почти ничего. Дореволюционные историки либерального лагеря – Г. А. Джаншиев, И. И. Иванюков, А. А. Корнилов и многие другие, уделявшие эпохе реформ самое пристальное внимание и посвятившие ей серьезные исследования, как правило, отдавали должное доброй воле Александра II, отмечали отсутствие у него ясного понимания дела и сильной воли и – переходили к характеристике самих реформ. Сколько-нибудь ясного представления о царе-реформаторе их работы не дают – так, силуэт без четких очертаний... Образ же Александра II, создававшийся советской историографией, – если здесь вообще можно говорить об образе, – напоминает негатив с либеральных работ: добрую волю у царя отняли безоговорочно и заменили ее заячьим испугом за свое царское положение, четкости же не прибавилось.

Определенные перемены в оценке Александра II стали происходить лишь в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Нельзя сказать, что отношение советских историков, марксистов по неизбежности, к Александру II и прочим самодержцам принципиально изменилось к лучшему. Но благодаря серьезной, целенаправленной работе П. А. Зайончковского и его последователей, а также историков ленинградской школы по введению в научный оборот массы новых источников, благодаря максимально добросовестному их использованию весь процесс подготовки и проведения в жизнь реформ 1860-х годов стал значительно яснее, детализированней. Неизбежно все больше выяснялась реальная роль

в этом великом деле и самого Александра II, и его ближайших сотрудников⁵.

И все-таки здесь, как правило, речь шла о фрагментах, эпизодах – сколько-нибудь цельного образа царя в советской историографии создано не было – да, очевидно, и не могло быть создано. При жестко постулированном марксистско-ленинском подходе к истории царь оказывался либо вроде как и не нужен, поскольку совершал лишь то, к чему неизбежно вел общий ход исторического процесса, либо, еще чаще, вреден, так как мешал совершиться тому, к чему неизбежно вел общий ход исторического процесса... Лишь в последние годы стали появляться сборники материалов, отдельные статьи и очерки, посвященные непосредственно Александру II⁶. Царю-реформатору, наконец, начинают воздавать должное; хотя – в полном соответствии с тем плюрализмом мнений, по поводу которого весьма справедливо выражает свою радость Л. М. Ляшенко, – в современных изданиях встречаются иногда и оценки, на мой взгляд, весьма удивительные⁷. В общем, победу здесь праздновать пока не приходится.

Следует отметить, что все вышеизложенное имеет отношение не только к Александру II, но и ко всем прочим самодержцам, за исключением, может быть, Петра I. «Революционер на троне», естественно, заслужил более пристальное внимание и более снисходительное отношение со стороны советских историков. Но среди этих *person non grata* были и такие, которые своими яркими чертами характера, выразительными, порой парадоксальными действиями как бы сопротивлялись схоластической, предельно объективизированной схеме исторического процесса и, разрушая ее, невольно выставлялись на первый план. Екатерина Великая, Александр I, Николай I – какая схема могла устоять перед ними?! О них приходилось писать с сугубо «классовых позиций», искажая или заведомо пристрастно оценивая их слова и поступки, предельно негативно оценивая их деятельность и все же, волей-неволей, воздавая им должное как историческим героям, окрашивая историческую эпоху в их цвета...

К тому же тут на помощь приходила еще и художествен-

ная литература – настоящая литература – позволявшая исподволь, незаметно скорректировать представление о том или ином монархе. Свидание Маши Мироновой с Екатериной, гениальный эскиз Александра I в «Войне и мире», незабываемые Николай и тот же Александр в лесковском «Левше» – да и еще мало ли что можно вспомнить. Совершенно разные по масштабу, идейной направленности, стилю эти и многие другие произведения очеловечивали самодержцев – тех, кто в исторических работах в лучшем случае производили впечатление более или менее прилично смонтированных чучел.

На месте же Александра II, при всех оговорках, зияла черная дыра – и в нашей историографии, и в нашей литературе, в том числе и классической. При всех своих несомненных достоинствах он не обладал ни той внутренней силой, ни той внешней яркостью, которые способны были оказать воздействие на историков марксистского профиля и заставить их пойти на уступки. Очевидно, по той же причине не попал он и на страницы сколько-нибудь значительных художественных произведений. Сколько я ни вспоминал – пришло на ум только несколько строк «Из воспоминаний рядового Иванова» Всеволода Гаршина, писателя, который, по лестной оценке одного из ведущих советских литературоведов (право, они стоили историков) Г. Бялого, заслужил «законное место в почетном ряду писателей-демократов» благодаря «страстному гуманизму... горячей любви к своей замученной родине» и «искреннему демократизму». Тем более не могу удержаться, чтобы не напомнить эти строки.

Речь в них идет о смотре, устроенном Александром II одному из полков, направляющихся на театр военных действий в годы Русско-турецкой войны, в ходе которой, по словам Г. Бялого, «царское правительство было меньше всего заинтересовано, чтобы освобождать угнетенные народы; оно стремилось утвердить свое влияние на Балканах и лицемерными фразами о сочувствии делу славянской свободы обмануть общественное мнение». Приведу изображение «страстным гуманистом» царя-«лицемера»: «И он знал, что мы готовы были умереть... Вокруг была пышная свита, но я

не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорившие что-то, должно быть приветствие тысячам молодых, погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло...».

Какая сила в настоящем, искреннем художественном слове! – да простит меня читатель за этот банальный, наверное, восторг. В извинение мне может, наверное, послужить то, что эти строки – так же, как и все, что писал Гаршин, – произвели на меня глубокое впечатление еще в юности; затем, конечно же, потускнели, ушли на край сознания: но вот не забылись же... И с тех пор меня уже было не обмануть. Учась в университете, читая то, что рекомендовалось, приобщаясь к той научной литературе, о которой речь шла выше, я уже не верил ходульным оценкам Александра II. Не мог поверить, потому что помнил гаршинские строки, помнил созданный им образ и знал, что царь был добр, человечен, что у него было чувство ответственности за свои дела – так же, как знал, что он не был сильным государем... Самое же главное, Гаршин породил ощущение сложности образа и, очевидно, сложности эпохи.

Об этих строках, несмотря на всю их исключительность, наверное, не стоило бы писать так много, если бы в книге Л. М. Ляшенко я не почувствовал тот же дух – не скрою, несколько неожиданно для себя самого. Я ни в коем случае не сравниваю уважаемого автора с Гаршиным – разные эпохи, разные задачи, разный слог, но, повторяю, дух в его книге витает тот же – дух серьезного, человеческого отношения к своему герою, дух искреннего сочувствия, без которого, очевидно, не может быть понят ни один человек, ни одно явление.

В этом, как мне представляется, главное достоинство книги Л. М. Ляшенко. Пожалуй, впервые в нашей литературе мы видим попытку – и попытку очень серьезную – дать

живой, полнокровный образ царя-реформатора, разобраться в его характере, мировоззрении, побудительных мотивах его действий, преодолевая при этом уже устоявшиеся и, как правило, злостные стереотипы, опровергая ходульные, чисто внешние оценки.

И в этом отношении первая часть книги, посвященная именно «частной» жизни Александра, — если у самодержца вообще может быть частная жизнь — представляется мне наиболее значимой. Можно спорить с отдельными соображениями автора, не соглашаться с некоторыми его выводами, но «царский образ» задан, он живет на страницах книги. И это несомненная и серьезная удача автора.

Более того, мне представляется, что этот образ в целом близок к реальному. За исключением некоторых — немногих — эпизодов, автор не льстит своему герою, а воздает ему должное. И, в сущности, свое впечатление от образа Александра II, развернуто и обстоятельно создаваемого Л. М. Ляшенко на страницах книги, я могу свести к тому, которое производят короткие строки Гаршина... Царь в изображении автора книги выглядит достойным человеком — добрым, искренним, обладавшим чувством ответственности за свое не легкое «царское дело», но не наделенным ни силой воли — так ярко выраженной у его отца, Николая I, ни из ряда вон выходящими способностями, которыми обладал его дядя Александр I. И тем не менее не они, талантливые и сильные, а именно этот, в общем-то, по-человечески достаточно заурядный Государь взвалил на себя непосильную ношу и, как мог, тащил ее до своего рокового конца. В этом, наверное, было его величие, и в этом, несомненно, была его трагедия. Мне представляется, что автор глубоко осознал всю сложность исторической ситуации эпохи реформ и сумел воспроизвести ее на страницах своей книги.

Несколько слов хотелось бы сказать о стержневой идее Л. М. Ляшенко, заявленной уже в подзаголовке, — идее царского одиночества, точнее, «трех одиночеств». Возможно, некоторым читателям эта идея автора, как видно, выношенная и дорогая ему, может показаться несколько надуманной. Во всяком случае, на мой взгляд, для этого есть опре-

деленные основания. Ведь соображение об экзистенциальном одиночестве любого смертного – это, пожалуй, по нынешним временам общее место. И жизненный путь Александра Николаевича как будто не является в этом отношении каким-то особым уникальным явлением, позволяющим сделать его основой всей биографии царя. Более того, обращаясь непосредственно к тексту книги, видишь, что он в этом отношении был, скорее, счастливцем – во всяком случае по сравнению с другими самодержцами. Он счастливо прожил начало жизни – у него были прекрасные учителя. Да и Николай в общем-то оказался хорошим отцом; попытки автора несколько драматизировать его отношения с сыном, по-моему, не очень убедительны. На разных этапах своего царствования Александру II удавалось найти дельных и умных сотрудников, умело решавших сложные проблемы, – таких как Я. И. Ростовцев или М. Т. Лорис-Медиков. Были в его окружении и люди в государственном отношении незаметные, но способные на искреннюю и преданную дружбу – например, Фредерикс. Ну и наконец, довольно значительная часть жизни царя прошла под знаком настоящей, искренней любви – редким явлением вообще, а уж в высших сферах представляющейся чем-то невероятным (кстати, страницы, на которых описан роман Александра Николаевича с Катенькой Долгорукой, мне кажутся очень удачными – по-моему, автор сумел найти правильный тон и, рассказав обо всем, проявил максимум такта).

И все же, при всех оговорках, обращение к теме одиночества в этой книге, я думаю, вполне оправданно. Правда, может быть, не стоило его – это царское одиночество – дробить, делить натрое... Мне кажется, что оно было как раз очень цельным и единым – грандиозное, глобальное, безысходное одиночество самодержца. Вот тут с автором, посвящающим этой теме многие прочувствованные страницы своей книги, не поспоришь. Действительно, на той вершине, где самодержавие воздвигло свой престол, было место только для одного... Предельно добросовестно относясь к своей миссии, воспринимая помазание на царство не как формальную проце-

дуру, а как таинство, совершая которое монарх брал на себя тяжкие обязательства за свой народ перед Богом, будучи при всех своих слабостях самодержцем по духу и по убеждениям, Александр был обречен на одиночество. И, наверное, не случайно, что единственным человеком, с которым он пытался это одиночество разделить, с которым был свободным и откровенным до конца, стала Катя Долгорукая – глупенькая, предельно далекая от понимания государственных дел, но любящая и преданная беспрдельно; ее Александр II, несомненно, воспринимал как часть самого себя.

Л. М. Ляшенко, сумев, на мой взгляд, создать живой и убедительный образ Реформатора, подробно освещает и сами реформы, анализируя весь ход их подготовки и проведения в жизнь. И здесь вполне можно спорить с автором о частностях; но нельзя, по-моему, не оценить его общую позицию, которая, как мне представляется, до сих пор не совсем обычна для нашей научной литературы. Ведь мы, в общем-то, привыкли представлять перед читателем в судейской мантии и выносить приговор своим героям и, как полагается при этой процедуре, стремимся сформулировать этот приговор предельно ясно, четко и однозначно. Для этого нам свыше, в духе нашей единственно верной идеологии, задавались определенные формулировки, как-то: «прогрессивный», «реакционный», «буржуазно-либеральный», «дворянско-помещичий» и т. п. Приговор выносился окончательный и обжалованию не подлежал – вплоть до очередного «колебания» и видоизменения самой передовой идеологии. Сейчас вроде бы идеология эта пала – но навыки остались и изживаются с большим трудом. Категоричность, безусловная убежденность в своей правоте по-прежнему являются характернейшей чертой постсоветской историографии. Переодеваться в штатское, очевидно, неохота, хотя суд давно уже – лет десять – законных полномочий лишен...

Л. М. Ляшенко от роли судьи отказывается, по-моему, совершенно сознательно. Зато он стремится – иногда это удается, когда в большей, когда в меньшей степени – показать всю сложность ситуации в России на роковом переломе, всю

предельную запутанность, порой, кажется, просто неразрешимость вставших перед Реформатором проблем.

Как, отменяя крепостное право, найти равнодействующую в соблюдении интересов помещиков и крестьян? Как, создавая местное самоуправление и свободный суд, совместить их с самодержавными устоями? Как, отказываясь от коренных устоев, сохранить в государстве порядок и стабильность? Для большинства наших историков ответы на эти, так же как и на все прочие, вопросы известны заранее. Меня всегда поражало, с какой детской простотой и непосредственностью решают важнейшие проблемы государственного бытия люди, нередко неспособные воспитать своих собственных детей, поддерживать нормальные отношения с близкими, работать в коллективе. В личной жизни все валится из рук, все сложно, все в тумане, а на бумаге – предельно четкие соображения о том, что нужно было сделать в 1809-м, как нужно было действовать в 1825-м, что недоучли в 1861-м...

Осторожность в конечных выводах, корректность и сдержанность характеристик, та позиция, которую я бы определил как добросовестное недоумение перед сложностью исторической ситуации, – все это мне кажется своевременным и плодотворным. Приветствуя в своей книге плюрализм в научной сфере, сам автор работает в его духе. Нам предстоит еще долго и мучительно осознать прошлое, которое всегда будет присутствовать в нашей современной жизни. Подниматься по лестнице исторического самосознания нелегко; я думаю, что книга Л. М. Ляшенко для многих станет надежной ступенькой на этом пути.

Примечания

¹ Лекции Т. Н. Грановского по истории Средневековья. М., 1961. С. 46.

² Герцен А. И. Собр. соч. Т. 3. М., 1975. С. 380.

³ Читатели, еще не забывшие школьной программы, узнают, конечно, строку из «Телемахида» В. К. Тредиаковского, так удачно использованную А. Н. Радищевым в качестве эпиграфа к своему «Путешествию из Петербурга в Москву».

⁴ Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 161—163.

⁵ Особо отметим исследование Л. Г. Захаровой «Самодержавие и отмена крепостного права в России». М., 1984.

⁶ На первом плане здесь, несомненно, работы Л. Г. Захаровой – ее статья об Александре II в сборнике «Российские самодержцы. 1801–1917 годы» (М., 1993) и подготовленные ею совместно с Л. И. Тютюнник интереснейшие публикации: «Переписка Александра II с великим князем Константином Николаевичем» (М., 1994) и «Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 г.» (М., 1999). Отметим также содержательный сборник «Александр II. Воспоминания. Дневники» (СПб., 1995), которому предпослана очень любопытная статья В. Г. Чернухи; само название ее – «Великий реформатор и великомученик» – свидетельствует о начавшейся переоценке ценностей.

⁷ Наряду со многим прочим здесь, несомненно, выделяется позиция Н. А. Троицкого, последовательного тираноборца, который трактует Александра II как «самого кровавого самодержца» за всю историю России. См.: Троицкий Н. А. Друзья народа или бесы// Родина. 1996. № 2.

КОНЕЦ РЕФОРМАТОРА

Катастрофа

В 1881 году первый весенний день пришелся на воскресенье. В Петербурге стояла ясная морозная погода. На центральных улицах города былолюдно; на Екатерининском же канале, в двух шагах от Невского, лишь изредка попадались случайные прохожие; здесь никто не жил, никто не вел торговлю, да и для прогулок эта часть канала представлялась не очень привлекательной: с одной стороны – решетка набережной, с другой – высокий забор, угрюмые казенные здания... Именно здесь метальщики «Народной воли» Рысаков и Гриневицкий перехватили царский выезд в этот день, вошедший в историю как день последней облавы на государя императора всея Руси Александра Николаевича...

Царская карета в окружении конвойных казаков показалась из-за угла в начале третьего; следом за ней – сани полицеймейстера. На крутом повороте с Инженерной улицы кучер с трудом сдержал лошадей, и они пошли шагом. Карета не успела еще набрать полный ход, как первый из метальщиков, Николай Рысаков, бросил под нее небольшой сверток. Раздался взрыв...

Царь с помощью полицеймейстера выбрался из поврежденного экипажа; он был цел и невредим... Около кареты лежал в беспамятстве контуженный взрывом казак; рядом бился и кричал от боли мальчик – случайный прохожий. Вокруг собралась толпа.

Царь подошел к Рысакову, схваченному сразу же после

взрыва, задал ему несколько вопросов, а затем снова направился к экипажу. И тут пришел черед второго металлурга, Гриневицкого...

Новый взрыв был страшен: он произошел среди окружавшей царя толпы, и эхом ему прозвучал вопль боли и ужаса. Дым, взметнувшиеся к небу комья снега, клочки обгоревшего платья – все это на несколько мгновений скрыло от глаз катастрофу... Когда же дым рассеялся, те, кто остался в живых, среди тел, лежавших на мостовой, увидели царя...

Александр сидел, откинувшись назад, прислонясь спиной к решетке канала; обеими руками он упирался в панель. Шинель с царя сорвало взрывом, от нее остались лишь обгорелые, окровавленные клочья. Александр тяжело дышал. Ноги его, обнаженные выше колен, были раздроблены, мясо висело на них кусками, струилась кровь... Полицмейстер, оглушенный взрывом, с трудом поднимаясь на ноги, услышал тихое: «Помоги». Бросился к царю. Александра окружили; кто-то подал царю платок, которым он закрыл искаженное от боли лицо... «Холодно, холодно...» – шептал царь.

Пока Александра несли к саням, он оставался в сознании; когда кто-то из окружающих предложил перенести царя в один из ближайших домов, у него еще хватило сил приказать: «Во дворец... Там – умереть...» Это были последние слова Александра.

Царь еще дышал, когда его привезли в Зимний. Врачам удалось остановить кровотечение из артерий, но изуродованный, обескровленный царь был заведомо обречен: «Конечностей левой стопы совсем не было, обе берцовые кости до колен раздроблены, мягкие части, мускулы и связки изорваны и представляли бесформенную массу, выше колен до половины бедра несколько ран...» Через час с небольшим после взрыва на Екатерининском канале царь скончался.

Тернистый путь

А как прекрасно начиналось это царствование! Вступив на престол в тяжелейшее для России время, Александр, казалось, сумел вывести страну из застоя на единственно верный путь реформ. Это было тем более замечательно, что новый царь не имел ни способностей, ни склонностей к серьезным преобразованиям. Он не обладал ни глубоким умом, ни сильным характером; его политические воззрения целиком и полностью укладывались в узкие рамки официальной идеологии, провозглашавшей самодержавно-крепостнический строй единственно возможным для России. Будучи наследником престола, он искренне преклонялся перед отцом – императором Николаем, который все силы своей незаурядной натуры вкладывал в укрепление «устоев».

Но даже Николай, этот замечательный в своем роде человек, никогда не знавший сомнений, вынужден был в конце концов признать очевидное: бескомпромиссная борьба, которую он вел на протяжении всего своего царствования против «губительного духа перемен», привела Россию к развалу. Крымская война подвела печальный итог его тридцатилетнему правлению: техническая отсталость армии и флота, совершенно фантастическое казнокрадство, немощь бюрократических структур – все эти и многие другие пороки, скрытые раньше под покровом лжи и словословий, вышли теперь наружу. Николай умер, сломленный сознанием тщетности всех усилий; умер, успев сказать наследнику: «Сдаю тебе команду не в полном порядке...» Порядок предстояло наводить Александру...

Для того чтобы разобраться в происходящем и найти пути выхода из жестокого кризиса, новому царю прежде всего нужно было вырваться из тесноты и духоты собственного мировоззрения, возводившего неподвижность в идеал. Ему предстояло совершить этот духовный подвиг,

не имея к тому никакой подготовки, без всякой поддержки со стороны: в окружении Александра, унаследованном им от батюшки, невозможно было отыскать мудрых сановников-реформаторов. И тем не менее этот флегматичный, казавшийся многим недалеким человек сумел на какое-то время преодолеть себя, сумел осознать всю опасность создавшегося положения и разобраться в его причинах. Знаменитая речь, произнесенная Александром в марте 1856 года в Москве перед предводителями дворянства, несомненно, стоила царю не одной бессонной ночи. Главе верховной власти нужно было передумать и перечувствовать многое, прежде чем заявить во всеуслышание: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока его отменят снизу».

У Александра хватило сил и для того, чтобы от слов перейти к делу. В 1861 году в значительной степени благодаря его последовательности был устранен корень всех зол, терзавших Россию, — многовековое крепостное право, затем подготовлен и проведен целый комплекс реформ: судебная, земская и многие другие, открывавшие путь к созданию нового, более прогрессивного государственного устройства. Казалось, Россия выбирается из полосы длительного застоя и готова семимильными шагами устремиться вперед, в будущее...

Но великие реформы требуют великих сил — и физических, и духовных. Их не было у Александра. Как и многие слабые люди, он ждал от своих действий немедленных благодетельных результатов. Между тем преобразования порождали массу новых проблем, которые, в свою очередь, требовали радикальных решений. Так, крестьянская реформа, при проведении которой власть всеми силами стремилась соблюсти интересы помещиков, подорвала-таки достаток и благополучие «благородного сословия», предопределив в то же время обнищание значительной массы крестьянства; новые учреждения, созданные судебной, земской, городской реформами, никак не вписывались в

старый административно-бюрократический строй, вызывая у его представителей явное недовольство.

Путь реформ, на который так решительно вступил в начале своего царствования Александр, оказался воистину тернистым. Но, как выяснилось, свернуть в сторону — означало вообще потерять тропу под ногами. А что может быть страшнее российского бездорожья с его лесами дремучими, песками зыбучими, тревожным вороньим граем да болотными огнями, манящими в самую топь...

«Отщепенцы»

По мере отказа от последовательных преобразований страны высшая бюрократия во главе с самим царем начала ощущать глухую, постоянно растущую угрозу и тому неустойчивому, парадоксальному государственно-му порядку, который возник в России в результате ее противоречивой политики, и своим собственным покоем и безопасностью. Угроза эта исходила не от разрозненных крестьянских волнений, стихийно возникавших в стране в первые пореформенные годы, — с ними справились без особого труда и надолго. Не могла всерьез пугать могущественную бюрократию и либеральная оппозиция, сложившаяся в это время в России. Ее представители так или иначе вписывались в существующую систему, подчиняясь закону, даже если считали его несправедливым, и действовали в рамках дозволенного. Власть же все больше пугали люди, которые не хотели признавать вообще никаких рамок.

В 1866 году в Петербурге вышла книга с характерным названием «Отщепенцы», которая явилась своего рода воплощением этой отчужденности. Ее авторы, известные радикальные публицисты Н. В. Соколов и В. А. Зайцев, писали: «Есть люди, поклявшиеся жить свободно... Они не хотели смешаться с толпою и взять в жизни номер. По-

шлость рутинной п р а к т и ч е с к о й жизни была им невыносима: они не могли долго терпеть ее, расходились с обществом и отрешались от него... Я называю их «отщепенцами».

...Отщепенцы – спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проживают свою жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий, проповедуя великую республику, блаженное социальное устройство, личную свободу, гражданскую солидарность, экономическую правду.

Отщепенцы – беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь знамя...

Отщепенцы – все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться общей доле...»

Вся эта книга была, по сути, компиляцией из работ европейских мыслителей и публицистов: в частности, вышеприведенные строки заимствованы авторами из памфлета французского радикала Ж. Валлеса. Но именно у русского интеллигентного читателя они должны были вызвать особенно сильные чувства. Ведь в этих строках сжато и ясно формулировалось то, что ему, читателю радикальной публицистики, на протяжении целого десятилетия внушали «властители дум» – сначала Чернышевский, затем Писарев, чуть позже Бакунин, Лавров, Ткачев; внушали как идеал, более того, как единственно честный, единственно праведный образ жизни. Не идти на компромиссы, не сотрудничать с властью, не входить в систему обыденных служебных и бытовых отношений, не преобразовывать существующее путем повседневной «рутинной» деятельности, а б и т ь его насмерть, разрушать беспощадно во имя светлого будущего: «блаженного социального устройства, личной свободы, гражданской солидарности» и прочее и прочее...

Тот же В. А. Зайцев прекрасно сформулировал главный

принцип «новой нравственности», исповедуемой «отщепенцами»: «Провозгласим нетерпимость!» Наверное, «отщепенцы» – явление закономерное для самых разных времен и народов, более того, необходимое, как нечто сверхординальное, будоражащее мысли и чувства, не дающее закоснеть в ленивой неподвижности. Но не дай Бог «отщепенцам» из исключения превратиться в правило, стать определяющей силой... Нечто подобное и произошло в пореформенной России, придав неизъяснимо трагический характер и ее истории в целом, и судьбам самой интеллигенции. В перспективе у «отщепенцев» было глухое подполье, террор, убийство царя-Освободителя – отчаянная, беспощадная и бесплодная по сути борьба.

Противостояние

Противостояние власти и «отщепенцев» возникло сразу же после отмены крепостного права. Возмущение массовыми экзекуциями при подавлении крестьянских волнений, возникших при проведении крестьянской реформы в жизнь, настоящий шок, вызванный полицейскими репрессиями против студентов во время беспорядков в Петербургском и особенно Московском университетах, – эти тяжелые чувства, испытанные интеллигенцией в начале 1860-х, очень быстро заставили ее наиболее радикальных представителей забыть о всех надеждах, возлагавшихся на Александра и его сановников. С лета 1861 года в интеллигентской среде возникают кружки, готовые к нелегальной деятельности; в столицах начинают распространяться прокламации, содержащие самую резкую критику власти и призывы передать дело преобразования страны в руки «общественности»; в конце 1861 года появляется «Земля и воля» – первая революционная организация пореформенной России. И хотя она никакими серьезными действиями себя не проявила, начало революционализа-

ции «образованного меньшинства» было положено: «отщепенцы» ушли в подполье – началась необъявленная война...

В 1860-х годах русское «отщепенство» пережило очень яркий и выразительный, хотя и несколько сумбурный, период революционного самоопределения. На этом пути «беспокойным людям» пришлось миновать немало крутых поворотов и глухих тупиков. Им суждено было пройти через «все отрицающий» и все разрушающий нигилизм; из их лагеря 4 апреля 1866 года раздался первый выстрел в царя, тогда ужаснувший многих. Именно по поводу покушения Дмитрия Каракозова Герцен писал: «Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». В их среде вырос и сформировался С. Г. Нечаев – человек, готовый «освободить» Россию любыми средствами, вплоть до массовых убийств, поджогов и пьяных бунтов... Но к началу 1870-х годов все это было пережито и, казалось, изжито бесповоротно; революционное движение в России постепенно обрело цельность, стройность, ясное сознание целей и вполне конкретную программу действий. Выстраданное в тяжелых умственных и душевных муках народничество стало идеологией подавляющего большинства революционно настроенных «отщепенцев».

Не вдаваясь в подробный разбор этого ярчайшего явления истории общества, отмечу только, что при всех своих ошибках и иллюзиях, заставлявших видеть в черной крестьянской избе прообраз завещанного Чернышевским «алюминиевого дворца с мраморными колоннами», народничество было движением потенциально здоровым и в самом себе содержало возможность выбраться из рокового подполья: искреннее стремление опираться на народ, жить его интересами, прежде всего улучшить его положение – все это, казалось бы, должно было привести к решительной переоценке ценностей. И в самом деле, сокрушительные неудачи хождения в на-

род 1874 года с призывами к немедленному восстанию, а затем, в середине 1870-х, к «перманентной» революционной пропаганде заставили народников всерьез задуматься о том, что нужно в действительности возлюбленному ими крестьянству. Но в поддержку их революционных устремлений выступила... власть.

Посеешь ветер

В самом деле переустройства России власть все больше и больше внимания обращала на совершенствование охранительных органов. Уже в 1862 году были реорганизованы обветшавшие структуры «явной» полиции, в 1867 – аналогичная операция проведена и с органами политического сыска: в губернских городах образовывались губернские полицейские управления и жандармские наблюдательные пункты. На службу полицейскому надзору были поставлены и новорожденные органы управления пореформенного крестьянства: сельским старостам, сотским и десятским вменялись в обязанность шпионство и доносы – и на своих односельчан и, прежде всего, на «посторонних», то есть на образованных людей, по тем или иным причинам появлявшихся в деревне. А в городе те же обязанности были вменены дворникам... Паутина политического надзора в «освобожденной» России стала куда более частой, чем в суровые николаевские времена.

Отлавливая «потрясателей основ», власть затем судила их, и был тот суд иногда скорый, нередко – затяжной, но почти всегда – неправый и немилостивый... Судебные уставы 1864 года, в которых были заложены самые прогрессивные и демократические принципы – полная гласность судопроизводства, несменяемость – а значит, независимость – следователей и судей, институты адвокатуры и присяжных заседателей, состязательность судебного процесса, – казалось бы, должны были умерять произ-

вол власти. Не тут-то было... Как только к тому представлялся повод, власть с поразительной легкостью стала нарушать ею же введенные законы.

С 1871 года расследование политических дел перешло из рук следователей к жандармам; рассмотрение же этих дел, как правило, стало производиться не в суде присяжных, а в специально создаваемых судилищах, основным из которых с 1871 года стало так называемое Особое Присутствие Правительствующего Сената (ОППС). Именно через ОППС прошли знаменитые «массовые» процессы, связанные с народнической пропагандой, – процессы «пятдесяти», «ста девяноста трех»; именно ему в речи подсудимого Ипполита Мышкина была дана убийственная и во многом справедливая характеристика, которая ставила ОППС ниже дома терпимости: «Там женщины из-за нужды торгуют своим телом, здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью»...

В середине 1870-х годов смертные приговоры еще не практиковались, но общий дух политических процессов был таков, что из всех возможных мер наказания подсудимые почти всегда приговаривались к наиболее жестокому.

Распространена была так называемая административная ссылка. Хотя опять-таки из контекста судебных уставов следовало, что все политические дела должны решаться только по суду, на практике выходило иное: с 1871 года жандармские и полицейские офицеры на местах получили право не только арестовывать подозреваемых в совершении преступлений против власти, но и определять любому из них в качестве исправительной меры ссылку в места, весьма отдаленные... Для осуществления этой меры на практике нужно было, правда, испросить через «особое содействие» министра юстиции и шефа жандармов «высочайшее соизволение», то есть согласие царя, которое, как правило, давалось почти автоматически.

Поначалу бессудной ссылке подвергались десятки, затем сотни, а к концу 1870-х, по некоторым данным, счет пошел уже на тысячи. В административную ссылку обычно шли те, кого вообще невозможно было отдать под суд за отсутствием каких бы то ни было доказательств вины; в эту ссылку попадали по анонимным доносам, по ничем не обоснованным указаниям власть имущих – за неосторожно сказанное слово, за строптивый характер и просто «подозрительное» поведение. Нередко этой мерой «исправляли» судебные приговоры: так, из 90 человек, оправданных по процессу ста девятинаста трех, 80 были тут же высланы административным порядком. Надо ли говорить, что подобная политика вызывала соответствующую реакцию среди тех, против кого она была направлена.

Террор

«Отщепенцы» взялись за оружие... В январе 1878 года Вера Засулич в Петербурге стреляла в градоначальника Трепова, подвергнувшего телесному наказанию политического заключенного; в феврале в Киеве совершено неудачное покушение на товарища прокурора Котляревского; в мае убит глава Одесского жандармского управления Гейкинг. Борьба явно вступала в новую фазу.

Характерно, что не только сами революционеры, но и значительная часть общества восприняла эти первые, единичные террористические акты как справедливое возмездие наиболее ретивым исполнителям карательных «предначертаний власти». В столице после покушения на Трепова в ходу было такое четверостишие:

Грянул выстрел-отомститель,
Опустился Божий бич –
И упал градоправитель,
Как подстреленная дичь.

Присяжные же, суду которых в качестве редкого исключения было доверено дело Засулич, оправдали подсудимую по всем пунктам, то есть публично одобрили стрельбу по градоначальнику.

Чем-то вроде «бича Божия» считал себя, очевидно, Сергей Кравчинский, который в августе того же года, через день после казни народника Ковальского, заколол кинжалом шефа жандармов Мезенцева – среди бела дня, в самом центре Петербурга, на многолюдной площади перед Михайловским дворцом. Брошюра, написанная им в обоснование убийства, так и называлась: «Смерть за смерть».

«Террор созрел в долгие годы бесправия» – это замечание В. Г. Короленко как нельзя лучше определяет главную причину тех страшных кровавых событий, которые потрясли Россию на рубеже 1870–1880-х годов.

2 апреля 1879 года горькую чашу смертного ужаса пришлось испытать самому царю: этот уже пожилой человек вынужден был несколько долгих минут бежать по Дворцовой площади, подобно зайцу бросаясь из стороны в сторону, чтобы уберечься от пули, – за ним, стреляя на ходу, гнался террорист... Из пяти выстрелов, произведенных Александром Соловьевым, ни один не попал в цель; пострадала лишь царская шинель. Но каково было это пережить! А самое главное – как теперь было жить дальше? Как управлять Россией?

Первые террористические акты застали власть врасплох. С грехом пополам справляясь с идеалистами, бродившими по деревням в поисках мифического мужика – «революционера по преимуществу», охранительные органы дрогнули при столкновении с противником, готовым отвечать на удар ударом. Всеподданнейший доклад премника убитого Мезенцева, генерала Селиверстова, где должны были быть предложены конкретные меры по борьбе с террористами, звучал как вопль отчаяния. Оказывалось, что органы политического сыска, еще недавно казав-

шиеся всемогущими, ничего не знают о тех, кто выступил против власти с оружием в руках, и, более того, узнать почти не надеются. Полную неосведомленность в делах и планах подполья Селиверстов оправдывал ссылкой на авторитетное мнение своего заместителя, начальника III отделения Шульца, утверждавшего, что «агентов-сыщиков и вообще агентов в России невозможно найти»... Все, что мог предложить генерал, — это меры, так сказать, тотального характера: слежку за всеми приезжающими в Петербург и выезжающими из одного, опросы всех столичных дворников о подозрительных лицах, повальные обыски и аресты этих подозрительных.

И хотя очевидно было, что подобным образом бороться с индивидуальным террором столь же разумно, как рыбацкой сетью ловить змей в поле, власть в конце концов пошла именно по этому пути, очень быстро добравшись до чрезвычайного положения. 5 апреля 1879 года, через три дня после покушения Соловьева, в царском указе правительствующему сенату было заявлено о необходимости «прибегнуть к исключительным мерам»: Россия в своей европейской части расчленялась на шесть временных генерал-губернаторств; лица, стоявшие во главе их, получали совершенно небывалые и невозможные в цивилизованном государстве полномочия; в полную зависимость от них попадали местные учреждения, учебные заведения, почта, телеграф — словом, в с е, а главное — личное достоинство, свобода и даже жизнь местных обывателей, поскольку генерал-губернатор мог любого из них своей властью не только засадить на неопределенный срок в кутузку, но и предать военному суду, от которого пощады ждать не приходилось.

Все эти действия власти производили жуткое впечатление. Сеть «исключительных мер» захватывала огромную массу случайных людей и среди них лишь очень немногих деятелей, действительно прикосновенных к подполью. В результате генерал-губернаторские подвиги ожесточили

все общество в целом, а красный террор тем временем обретал свою идеологию и организационные формы, становился все более серьезной силой.

Во второй половине июня 1879 года в одной из рощ на окраине Воронежа собрались члены «Земли и воли» – новой организации со старым названием, созданной народниками в 1877 году с целью объединить разрозненные силы подполья. Вопрос о причинах постоянных неудач их настойчивой пропагандистской деятельности в деревне был, несомненно, главным, определяющим для землевольцев. И вот на съезде впервые со всей очевидностью выяснилось, что многие лидеры подполья решили для себя этот вопрос безоговорочно: нужен террор.

Ход рассуждений тех, кто требовал перейти к новым формам борьбы, был ясен и по-своему логичен. Прежде всего, вести широкую социалистическую пропаганду, необходимо добиться принципиальных перемен в государственном строе России, «дотянуть» страну до конституции, оттеснив от власти бюрократов. При этом, поскольку в массах «отщепенцы» никакой поддержки так и не нашли, им приходилось рассчитывать только на самих себя. Единственное же действительно радикальное средство, с помощью которого несколько десятков человек могут нанести поражение мощному бюрократическому аппарату, – террор. Из средства самозащиты террор превращался в главное орудие борьбы.

При всем том у сторонников борьбы за политические преобразования оказалось немало оппонентов, самым энергичным из которых был Г. В. Плеханов. Никакие конституции, по их мнению, не могли улучшить бедственного продолжения народных масс; террор же лишь отвлекал от главного дела – подготовки крестьянской революции. Споры между «деревенщиками» и «политиками»-террористами изначально были резкими и по сути непримиримыми. Правда, в Воронеже путем взаимных уступок удалось до-

стичь компромисса, но это был худой мир; не прошло и двух месяцев, как противники перешли к доброй ссоре – «Земля и воля» распалась на две самостоятельные организации. Одна из них – «Черный передел» – так незаметно и сошла на нет, лишний раз доказав своими неудачами, что у революционной пропаганды в деревне нет перспектив; зато другая – террористическая «Народная воля» – оставила по себе долгую память.

Великая паника

Осенью 1879 года в уездном городе Екатеринославской губернии Александровске появился новый обыватель – купец Черемисов, прибывший сюда с супругой с целью основать в сем граде кожевенный заводик. Купец в короткий срок очаровал новых сограждан широтой натуры и веселым покладистым характером: дружился с ними, пил, кутил, не забывая, впрочем, и о делах: на отведенный ему для завода участок земли потихоньку свозили строительные материалы, там постоянно копошилось несколько пришлых, но уже примелькавшихся горожанам рабочих. И вдруг в одночасье все они – и супруги Черемисовы, и их рабочие – бесследно исчезли из города.

Через некоторое время, благодаря откровенным показаниям одного из случайно арестованных революционеров, выяснилось, что в Александровске «Народная воля» провела первое из череды неудавшихся покушений на царя. Под именем купца Черемисова скрывался один из главных вдохновителей и организаторов террора Андрей Желябов, роль его супруги играла Анна Якимова, рабочие тоже были свои – сочувствующие. В строительных материалах в Александровск, стоявший у железной дороги, террористы привезли динамит и под путями заложили мину. 18 ноября они предприняли попытку взорвать царский поезд, следовавший из Севастополя, – Желябов лич-

но замкнул гальванической батареей концы проводников, идущих от заряда. Но мина не сработала.

Если об этом покушении власть узнала задним числом, то следующее, совершенное буквально на другой день, прогремело на всю Россию. «Кожевенный завод» в Александровске был, как оказалось, не единственным предприятием народовольцев. Одновременно со строительными хлопотами купца Черемисова в Москве свое дело – лавку сыров – открыли супруги Сухоруковы (под их именами скрывались Софья Перовская и Лев Гартман); и находилась эта лавка в доме, расположенном у самой железной дороги все того же южного направления. Из дома был произведен подкоп под железнодорожное полотно, подложена мина, и 19 ноября поезд, в котором, по расчетам террористов, должен был находиться царь, пошел под откос. Оказалось, что Александр следовал раньше, в подорванном же поезде ехала царская свита, из которой во время крушения никто серьезно не пострадал. Тем не менее впечатление от этого дерзкого, оставшегося безнаказанным покушения (террористы и здесь, как и в Александровске, вовремя скрылись) было огромное.

После этого Александр получил передышку на несколько месяцев. 5 февраля 1880 года террористы произвели взрыв уже непосредственно в царской резиденции – Зимнем дворце. Александр, ожидавший прибытия знатного гостя, принца Гессенского, только что успел выйти ему навстречу, как зал, где членов императорского дома ожидал накрытый стол, был потрясен страшным грохотом, пол вздыбился и осел, вылетели оконные стекла... Взрыв пришел из подвального помещения и основной силой своей ударил все же не по приемному залу, а по находившемуся над ним караульному помещению – пострадали несшие караул солдаты Финляндского полка, среди них было несколько десятков убитых и раненых.

Расследование показало, что этот страшной силы взрыв был подготовлен и произведен агентом «Народной воли»

Степаном Халтуриным, который с сентября 1879 года работал во дворце столяром-краснодеревщиком и, понемножку принося туда динамит, складывал его в подвале, с тем чтобы, выбрав удобный момент, уничтожить Александра, а по возможности и всю царскую семью. Арестовать Халтурина не удалось.

Так действовала «Народная воля». Ядро этой организации – так называемый исполнительный комитет – состояло из людей в высшей степени незаурядных: талантливых, умных, волевых. Александр Михайлов, Андрей Желябов, Николай Кибальчич, поразительные женщины «Народной воли» Фигнер, Перовская, Гельфман – все они и многие другие делали честь российскому «отщепенству». Им впервые удалось создать организацию, казалось, невозможную для этих неприкаянных людей: максимально дисциплинированную, строго соблюдавшую правила конспирации, проникнутую духом согласия. Слившись в ней воедино, эти люди превратились в огромную силу, которую и посвятили «святому делу» – убийству старика в генеральском мундире, старика, которого по праву называли в стране Освободителем.

Поразительное это было время: казалось, вся Россия замерла словно в ступоре, в полной неподвижности, следя как замороженная за беспощадной схваткой с несколькими десятками загнанных в подполье «отщепенцев».

Конец венчает дело

9 февраля 1880 года Александр объявил о создании Верховной распорядительной комиссии, глава которой получал, по сути, диктаторские полномочия. Идея создания подобного органа вышла из самых реакционных кругов, стремившихся собрать полицейские, карательные чины в один кулак и, используя все возможные средства, вплоть до самых исключительных, раздавить революционное дви-

жение. Однако во главе комиссии царь поставил человека, и мысли, и действия которого совсем не вписывались в эту погромную программу.

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов, талантливый военачальник и незаурядный администратор, был плоть от плоти той либеральной бюрократии, которая, сыграв немаловажную роль в деле подготовки и проведения в жизнь «великих реформ», затем в тяжелые годы реакционного безвременья была почти начисто вытравлена из высших сфер. Лорис-Меликов твердо держался того убеждения, что единственное спасение для России – это вернуться на прежний путь, путь постепенных, последовательных преобразований, проводимых твердой рукой сверху, с высоты престола. Недаром в обществе, где очень скоро ощутили, насколько не похож новый глава правительства, обладавший исключительной властью, на своих предшественников, его восприняли как «бархатного диктатора».

Лорис немедленно провел в жизнь ряд конкретных мер, несколько смягчавших произвол, царивший в России, и предложил Александру свой проект «конституции», по которому в подготовке новых реформ должны были участвовать не только чиновники, но и представители земства и выборные от городов. Эти действия вызывали благожелательный отклик в обществе, заметно сгладив здесь недовольство внутренней политикой власти.

На подполье диктатор произвел совершенно иное впечатление: его программа ни в коей мере не удовлетворяла народовольцев. Да и сам Лорис не собирался идти на компромиссы с революционерами, диктатор повел с ними совершенно беспощадную борьбу, которая к тому же была организована теперь значительно лучше.

Реформированный Лорисом сыск очень скоро показал когти. Во второй половине 1880-х – начале 1881 года, отчасти благодаря возросшему профессионализму «сыскарей», отчасти из-за целого ряда трагических случайностей, исполнительный комитет «Народной воли» понес тя-

желые, невозполнимые потери: были арестованы его подлинны лидеры А. Михайлов, Желябов, Тригони, Колодкевич, Баранников. Окончательный разгром народовольцев был, казалось, не за горами.

Утром 1 марта 1881 года царь выразил желание созвать через несколько дней Совет министров для обсуждения проекта о «привлечении местных деятелей к совещательному участию в изготовлении центральными учреждениями законопроектов по тем вопросам, которые признаны будут подлежащими ныне разрешению в видах развития и усовершенствования высочайше предначертанных преобразований». Поскольку проект этот был полностью одобрен Александром, дальнейший ход не вызывал сомнений. Утром 1 марта петербургский градоначальник генерал Фролов, собрав у себя на квартире полицейское начальство – здесь, кстати, находился и полицмейстер Дворжецкий, которому через некоторое время предстояло сопровождать царя в его воскресной поездке на развод войск, – сообщил им, «что главные деятели анархистов Тригони и Желябов арестованы и только остается захватить еще двух-трех человек, чтобы окончить дело борьбы с крамолою...». Всесильный министр внутренних дел мог праздновать успех всех своих начинаний...

Утром того же дня народовольцы – и немногие оставшиеся на свободе «старики», и зеленая, необстрелянная молодежь – заняли свои, заранее распределенные места. Воскресный маршрут царя был изучен ими до тонкости. Михаил Фроленко отправился на Малую Садовую, в сырную лавку, из которой был сделан подкоп на улицу, – в случае проезда царя он должен был привести в действие заложенное там взрывное устройство. Софья Перовская, руководившая четырьмя метальщиками, перекрыла царскому экипажу все остальные пути. Напрягая последние силы, исполнительный комитет сделал все, чтобы не дать в этот день царю ни одного шанса на спасение.

И вот свершилось... «Тяжелый кошмар, – вспоминала

Фигнер, – на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников – все искупила эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России».

Сейчас эти строки читать тяжело и горько – ясно ощущаешь, сколь глубоко было то роковое подполье, которое поглотило столько сил, столько талантов, столько жизней...

Отдавшись целиком террору, посвятив себя одной «великой цели» – убийству царя, народовольцы утратили чувство реальности. Их безоглядная и беспощадная борьба с властью постепенно приобретала иррациональный характер: она во все большей степени велась под диктовку не разума, а одного из самых разрушительных чувств, которые владеют человеком, – ненависти. Наверное, именно это помогло исполнительному комитету – трем десяткам человек – добиться невозможного: внушить верхам ощущение кризиса, заставить их пойти на уступки... Но та же причина привела в конце концов и к катастрофе на Екатерининском канале, последствия которой ни в коей мере не соответствовали радужным мечтам террористов: их ждали еще более жуткие, нежели прежде, «ужасы тюрьмы и ссылки»; Россия же обрекалась на многолетнюю полосу реакции. И все же, наверное, не в этом был самый страшный итог эпохи Александра II, эпохи радужных надежд и безнадежных разочарований.

К пропасти

Еще не придя в себя от шока, вызванного 1 марта, власть поспешила организовать следствие, судебный процесс и – как их естественный и неизбежный результат – смертную казнь всех причастных к убийству на Екатерининском

канале. С чисто практической стороны все эти процедуры были не слишком сложными; с моральной – они не вызывали у представителей власти ни малейших сомнений. Единственный в своем роде призыв Владимира Соловьева к новому царю – разорвать порочный «кровавый круг», встать выше мести, выше борьбы, ближе к Христу – был воспринят сыном убитого, Александром III, как проявление психопатии.

Противостоящая сторона отвечала власти взаимным чувством такой же силы. Вот любопытнейшие строки из «Истории моего современника» В. Г. Короленко – одного из тех работников, которые на протяжении всей своей жизни, без надрыва и истерик, в меру своих сил и способностей пытались сделать Россию более культурной, более цивилизованной страной. Короленко вспоминал, как, узнав о смерти Александра, в ссылке, «среди пустынных и холодных берегов Лены», он начал сочинять поэму в прозе: «Александр II, молодой, одушевленный освободительными планами, и Желябов, его убийца, смотрят с далекой высоты на свою холодную родину и беседуют о далекой трагедии, обратившей их лучшие стремления друг против друга. Когда-то одна правда, хоть в разное время, светила им обоим, но она затерялась во мгле и туманах. И две тени говорят о том, как разыскать ее...»

Подобная позиция для представителя радикального лагеря, для ссыльного, причем сосланного явно несправедливо, – совершенно уникальна; очевидно, что автор подобных строк органически не способен был стать «отщепенцем». Тем более характерно их продолжение: «Это было очень наивно, и поэма кончилась примечанием какого-то революционера, которому поэма автора, умершего в далекой ссылке, попадает в руки: «Господи боже, какой дикий бред! А ведь когда-то наш товарищ был с очень трезвым умом...»

Как безжалостно стравивала эпоха две силы, которым, казалось бы, сам Бог велел стремиться к максимальному вза-

имопониманию! И свернув с пути преобразований, с единственного пути, на котором власть и интеллигенция могли найти общий язык, Россия и впрямь двинулась в бездорожье; изуродованный труп царя был первым страшным предупреждением о том, к какой пропасти она бредет, – предостережением, которого почти никто из ратоборцев двух противостоящих лагерей не принял на свой счет.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: РЕФОРМЫ И СТАТИКА

Ретроспективный обзор этой грандиозной темы неизбежно носит самый общий характер. В основе его – попытка дать ясное представление об основных вехах на долгом и тяжелом пути становления современной России. Очевидно, что для достижения цели необходимо найти нужную точку отсчета на хронологической шкале; выделить наиболее важные этапы этого процесса соответственно его закономерностям; определить направление, основные черты и характерные особенности кардинальных преобразований на каждом из них.

Начало пути

Точка зрения, неоднократно выражавшаяся в отечественной историографии (наиболее ярко и последовательно Л.Н. Гумилевым) на историю Киевской Руси (IX–XII века) как на очевидный, законченный цивилизационный цикл, в целом представляется здоровой и убедительной. Действительно, татаро-монгольское нашествие (1237–1240 годы) подвело черту под этой яркой и увлекательной историей и положило начало принципиально новому циклу – истории Московской Руси, из которой органично и последовательно выросла Российская империя, а затем и Советское государство. Является наше время завершающим этапом этого грандиозного исторического цикла или началом принципиально нового – разбираться будут потомки...

Начинать приходилось практически с нуля: в результате

татаро-монгольского нашествия Русь оказалась в положении гибельном, аналог которому трудно найти в мировой истории. Потеряв свои наиболее плодородные и перспективные в хозяйственном отношении юго-западные и западные земли, захваченные Литвой и Польшей (позже, в XVI в. в результате союза этих государств возникла мощная держава Речь Посполитая), она была оттеснена в северо-восточный, медвежий угол Европы, в дремучие леса и болота. Под стать почве здесь и климат – жесткий, резко континентальный, с суровой зимой и знойным, нередко засушливым летом; в отношении амплитуды колебаний средних температур зимы и лета Московскую Русь вообще не с чем сравнивать. На этих широтах условия для земледельческого хозяйства хуже только в Сибири – так там оно и не существовало, вплоть до присоединения этого региона к России.

А между тем сама Русь держалась только земледелием – при всей скудости его плодов. Никаких особых природных богатств на ее территории не было; дороги же к судоходным морям (Балтийскому, Черному, Каспию) перекрывали враги-соседи. В это время (в XIII в.) на территории северо-восточной Руси было порядка трех десятков относительно крупных, мелких и мельчайших уделов, князья которых враждовали друг с другом. И, наверное, главное горе – победители-монголы, создавшие по соседству в Поволжье мощное государство Золотую Орду, наложили на Русь свое иго, сыгравшее в ее истории роковую роль. С одной стороны, монголы умело поддерживали политический хаос, царивший на Руси, стравливая друг с другом стремившихся к преобладанию князей; с другой – постоянно выкачивали из русских земель дань. Тем самым нарушались, становились невозможными естественные процессы политической стабилизации и хозяйственного развития. Для выхода из этого действительно трагического положения нужно было искать какие-то особые, неординарные пути.

Это удалось сделать московским князьям. В нашу зада-

чу, очевидно, не входит ни выяснение причин того, почему именно владельцы этого поначалу ничтожного маленького удела возвысились над другими, казалось бы, более могущественными князьями; ни повесть о том, как постепенно, то мытьем, то катанием, временами проявляя удивительную хитрость и изворотливость, а иногда нанося своим врагам неожиданные удары (нередко – в спину), они решали эту казавшуюся нерешаемой историческую задачу. Отметим лишь, что на протяжении четверти тысячелетия (с конца XIII по начало XVI века) московские князья упорно и последовательно копили силы, объединяя вокруг своего княжества земли, попавшие под монгольское иго. По мере того как сил прибавлялось, они все смелее вступали в борьбу и с самой Ордой.

Оба процесса — собирания земель и борьбы с игом — завершились практически одновременно, при Иване III. В 1478 г. пал Новгород, в 1485 г. было присоединено Тверское княжество — главные противники Москвы на пути создания единого государства. В то же время, в 1480 г., после знаменитого «стояния» на реке Угре Иван III перестал платить дань Орде, а его сын, Василий III, уже сам властно вмешивался в татарские дела.

Именно этим князьям и их ближайшим преемникам пришлось начать процесс государственного строительства на принципиально новых основаниях.

Московская Русь: период «органического развития» (конец XV – XVII вв.).

Еще в прошлом веке историки справедливо отмечали, что удельные княжества в большинстве своем напоминали не столько государственные, сколько хозяйственные образования — вотчины. Для их управления не требовалось постоянно действующих четких государственных структур; для защиты их пределов можно было обойтись относительно скромными вооруженными силами.

Большую часть встававших перед ним проблем удельный князь решал с помощью своей дружины, которая с давних пор была неоднородна. Основную часть ее – так называемую «младшую дружину» или рядовых воинов – князь содержал за счет своих доходов. Члены же «старшей дружины» – или бояре – помимо этого получали от князя еще и вотчины – земли в наследственное владение, становясь, таким образом, крупными феодальными владельцами. Бояре составляли вокруг князя постоянно действующий совет – Боярскую думу. Опираясь на дружину, князь управлял своим уделом, собирал подати, защищался от врагов, ходил на них походом и т.д.

Все это было хорошо до поры до времени. В конце XV – начале XVI вв. количественные изменения – объединение под властью московских князей великого множества земель – заставляют их искать качественно иные способы управления ими. Перед московской властью возникают принципиально новые задачи, которые можно сформулировать следующим образом. Во-первых, все эти многочисленные земли надо было связать воедино, причем крепко-накрепко. Следует иметь в виду, что в условиях господства натурального хозяйства все они были экономически самодостаточны и легко обходились друг без друга – в отличие от Европы процесс создания единого экономического пространства в России явился вторичным по отношению к политическому объединению, реально он начался только под конец XVII века. Тем более возрастала роль единой для всего новорожденного Московского государства стабильной и, очевидно, достаточно строго централизованной системы управления. Без нее это огромное пространство могло вновь рассыпаться на составные части.

С другой стороны, перед новым государством неизбежно вставали принципиально новые внешнеполитические и, соответственно, военные задачи. Теперь уже нужно было не обороняться, а нападать: пробиваться к чернозему, от которого земледельческую Русь на века оттеснили степняки-кочевники, овладевать выгодными торговыми путями, про-

рываться к морям... Все эти задачи с помощью традиционно небольшой княжеской дружины решить было невозможно; вставал вопрос о создании массового войска.

С конца XV – начала XVI веков московские государи начинают создавать новое государственное управление и новое войско. При этом перед ними сразу же возникают серьезные препятствия. Они стремились к максимальной централизации и единовластию, а им противились и местное население, привыкшее жить своим обычаем, и особенно боярство, привыкшее опекать княжескую власть. Это была серьезная сила. Обладая наследственными земельными угодьями, главным по тому времени богатством, бояре обладали и значительной самостоятельностью, независимостью от государей. В то время как население на местах зачастую сопротивлялось центральной власти, бояре всеми силами стремились удержать ее под своим контролем, использовать в своих интересах.

Московские государи прежде всего нуждались в опоре. Им необходима была масса надежных, преданных исполнителей их воли и в центре, и на местах. С конца XVI в. московская государственная власть начинает целенаправленно создавать служилое сословие – дворянство. Это было грандиозное действие, которое привело к не менее грандиозным последствиям.

Ведь для того чтобы тебе верно служили, надо было брать на государственное содержание целое сословие. А средств у государства по-прежнему не было: звонкой монеты в казне постоянно не хватало: скудные земли, собранные под единой властью Москвы, не стали от этого богаче и плодородней. Зато теперь этих земель было много и постепенно становилось все больше; они, по меткому определению В.О. Ключевского, надолго составили единственный реальный капитал московских князей.

Землю стали давать в обеспечение службы. Именно в обеспечение: получив из рук власти поместье, хозяин-помещик должен был служить с него «конно, людно и оружно» – то есть не только по первому требованию власти яв-

ляться на службу, но и обзавестись за свой счет боевым конем и оружием, привести с собой определенное количество пеших ратников. При скудных урожаях, низких ценах на хлеб (земледелием занималась подавляющая часть населения, более или менее обеспечивавшая себя всем необходимым) и постоянных служебных отлучках хозяина – все это было тяжким испытанием, не выдержав которое, помещик неизбежно терял землю и выбывал из своего относительно привилегированного сословия. Чтобы избежать этого, ему волей-неволей приходилось выжимать максимум возможного из работавших на него земледельцев.

Между тем при обилии земель народу на Руси было относительно немного. Естественно, что свободные земли как магнитом притягивали тех, кому стало худо на обжитых. Ну а если кого пугала целина – южные, открытые кочевникам степи или заволжские лесные дебри, – те и на земле обетованной могли поискать лучшей доли, переходя от хозяина к хозяину, из дворянского поместья на боярскую вотчину. Как остроумно заметил С.М. Соловьев, земледельческая масса в те времена представляла собой «жидкое тело» – чем больше на нее давишь, тем скорее она утекает...

Многим, если не большинству помещиков подобное положение дел грозило хозяйственным разорением и социальной гибелью. Естественно, они вопияли, и столь же естественно, что власть эти вопли слышала. Не могла не слышать. Ведь она сама сознательно и целенаправленно создавала дворянское сословие как свою самую надежную военную и социальную опору и должна была заботиться о его, хотя бы относительно, благополучии. С конца XV века свобода земледельца в передвижении в поисках лучшей доли начинает ограничиваться и постепенно, шаг за шагом, сводиться к нулю – знаменитое Соборное уложение 1649 года окончательно запрещает крестьянам переходить с места на место.

Структурируя «жидкое тело», закрепощая крестьянство, государство достигало сразу две цели. Во-первых, оно обеспечивало дворянина-помещика надежной рабочей си-

лой, которую теперь можно было эксплуатировать вплоть до полного истощения, и могло, соответственно, рассчитывать на более или менее приличную службу с его стороны. Во-вторых, что было не менее важно, трудовая масса попадала под постоянный контроль со стороны дворян – людей, служивших государям, что значительно облегчало и управление этой массой, и вершение судебных дел, и сбор податей. Государство постепенно передает все эти функции помещикам, приобретая в их лице практически даровых агентов своей власти.

Таким образом, под государственное здание был подведен мощный крепостнический фундамент уже в XVI–XVII веках. Что же касалось самого здания, то оно отстраивалось значительно дольше. Московская власть не имела в этом отношении никакого опыта, пользоваться же опытом «еретического» Запада долгое время брезговала, двигалась на ощупь, пользуясь методом проб и ошибок. Массу времени и сил отнимала борьба с боярством в целом и Боярской думой в особенности – московские государи медленно, но верно урезали ее права и полномочия, превращая ее постепенно в пышную декорацию. Боярству государи противопоставляли все то же служилое дворянство – прежде всего на местах; а в центре – приказную администрацию – дьяков и подьячих; эту категорию своих относительно немногочисленных агентов власть, в отличие от дворян, берет на жалование.

Первые приказы стали возникать еще в начале XVI века, по мере того как из вороха новых для молодого государства дел вычленились более или менее четко те или иные категории: дела, связанные с раздачей поместий (Поместный приказ), учетом дворянской службы (Разрядный), разбором жалоб населения – всегда многочисленных (Челобитенный) и т.д. Одновременно с подобными общегосударственными приказами, занимавшимися определенными категориями дел, возникают еще и приказы, бравшие под свой контроль все дела на той или иной вновь присоединенной территории (Новгородский, Казанский, Астраханский приказы).

Очевидно, что подобная система предопределяла неизбежное переплетение функций приказов общегосударственных и территориальных, а следовательно – основательную неразбериху. Однако в XVI веке, пока приказов было относительно немного, они работали вполне успешно, особенно после того как в 1550-х годах Избранная рада при Иване Грозном свела их в единую систему. Штаты приказов в это время не раздувались (10–15 человек на приказ) и, судя по всему, отбирались очень тщательно. Однако затем, в XVII веке, приказная система невероятно разбухает – каждая новая категория дел продолжает порождать новый приказ (был, например, Записной приказ, который подбирал материалы для создания истории царствования Алексея Михайловича; был Аптечный приказ и т.п.). К концу этого века только крупных приказов было около 40; всего же их насчитывалось до сотни. Одновременно с количеством приказов увеличивались и их штаты. Связь же с местными органами власти была и оставалась чисто номинальной, выражаясь в запросах сверху и отписках снизу. Бесконечные жалобы на «московскую волокиту», на невозможность добиться быстрого и последовательного хода дел, на мздоимство и разнообразные злоупотребления – характернейшая черта этого времени. Жалуются все – от последнего холопа до самого царя (сохранились курьезные сетования Алексея Михайловича на строптивость и неисполнительность дьяков). Система явно нуждалась в преобразовании.

Еще хуже обстояло дело с местным управлением. Оно тоже создавалось бессистемно, в значительной степени явочным порядком. По мере того как различные уделы входили в состав Московского государства, они преобразовывались в уезды; власть местного князя упразднялась, его место занимал наместник, представитель великого князя Московского – из числа родовитых бояр, получавший назначение за прежние заслуги (что-то вроде персональной пенсии). Власть наместника немногим уступала княжеской; в его руках были собраны все властные полномо-

чия (администрация, суд, подати); жалованья из казны он не получал, зато имел право кормиться за счет местного населения. Если учесть, что наместники контролировались центром чисто условно, то станет очевидным, что подобная организация местной власти предопределяла неизбежный произвол по отношению к населению. Жалобы на этот произвол звучали постоянно, но отклика в центре практически не находили.

Единственная попытка видоизменить эту систему была предпринята все той же Избранной радой в 1550-е годы. Судебные функции отняли у наместников и передали местным выборным людям – губным старостам. При этом Рада отменила и кормления, превратив пост наместника из очень доходного в относительно почетный. В связи с этим некоторые исследователи считают, что задумывалась грандиозная реформа – полная передача управления на местах выборным органам, тесно связанным с местным населением. Однако вместо этого на Руси была введена опричнина... Когда же все утряслось – после опричнины, несчастной Ливонской войны, Смуты, – то в XVII в. уезды возглавили воеводы, которые отличались от наместников XVI в. только названием. Прощения о назначении воеводой в тот или иной уезд писались в это время предельно откровенно – поизносился, мол, поиздержался на государевой службе; дайте какой-нибудь уездишко, хоть самый плохонький, на прокорм...

Итак, на рассмотренном нами этапе – в XVI–XVII веках – московские государи заложили надежные крепостнические основы под государственное строительство. Достаточно четко в это время выражалось общее стремление власти – добиться полного единодержавия, управлять страной исключительно через своих агентов-исполнителей – приказных, служилых людей. Однако ни основные принципы подобного управления, ни соответствующие структуры не были еще толком разработаны. Московские власти строили свое государство «органически» – а точнее, ползуче-эмпирическим путем, пытаясь на ощупь определить его возможные контуры.

Петербургский период: «революция сверху» (XVIII – первая половина XIX века)

По многим своим характеристикам этот период является естественным продолжением предыдущего. Перед властью стоит все та же основная проблема, унаследованная от Московской Руси, – на крепостническом фундаменте создать соответствующую ему мощную административную систему, которая полностью подчинила бы страну центру, позволила управлять ей оттуда как единым целым действенно и результативно (на этом этапе подобная задача выглядит еще более актуальной, поскольку Россия превращается в империю, становится многонациональной страной, вбирая в себя Прибалтику, Украину, Белоруссию, Польшу, Закавказье).

Однако со времен Петра I резко меняются методы, с помощью которых власть стремится достичь своей цели. В этом отношении Герцен был совершенно прав, когда называл великого преобразователя «революционером на троне». По сути, очень последовательно продолжая дело своих предшественников, Петр при этом действует куда более радикально. В отличие от них он презирал «органику», не боясь беспощадно разрушать то, что считал отжившим, искусственно ускорять исторический процесс, навязывая ему свою мощную волю. Но, повторяем, цели и у Петра, и у его преемников на этом этапе остаются прежними – общими усилиями они отлаживают самодержавно-бюрократическую государственную систему на крепостной основе...

Именно Петр довел крепостную систему «до ума» – если запрет перехода в 1649 году носил достаточно декларативный характер, то Петр, проведя подушную перепись населения (до этого проводились подворные) и учредив паспортную систему, вполне реально, как гвозди в доску, «вбил» крестьян и посадских в крепостную систему, каждого из них приписав к определенному месту. Он подвел крепостное

основание и под промышленное производство, позволив владельцам мануфактур покупать крепостных и использовать их в качестве рабочих.

С другой стороны, издав в 1714 г. указ об единонаследии, Петр закрепил поместья (а с ними — и крепостных) за дворянами в наследственную собственность, сравнив их с боярами и тем самым уничтожив последних как сословие, — они как бы «провалились» в дворянство. При этом при Петре эта мера ничуть не ослабила зависимости дворянства от государства, напротив — дворянская служба становится еще интенсивней, чем прежде.

Столь же решительно действовал Петр и в сфере государственного строительства. В полтора десятилетия он полностью преобразует всю систему управления. Ликвидировав Боярскую думу, он заменяет ее Сенатом. Вместо сотни приказов создает систему из 12 коллегий. Проводит новое административно-территориальное обустройство России — теперь страна делится на губернии, те — на провинции, а те, в свою очередь, на уезды.

Однако надо сразу же отметить, что Петра ни в коем случае нельзя переоценивать как созидателя — что нередко делается. Как разрушитель он выглядит значительно убедительней. Энергетика у преобразователя была поразительная; он сотворил массу дел, но творил их, как правило, наскоро, начерно, прикидочно... Практически все органы, созданные Петром, оказались нежизнеспособными.

Сенату, например, было придано множество важнейших функций — он и страной управлял в отсутствие царя, и бюджетные вопросы решал, и ведал назначениями на важные посты; однако его права и полномочия так и не были толком определены Петром. Сразу после смерти царя этот орган, по сути, захирел, сделавшись послушной игрушкой в руках разнообразных временщиков. Коллегии при более четком, чем при приказной системе, разделении функций полностью сохранили один из главных пороков этой системы — отсутствие четко налаженных связей с местными органами управления. Уже в середине XVIII века коллегии на-

чинают разваливаться; к концу же века приходят в совершенно нерабочее состояние.

Но, пожалуй, самой неудачной была губернская реформа. Административно-территориальное деление было проведено совершенно произвольно; средний уровень – провинции – оказался совершенно лишним и во второй половине XVIII в. был упразднен. А самое главное – петровский губернатор оказался сколком с наместника былых времен: такой же маленький царек, обладавший всей полнотой власти и чрезвычайно слабо контролируемый сверху. Новая система местного управления отвратительно функционировала уже при Петре; в ряде случаев преобразователь вынужден был посылать на места воинские команды для наведения порядка и сбора податей.

Таким образом, преемники Петра в целом вынуждены были создавать систему государственного управления заново – место для их творчества преобразователь во всяком случае расчистил... А кроме того, Петр, мало преуспев в создании реальной системы управления, максимально укрепил ее крепостное основание и сумел на двести с лишним лет определить основные принципы ее функционирования: строгая, сверху донизу, назначаемость всех «функционеров», выплата им жалованья от казны, столь же строгое подчинение и постоянная отчетность низших перед высшими и т.д. Самое же главное, очевидно, это полная победа при Петре I принципа личной выслуги над старым принципом знатности и родовитости. Табель о рангах, учрежденная в 1722 г., представляла из себя лесенку о четырнадцати ступенях (рангах), по которой должен был последовательно подниматься каждый, кто желал сделать карьеру как по военной, так и по статской линии. Другими словами, бюрократические начала государственной службы при Петре были утверждены безоговорочно.

Само же самодержавно-бюрократическое государственное устройство было создано его преемниками в два приема. В 1775 г. Екатерина II провела новую губернскую реформу, создав в стране единообразную и вполне дееспособ-

ную систему местных учреждений. Проведя новое, гораздо более разумное, чем при Петре, административно-территориальное деление, Екатерина развернула это строительство на двух уровнях – в губерниях и уездах, стремясь как можно теснее связать их друг с другом. При этом в основу реформы был положен воспринятый с Запада, причем достаточно органично, принцип разделения властей.

Губернатор, формально являвшийся «хозяином» всей губернии, реально занимался административным управлением, вмешиваясь в другие сферы только в случае крайней необходимости. Осуществлял он свои функции при помощи губернского правления. В уезде непосредственным агентом губернаторской власти являлся капитан-исправник с несколькими помощниками (заседателями). Характерно, что в отличие от всех остальных чиновников эти избирались из среды местного дворянства, что еще больше сплачивало формальных агентов высшей власти – чиновников и неформальных – дворян-помещиков. Раскладкой и сбором податей в губернии ведала особая Казенная палата во главе с председателем (обычно он же – вице-губернатор). На уездном уровне этими делами занимался подчиненный Палате уездный казначей. Точно так же, независимо от губернатора, функционировали судебные органы, причем губернский суд был высшей апелляционной инстанцией для уездного. Эта реформа вполне оправдала себя и в екатерининские времена, и в исторической перспективе: с незначительными изменениями подобная система органов местного управления просуществовала вплоть до 1917 года.

Таким образом, Екатерина II на крепостном фундаменте, подготовленном ее предшественниками, весьма умело отстроила первые, нижние, этажи самодержавно-бюрократической системы управления. Достроил же здание ее внук, Александр I.

«Дней Александровых прекрасное начало», воспетое Пушкиным, знаменательно прежде всего этим строительством. В 1802 г. двумя указами – об учреждении министерств и о правах Сената – молодой царь завершил много-

вековое (на три с лишним столетия) дело своих предшественников.

Министерства, заменившие обветшалые коллегии, выгодно отличались от них по целому ряду показателей. Во-первых, коллегиальный принцип (каждой коллегией управлял Совет во главе с президентом и вице-президентом) был заменен принципом единоличной власти и столь же единоличной ответственности каждого отдельно взятого министра – не мне судить, но для России это вроде бы годится больше. Во-вторых, при определении сферы деятельности каждого министерства функциональное деление проводилось гораздо более четко и, главное, разумно, чем в случае с коллегиями. Именно в это время появляются хорошо нам знакомые МВД, Минфин, Минюст и т.д. И, наконец, что, может быть, наиболее важно, впервые за всю историю России центральные органы управления были реально увязаны с местными. В это время создавалась, а чуть позже при М.М. Сперанском отлаживалась так называемая «линейная система» – губернаторы становились чиновниками МВД, назначались по представлению соответствующего министра, от него получали указания, перед ним отчитывались – точно так же, как капитан-исправник получал указания от губернатора и перед ним был ответственен за свою деятельность. Аналогично проводились сквозь всю страну линии Минфина – через Казенную палату вплоть до уездного казначея; Минюста – через губернские и уездные суды.

Что же касалось Сената, то он был как бы вынесен из этой стройной и единообразной системы, поставлен особняком – с целью контроля над ней с позиций соблюдения законности (наверное, возможна очень условная аналогия с Конституционным судом). Именно с этих позиций Сенат анализировал отчеты министров, с которыми те обязаны были ежегодно выступать перед ним; именно с этих позиций действовали сенатские ревизии, посылаемые в случае необходимости в центральные и местные учреждения. Кроме того, Сенат стал высшей апелляционной инстанцией для русских судов.

Итак, к началу XIX в. самодержавно-бюрократическая

система управления была, наконец, отлажена. Полностью ее развернул и детализировал Николай I – самодержец до мозга костей. В его предельно авторитарном восприятии мира самодержец нес всю полноту ответственности за то, что происходит в стране. Органы государственного управления воспринимались им как свое естественное продолжение, почти органическое, вплоть до губернии, уезда, волости, самого последнего обывателя.

В идеале все это укладывалось в следующую картину. Каждый день государь император Николай Павлович встречался со своими министрами и другими представителями центральных органов управления, заслушивая их сообщения и предельно четко выражая им свою волю по каждому конкретному поводу. В соответствии с царскими указаниями в министерствах разрабатывались так называемые «входящие бумаги» – не менее четкие указания конкретным исполнителям царской воли в Тамбове, Калуге, Харькове, Тобольске и т.д. В губернских правлениях и казенных палатах эти бумаги «переваривались» и на их основе составлялись соответствующие указания для исполнителей губернского уровня – капитан-исправников и казначеев. Те «тревожили» уже непосредственно помещиков, в отношении которых Николай I говаривал: «У меня сто тысяч даровых полицмейстеров» (вполне мог бы сказать и «сборщиков податей» или «судей»). А затем, в соответствии с достигнутыми результатами, шел обратный поток, уже «бумаг исходящих»: капитан-исправник отчитывался перед губернатором, тот – перед министром; министр докладывал царю... Процесс совершался бесперебойно и, что немаловажно, единообразно – национальные особенности рассматривались как нечто чисто этнографическое, и Тифлисская или Виленская губернии управлялись на общих основаниях с Московской или Калужской (исключение составляло Богом и царем забытое Великое княжество Финляндское, имевшее довольно широкую автономию. Подобную автономию имело при Александре I и Царство Польское, но после восстания 1830 г. Николай подчинил Польшу общей системе управления).

Таким образом, цельная, единая, строго централизованная система самодержавно-бюрократического управления, неразрывно сросшаяся с крепостной системой, была создана окончательно в начале XIX в. и заработала на полную мощь в 1820–1850-х годах. Тут бы жить и радоваться, но... Гегель в свое время справедливо заметил: достижение желаемого, как правило, не приносит удовлетворения, потому что всегда связано с неизбежным переходом к новому, неизвестному, к тому, что до поры до времени таилось внутри достигнутого...

Время реформ (1860-е гг.)

Соображения великого философа тем более уместны, что идея государственного переустройства на новых основаниях вызревала уже в те времена, когда старая, сугубо бюрократическая, только что созданная система управления еще не была толком отлажена.

Основные идеи, связанные с подобным переустройством, были высказаны в знаменитом «Плане государственного преобразования», написанном М.М. Сперанским по предложению Александра I в 1808–1809 годах. У нас, естественно, нет возможности сколько-нибудь подробно осветить вопрос о причинах, заставивших самодержца думать об отказе от сугубо авторитарной бюрократической системы управления. Отметим лишь, что, наряду с разнообразными западными влияниями и общим «гуманитарным» направлением мысли этого незаурядного монарха, задуматься о кардинальных преобразованиях государственного строя его заставляли еще и соображения безопасности: XVIII век с огромным количеством удавшихся и неудавшихся дворцовых переворотов ясно показал, что государство, в котором все нити управления сходятся в одних руках, чрезвычайно уязвимо.

В своем «Плане» Сперанский, один из самых замечательных администраторов-практиков в истории России и, на-

верное, самый замечательный администратор-теоретик, высказывал примерно следующие соображения. Та система управления, которая сложилась в России в начале XIX века и в отладке которой сам Сперанский принимал деятельное участие, рассматривалась им как вполне разумная, более того, совершенно необходимая. Она связывает воедино самые разнообразные территории, населенные самыми разными народами, позволяет ясно понять и претворить в жизнь общегосударственные интересы, обеспечивает целостность Империи. Она нуждается в дальнейшем совершенствовании, но обойтись без нее никак невозможно – держава рассыплется на составные части. Но в то же время эта система, по мнению Сперанского, является неполной, односторонней, учитывающей исключительно интересы центра – т.е. общегосударственные – и совершенно игнорирующей интересы регионов, интересы местные, т.е. основной массы населения.

Существующую административно-бюрократическую систему управления, формируемую сверху путем назначения и, соответственно, соориентированную на выполнение указаний центральных властей, необходимо дополнить принципиальной иной, формируемой снизу, путем выборов и, соответственно, отстаивающей интересы своих избирателей. Сперанский предлагал на всех административно-территориальных уровнях – в волостях, уездах, губерниях – создать единообразные органы, думы, избираемые местным населением. В думских выборах на уровне волости, проводимых на основе имущественного ценза, должны были принимать участие представители всех слоев населения, кроме крепостных. Функции новых органов также определялись Сперанским предельно четко: собираясь раз в три года, думы выбирают членов правления, которым предстоит вплоть до следующего собрания вести местное земское хозяйство; контролируют местные доходы и расходы, выдвигают своих представителей в «вышестоящую» думу (волостная – в окружную, окружная – в губернскую).

Венчать эту систему, по мысли Сперанского, должна была

Государственная дума, состоявшая из гласных, выдвинутых губернскими думами. Этот орган, венчавший стройную систему органов местного самоуправления и имевший в них мощную опору, Сперанский предполагал допустить до законодательной работы – естественно, в самом тесном сотрудничестве с царской властью. За царем Сперанский оставлял право законодательной инициативы и окончательного решения – быть или не быть законопроекту законом. В помощь царю реформатор предполагал создать Государственный совет – своего рода консультативный орган при монархе, дававший ему конкретные рекомендации по поводу того или иного конкретного законопроекта, предложенного Думой.

План Сперанского, который в 1809 г. после сознательно допущенной Александром I «утечки информации» пошел гулять по рукам высших сановников и столичной знати, вызвал у них крайнее раздражение – именно эти круги совершенно не желали никаких принципиальных перемен. Однако именно они составляли силу, имевшую реальное влияние на царя. В 1812 г., накануне Отечественной войны, неудавшийся реформатор был сослан без объяснения причин. Из всего его грандиозного плана было осуществлено всего лишь одно, пожалуй, наименее принципиальное предложение: в 1810 г. был учрежден Государственный Совет, члены которого – матерые, прошедшие огонь, воду и медные трубы бюрократы-сановники – должны были высказывать свои соображения по поводу предлагавшихся императором законопроектов. С точки зрения техники бюрократического управления, создание подобного органа было, очевидно, вполне закономерным, но ни к каким кардинальным переменам в государственном строе это, конечно же, не вело.

В наши задачи, естественно, не входит детальная оценка «Плана» Сперанского. Ясно, что он был преждевременен в стране, где основная масса населения находилась в состоянии, близком к рабству, и ясно, что именно это состояние нужно было менять в первую очередь (Сперанский об отмене крепостного права даже поминал). Но не менее очевидно, что этот

план был перспективен. Недаром впоследствии его пытались воплотить в жизнь на протяжении более чем полувека.

«Время Сперанского» пришло значительно позже – после падения в 1861 г. крепостного права. Не вдаваясь в подробное описание причин, породивших это грандиозное событие, отметим лишь, что крепостная система, вне всяких сомнений, обеспечивала России порядок в полицейском смысле и определенную хозяйственную стабильность, но перекрывало все пути к нормальному, последовательному развитию и в политической, и особенно в экономической сферах. Именно во второй четверти XIX в., в годы наивысшего развития самодержавно-крепостнического строя, крепостная система, на которой он базировался, окончательно исчерпала себя.

Очевидно, правы те историки, которые считают неуместным для характеристики создавшегося положения употреблять страшное слово «кризис». Действительно, в стране царил вышеупомянутый полицейский порядок, крепостное хозяйство продолжало кормить страну, крепостные мануфактуры – обеспечивать всем необходимым государство, армию, флот... А вот до боли знакомое понятие «застой» для характеристики создавшегося положения вполне подходит. Крымская война отчетливо показала, до какой степени мы отстали от западноевропейских держав. Необходимо было перевооружаться, создавать новый паровой флот, строить железные дороги и т.п. Всего этого властно требовали общегосударственные интересы – а следовательно, эти интересы требовали отмены крепостного права... В очень сложной исторической обстановке, преодолевая сопротивление дворянства и значительной части высшей бюрократии, Александру II при поддержке немногочисленной группы либерально настроенных сановников, удалось подготовить и провести крестьянскую реформу.

Но это неизбежно стало началом конца той грандиозной самодержавно-бюрократической системы управления, которая создавалась веками, ведь из-под нее было изъято самое основание... Уже в 1864 г. правительство проводит зем-

скую реформу, представлявшую собой, по сути, воплощение в жизнь «Плана» Сперанского – правда, в усеченном и исковерканном виде.

Прежде всего пострадала структура предполагавшихся органов: земства создавались только на двух уровнях – уездном и губернском. «Земское строение», таким образом, оказывалось лишенным как фундамента – низших волостных земств, так и крыши – общероссийского представительного органа, который, подобно предполагавшейся Сперанским Государственной думе, достойно венчал бы собой систему органов самоуправления. А это, с одной стороны, неизбежно отрывало подобную систему от «земли», от повседневных, самых насущных нужд местного населения, а с другой — лишало ее возможности действовать как единое целое, представлять интересы всего «земского», нечиновничьего населения России.

В отношении организации выборов также был сделан заметный шаг назад по сравнению в «Планом» Сперанского. В основу их был положен не имущественный ценз, а чисто феодальная система курий, т.е. группировки избирателей по сословиям, причем с таким расчетом, чтобы представители дворянства составляли в земских органах относительное большинство по сравнению с крестьянами и городским населением.

Наконец, обращала внимание и ограниченность компетенции земства: власть настойчиво подчеркивала, что его функции определяются исключительно местными, хозяйственными по преимуществу, делами; никакие проблемы общего характера обсуждению в собраниях не подлежат.

И все-таки при всех этих вполне очевидных недостатках земств, подвергавшихся резкой критике уже со стороны современников, земская реформа была воспринята с вполне понятным энтузиазмом. Ведь сам факт создания системы выборных органов самоуправления, пусть и в усеченном виде, означал, казалось бы, начало кардинальных перемен. Кончалось всевластие бюрократии, появлялась возможность реальной самостоятельной деятельности населе-

ния, деятельности в собственных интересах. А самое главное – в 1860-х годах в общественных кругах была твердая уверенность, что это лишь начало процесса, что государство будет последовательно перестраиваться на новый лад, что правящая бюрократия начинает искать пути сотрудничества с обществом и народом. На этом пути под земское здание неизбежно и фундамент будет подведен, и увенчано оно будет достойно. Именно в 1860-х годах в России впервые всерьез начинают говорить о конституции, которую неизбежно должна породить земская система.

Однако все эти надежды оказались вполне иллюзорными. Как выяснилось в ближайшее время, в 1864 г. власть дала в плане самоуправления максимум того, на что была способна. Вся дальнейшая политика царского правительства по отношению к земской системе была направлена к одной цели – максимально сковать деятельность земских органов, поставив их под полный контроль местной администрации, прежде всего губернаторов, превратив в бессильный придаток губернского правления.

Подобная позиция самодержавной власти была, в принципе, вполне понятна и по-своему оправдана, хотя исторически и бесперспективна: самодержавие не хотело отказываться от самого себя... Между тем создание и последовательное развитие самоуправления на местах неизбежно должно было привести к проявлению этого самоуправления и в вопросах общегосударственных – другими словами, к конституции.

Крушение крепостной системы, на которой базировался самодержавно-бюрократический строй, освобождение массы населения от привязки к одному определенному месту, рост городов, развитие промышленного производства – короче говоря, весь ход исторического процесса неизбежно предполагал подобное развитие событий. И недаром в первые пореформенные десятилетия на имя Александра II, а затем и его сына и наследника Александра III поступает множество записок не только от либеральных, но и от весьма консервативно настроенных деятелей, в которых само-

держцев призывали учесть изменившуюся ситуацию и в интересах стабилизации положения в стране пойти на уступки – в той или иной форме привлечь народных представителей к законодательной работе.

Однако самодержавие, у которого хватило чутья и сил, чтобы отменить крепостное право, не сумело добровольно ограничить самое себя – отказаться от такой привычной и привлекательной безграничной власти и в центре, и на местах. К концу XIX – началу XX вв. земства были изуродованы до неузнаваемости, потеряв всякую популярность у населения. Именно поэтому они бесследно исчезли в октябре 1917 года, ни в малейшей степени не сыграв той стабилизирующей роли, которая была им вполне по силам при правильном и последовательном развитии.

Что же касается пресловутого «российского парламента», Государственной думы, то она, как известно, появилась таки на свет Божий, но в таком оформлении и при таких обстоятельствах, которые никак не соответствовали ни первоначальному «Плану» Сперанского, ни надеждам земских либералов. Нужно сказать, что в конце XIX – начале XX веков последние заметно активизировались и неоднократно обращались к правительству с просьбой позволить им создать какое-то подобие координационного органа для всего земства или хотя бы позволить регулярно проводить общеземские съезды. Самодержавно же бюрократическая власть воспринимала все эти прошения как вызов самой себе, как стремление опасного противника подорвать самые устои авторитарного государственного строя. Еще бы, «увенчание здания»!..

В принципе, это были соображения вполне оправданные. Недаром в знаменитой записке по этому вопросу на высочайшее имя (Николая II), один из самых значительных государственных деятелей России С.Ю. Витте чрезвычайно убедительно доказывал: пока в России существуют земства, они неизбежно будут стремиться к участию в решении вопросов общегосударственного характера – иными словами, к конституционному строю. Отсюда неизбежно возникала аль-

тернатива: либо – ликвидировать земства, восстановив на всех уровнях полномочия самодержавно-бюрократической системы; либо – продолжать видоизменять эту систему не только на местах, но и в центре, идти на определенные уступки, налаживать сотрудничество с земцами не только в устройстве местных дел, но и в управлении всей Россией в целом. При этом условии непримиримого врага можно было превратить в мощного союзника. Но, еще раз подчеркну, для этого самодержавно-бюрократической власти пришлось бы изжить самое себя, отказавшись от составлявшего ее суть стремления все и вся держать под своим контролем.

Идти по первому пути, в условиях пореформенной российской действительности, власть не могла; по второму – не хотела... В результате был выбран средний, межеумочный: постоянное «осаживанье» земской и прочей общественности, вязкая изнурительная борьба с ней на всех уровнях и, как результат, – озлобление массы людей, первоначально стремившихся к спокойной позитивной работе, революционизация их сознания, а затем, соответственно, и деятельность. К началу XX века в стране накопилась масса серьезнейших проблем: крестьянское малоземелье, предельно низкий уровень заработной платы рабочих, угнетенное состояние многочисленных национальностей, населявших Россию, и проч. Но на устах у всех был один определяющий лозунг – «Долой самодержавие», – и именно государственный строй рассматривался как главное бедствие, именно с его особенностями связывали все прочие насущные проблемы.

Время революций (начало XX в.)

Под этим лозунгом и вспыхнула первая русская революция, породившая Государственную думу. Знаменитому ленинскому клише – «Либеральные реформы есть побочный продукт революционной борьбы» – конечно же ни в коем случае нельзя придавать универсальный характер, но ис-

торически, для России XX века, это утверждение было совершенно верным. Власть шла на совершенно необходимые и неизбежные, по сути, уступки только с очень большого испуга. Знаменитый манифест 17 октября 1905 г., в соответствии с которым была в 1906 г. созвана Первая Государственная дума, Николай II подписал в разгар всеобщей политической забастовки, которая не сегодня завтра могла перерасти во столь же всеобщее восстание. Изначально, т.о., «парламент» учреждался недобросовестно — не для серьезной позитивной работы, а из чисто тактических соображений: сбить революционную волну, породив в массах надежды на мирное решение всех вопросов. При этом автор манифеста Витте утешал царя именно тем, что это тактическая уступка, что взаимоотношения между Думой и царской властью можно будет «организовать» без всякого ущерба для последней, на что Николай II пророчески отвечал: «Не утешайте меня, Сергей Юльевич, я знаю, что создаю себе страшного противника».

Подобные опасения сами по себе уже знаменовали вполне определенную позицию. И действительно, хотя по тексту царского манифеста Дума получала законодательные полномочия, царское правительство сделало все, чтобы свести их к нулю. И.Л. Горемыкин, сменивший на посту главы правительства Витте, Думу просто игнорировал, управляя страной так, как если бы никакого «парламента» в ней по-прежнему не существовало. Достаточно отметить, что первый законопроект исполнительной властью был внесен в Думу через несколько недель после начала ее работы и носил откровенно издевательский характер: речь шла об «учреждении» оранжереи и прачечной при одном из российских университетов.

Но Дума-то реально существовала... Правда, это была совсем не та Дума, о которой мечтали в XIX веке. Она создавалась вне всякой взаимосвязи с системой органов местного самоуправления. Выборы, состоявшиеся весной 1906 г., в разгар революции, проходили, по сути, на партий-

ной основе, в атмосфере самой, как сказали бы сейчас, «разнузданной агитации». При этом власть, чтобы сразу же не скомпрометировать свою «уступку», вынуждена была дать населению достаточно демократический избирательный закон, который хотя и сохранял куриальную систему (как в земствах), большинство голосов предоставлял крестьянам. Соответственно, в тех условиях в Думу прошли наиболее радикально настроенные депутаты, которые стремились не сотрудничать с властью, а ниспровергнуть ее. Первая Дума сразу же превратилась в арену революционной, антимонархической агитации. Таким образом, ни о каком сотрудничестве не могло идти и речи – ни с той ни с другой стороны. В то время как власть весьма жесткими мерами пыталась стабилизировать положение, Дума готовила аграрный закон самого радикального содержания, который неизбежно должен был еще больше революционизировать страну.

Власть, естественно, Первую Думу разогнала – царь имел на это законное право – и в начале 1907 г. созвала Вторую Думу, точно такую же, как и Первая, – и по составу, и по настроению. Вторая Дума была разогнана в том же 1907 г. по тем же причинам, что и Первая, – власть, по-прежнему стоявшая на принципиально авторитарных позициях, не могла найти общего языка с этим составом депутатов, настроенным даже не либерально, а революционно.

Однако к этому времени изменилась общеполитическая ситуация, причем принципиально: действуя грубой силой – карательные походы, военно-полевые суды и прочее, – власть наконец одержала победу над революцией, взяв ситуацию под свой контроль. В этих условиях правые – а их голос звучал в это время мощно, особенно прислушивались к нему при дворе – призывали вообще покончить с Думой, упирая на то, что она порождена революцией, что это уступка, силой вырванная у царя. Однако П.А. Столыпин, еще в 1906 г. сменивший Горемыкина на посту главы правительства, пошел по другому пути.

В отличие от правых, считавших революцию результа-

том злокозненной агитации евреев, поляков и прочих инородцев, а также интеллигентов и считавших силовые методы борьбы с ней единственно оправданными, Столыпин признавал, что революция порождена вполне реальными проблемами русской жизни и, не отказываясь от самых жестких репрессивных мер, был нацелен на реформы (его знаменитое определение: «Революция болезнь не наружная, а внутренняя, и вылечить ее только наружными лекарствами невозможно»). Подобная позиция определяла и его принципиальное отношение к Думе: если правые были уверены в том, что ее необходимо ликвидировать, то Столыпин предпочитал ее сохранить – все с той же прежней целью: отвлекать массы от революции. Один из его основных сотрудников С. Е. Крыжановский совершенно откровенно проводил сравнение между Думой и канализацией, с помощью которой разнообразные дурно пахнущие отходы сплавляют в нужном направлении. С другой стороны, Дума не должна была мешать ему, Столыпину, проводить ту политику, которую он считает нужной.

Вожделенная цель была достигнута путем известной манипуляции с избирательным законом. Зимой 1907 г. он был изменен таким образом, что Третья Дума получилась совершенно не похожей на Первую и Вторую. В социальном отношении определяющую роль в ней стали играть т.н. «цензовые элементы» – крупные помещики и буржуа; в партийном – Столыпину и его сотрудникам удалось добиться того, что в Думе не было постоянного большинства. Справа были черносотенцы различных оттенков, настроенные исключительно на репрессии; слева – либералы-кадеты и их союзники, готовые поддержать реформы; в центре – октябристы, которых справедливо называли «стольпинской партией». Они готовы были поддержать своего негласного патрона и в репрессиях, и в реформах.

Таким образом, в Третьей Думе с первых же ее заседаний бесперебойно заработал так называемый «октябристский маятник» – результаты голосования полностью зависели от позиции центристов-октябристов. Голосуют они –

по указке Столыпина – с правыми – образуется и побеждает правооктябристское большинство; с кадетами – левооктябристское. Подобная Дума полностью соответствовала тем требованиям, которые предъявлял к ней Столыпин. С одной стороны, он без малейших затруднений проводил через нее свои законопроекты как репрессивного, так и реформистского характера, то есть она «не мешала». С другой – Столыпина ненавидели левые и терпеть не могли правые; с еще более сильной неприязнью они относились друг к другу. Соответственно, в Думе постоянно происходили скандалы, депутаты произносили обличительные речи, бросали друг в друга разнообразные предметы и тому подобное – то есть она «отвлекала».

Отмечу, что ни о каком реальном сотрудничестве государственной власти с Думой говорить опять-таки не приходится. Столыпин действовал совершенно авторитарно (разумно или глупо, успешно или неудачно – это, очевидно, вопросы другого порядка); Дума же служила ему не более чем прикрытием. Поначалу подобная политика могла показаться оправданной. Но в самодержавном государстве, каковым, по сути своей, оставалась Россия, авторитарность премьера неизбежно ограничивалась авторитарностью самодержца... А Николай II был самых правых убеждений. По мере того как «наверху» проходил страх перед революцией, Столыпин все чаще сталкивался с сопротивлением монарха. Кроме того, на него нашлась и вполне «конституционная» узда – Государственный совет.

Этот орган, созданный одновременно с Думой, примерно с той же целью, какую предписывал ему в своем плане Сперанский, частично состоял из бюрократов, назначаемых царем, частично из выборных – но исключительно «цензовиков». Госсовет был, безусловно, правый, никакого «маятника» там не было и в помине. С 1910 г. Столыпин все чаще стал входить в конфликт с этим органом, куда поступали на обсуждение законопроекты, без труда проведенные им через Думу. При поддержке царя Госсовет практически блокировал реформаторскую деятельность Столыпина, не

давая ему развернуться в полной мере. Когда же в 1911 г. Столыпин был убит, прекратились даже попытки провести сколько-нибудь серьезные реформы. Все хитроумное устройство Третьей Думы сразу же потеряло всякий смысл, поскольку оно монтировалось под вполне определенного человека. Преемники Столыпина не годились ему и в подметки...

Таким образом, перестроить веками создававшуюся самодержавно-бюрократическую систему, изменить ее в соответствии с изменившимися после отмены крепостного права социально-экономическими условиями так и не удалось. Царская власть и либерально настроенное общественное движение, бывшее в пореформенной России серьезной силой, вместо плодотворного сотрудничества – возможного в принципе – взаимно истощали друг друга в бессмысленном противостоянии, взаимно компрометировали друг друга в глазах народа. Подобная ситуация в конце концов оказалась максимально выгодной для относительно небольшой, но предельно радикальной группировки политиков, называвшей себя Российской рабочей социал-демократической партией большевиков. Результаты известны.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В РОССИИ

От «отеческого обычая» к «регулярному государству» (XVII – первая половина XVIII вв.)

Прежде чем мы перейдем к характеристике генерал-губернаторств как одной из самых важных составных частей системы управления дореволюционной России и генерал-губернаторов как определяющих субъектов этой системы, необходимо сделать несколько предварительных замечаний.

Появление генерал-губернаторств в России явилось своего рода «отложенным» результатом административных реформ Петра I. Хотя великий преобразователь в целом очень последовательно продолжал дело своих предшественников, стремившихся к созданию унитарного, строго централизованного государства, средства для этой цели он, как известно, употреблял сугубо новаторские (для России, во всяком случае), широко используя европейский опыт (и, кстати, нередко с весьма сомнительными результатами). Это произошло и в отношении такого принципиально важного вопроса, как отработка взаимосвязи между центром и регионами. Как справедливо отмечают исследователи, здесь так же, как и в великом множестве других вопросов, Петр в корне нарушил давно сложившиеся традиции.

Московское правительство, на протяжении нескольких веков собиравшее под свою руку раздробленные русские земли, выработало для себя в этом процессе некоторые

элементарные правила и очень последовательно их соблюдало. Во-первых, Москва не любила больших областей – уезды, на которые подразделялась подвластная ей территория, были, как правило, невелики. Во-вторых, посылая в уезд своих представителей-наместников (с XVII века – воевод), центр в то же время для ведения массы административных дел стремился широко использовать ответственных лиц, выбранных из среды местного населения, – целовальников, старост. И, наконец, в-третьих, – что может быть наиболее важно – московское правительство избегало создавать промежуточные инстанции между центром и регионами. Царские уезды воевода получал непосредственно в свои руки и, в свою очередь, отписывал прямо на Москву – царю. Тесную связь центр поддерживал и с местными выборными.

Смысл подобной системы очевиден – население всех многочисленных уездов, за годы раздробленности отвыкшее от единой власти, постоянно приучалось теперь к мысли, к ощущению, что у всех разнородных земель, входивших в состав Русского государства, есть один центр – Москва, что именно там решаются все насущные важные вопросы. Однако, как справедливо отмечал А.Д. Градовский, централизация подобного рода, чрезвычайно «выгодная в политическом отношении, представляла большие невыгоды в отношении административном». Действительно, сколько-нибудь стабильной системы органов управления в уездах практически не было и быть не могло – «за всем должно было обращаться в Москву», где сосредоточивалось не только высшее управление (царь, Боярская дума), но и, так сказать, «среднее» – территориальные приказы.

Как уже было отмечено, Петр изменил традиционному подходу в этом вопросе, причем непосредственным толчком к этому явились внешние обстоятельства. По мере присоединения прибалтийского региона в ходе Северной войны становилось все очевидней, что действовать на этих сугубо чужих, нерусских землях московским «отеческим обычаем» очень сложно, а может быть, и невозможно. В то же время на этих территориях, давно принадлежавших шве-

дам, функционировало губернское устройство, которое Петр с охотой и удовольствием позаимствовал у неприятеля. Еще в 1703 году, в связи с основанием Санкт-Петербурга, была учреждена Ингерманландская губерния, а позже, в 1708–1710 годах, в ходе областной реформы, подобные губернии были созданы по всей России.

Не будем входить в подробности, отметим лишь, что с этой реформой Петра постигла одна из главных неудач. Что вполне годилось для Швеции, плохо прижилось в России. По сути, Петр уничтожил то хорошее, что было при старой организации власти – тесные, хотя и сумбурные, связи между центром и регионами; достичь же главной цели – создать сколько-нибудь стабильную и действенную систему органов управления на местах – ему так и не удалось.

Огромные по территории губернии (десять на всю Россию) были отданы под власть губернаторов, сконцентрировавших в своих руках всю полноту власти во всех сферах управления (своего рода маленьких царьков). Им подчинялся весьма обширный штат чиновников, деятельность которых, однако, так и не была толком скоординирована. Точно так же отсутствие координации отличало и те требования, с которыми обращались к губерниям коллегии – новые центральные органы управления, каждая из которых занималась лишь одной категорией дел в отличие от прежних территориальных приказов – там уезд воспринимался как единое целое.

В результате губерния петровских времен превратилась в своего рода административного монстра: огромного, тугоподвижного, находящегося вне сколько-нибудь четко организованной системы управления. Не удивительно, что уже самому Петру нередко приходилось посылать воинские команды на места, в губернии, для наведения порядка и сбора податей – то есть действовать средствами чрезвычайного положения. При немощных преемниках преобразователя как губернское управление само по себе, так и связи его с центром в еще большей степени продолжали ветшать и разрушаться.

Генерал-губернаторы как связующее звено (вторая половина XVIII века)

Относительный порядок в этом хаосе навела Екатерина II, и одним из чрезвычайно важных элементов этого порядка стало учреждение должности генерал-губернаторов.

Истоком губернской реформы Екатерины II можно считать знаменитый указ от 21 апреля 1764 г., получивший известность как «наставление губернаторам». Именно в нем содержалось знаменитое положение, возможно, банальное само по себе, но принципиально важное для России того времени: «Все целое не может быть отнюдь совершенно, если части его в не порядке и не устройстве пребудут. Главные же части, составляющие целое отечество наше, суть губернии...» Указ же, четко определивший механизм местного управления, – «Учреждение о губерниях» – был опубликован в 1775 году.

Опять-таки не вдаваясь в подробности, отметим, что губернская реформа Екатерины II, в отличие от петровской, была хорошо продумана и, в основном, вполне результативна. Проведя новое, гораздо более разумное, чем при Петре, административно-территориальное деление (40 губерний, примерно с одинаковой численностью населения каждая), Екатерина развернула строительство системы управления на двух уровнях – в губерниях и уездах, стремясь как можно теснее связать их друг с другом. При этом в основу реформы был положен воспринятый с Запада, причем достаточно органично, принцип разделения властей.

Губернатор, формально являвшийся «хозяином» всей губернии, реально занимался административным управлением, вмешиваясь в другие сферы только в случае крайней необходимости. Осуществлял он свои функции при помощи губернского правления. В уезде непосредственным агентом губернаторской власти являлся капитан-исправник с несколькими помощниками (заседателями). Характерно,

что, в отличие от всех остальных чиновников, эти избирались из среды местного дворянства, что еще больше сплачивало формальных агентов высшей власти (чиновников) и неформальных (дворян-помещиков). Раскладкой и сбором податей в губернии ведала особая Казенная палата во главе с председателем (обычно он же – вице-губернатор). На уездном уровне этими делами занимался подчиненный Палате уездный казначей. Точно так же, независимо от губернаторов, функционировали судебные органы, причем губернский суд был высшей апелляционной инстанцией для уездного. Эта реформа вполне оправдала себя и в екатерининские времена, и в исторической перспективе: с незначительными изменениями подобная система органов местного управления просуществовала вплоть до 1917 года. Таким образом, Екатерина II на крепостном фундаменте, подготовленном ее предшественниками, весьма умело отстроила первые – нижние – этажи системы управления. Однако на высшие – центральные органы управления – ее сил не хватило; здесь все осталось по-прежнему. Коллегии находились в столь же полном несоответствии с новыми губернскими органами, как и со старыми. Вместо реорганизации их в связи с переменами, произошедшими на местном уровне, Екатерина пошла по другому пути: можно сказать, что она не решила проблему, а попыталась ее обойти.

Жалуясь на то что коллегии «заслоняют» губернии от правительства, Екатерина создала механизм прямой связи между центром (а точнее сказать, самой императрицей) и регионами. Главным передаточным звеном в этом механизме стали именно генерал-губернаторы. Их функции, так же как и место в системе государственных учреждений, были достаточно четко определены в «Учреждении о губерниях»: генерал-губернаторы должны были осуществлять «общее наблюдение за администрацией и сословиями, сообразно видам высшего правительства». Сами они, в свою очередь, являлись объектами наблюдения со стороны императрицы и Сената, то есть коллегии были над ними совершенно не властны.

Итак, речь шла о надзоре центральной власти, прежде всего самой царицы, над деятельностью местных органов управления с помощью своих личных агентов. Подобное понятие вполне допустимо по отношению к генерал-губернаторам екатерининских времен – отбор здесь происходил в полном соответствии с личными отношениями к ним царицы: на этот пост попадали лишь сановники, многократно проверенные и вызывавшие у Екатерины безоговорочное доверие, – такие как П.А. Румянцев или Г.А. Потемкин.

Итак, губернская и уездная администрация должны были заниматься своей повседневной, предписанной им «указом» деятельностью, а генерал-губернаторы от лица самой императрицы должны были за этой деятельностью надзирать. Естественно, что этот надзор не ограничивался пассивным наблюдением. «Указом» допускалось их прямое вмешательство в губернские и тем паче уездные дела с целью пресечения всякого рода безобразий. Характерно, что при перечислении поводов для вмешательства законодатель на первый план выдвигал борьбу «со всякого рода злоупотреблениями, а наипаче с роскошью безумной и разорительной, обуздание излишеств, беспутства, мотовства, тиранства и жестокости» (совершенно очевидно, что во многих отношениях речь здесь идет о злоупотреблениях не только, и даже не столько, местных чиновников, но и местных дворян-помещиков). Далее на генерал-губернаторов возлагалась борьба с волокитой и разнообразными «неисправностями» местных властей – об их упущениях по службе генерал-губернаторы должны были доносить Сенату, а в случаях вопиющих – самой императрице. Кроме того, генерал-губернаторы должны были проявлять себя как реальная власть в случае народных волнений.

Другими словами, местные власти, как губернские, так и уездные, должны были действовать в рамках определенного порядка сами и обеспечивать его соблюдение со стороны всех слоев местного населения. Когда же этот порядок так или иначе нарушался, на сцене появлялись генерал-гу-

бернаторы. В законодательстве, таким образом, речь шла именно о надзоре; властное же вмешательство агентов верховной власти допускалось лишь в обстоятельствах исключительных.

Однако подобные ограничения ничем реально не гарантировались... Местные власти попадали в полную и безоговорочную зависимость от генерал-губернаторов; последние же, при доверительном отношении к ним императрицы, были, по сути, совершенно бесконтрольны (надзор над ними со стороны Сената при таких обстоятельствах, ясное дело, носил характер совершенно формальный). Ну а поскольку на этот пост императрица вполне сознательно подбирала людей предельно энергичных и деятельных, то почти сразу выяснилось, что реально управляют регионами именно они; губернские же учреждения превратились в исполнительные органы при генерал-губернаторах.

Возможно, в подобной системе был свой смысл – во всяком случае для XVIII века, когда структура управления еще не устоялась, нравы после петровского «цивилизационного» переворота были дикие и на местах нередко происходили злоупотребления и совершались преступления вопиющие. В частности, многие магнаты – особенно сановные, из отставных генералов – просто не подчинялись местным властям, нарушая все и всяческие законы, а те боялись с ними связываться... И правильно боялись: случаев издевательств, избиений, а то и убийств представителей местной власти в летописях ее деяний в это время великое множество: тут капитан-исправника в погребе запрут, там уездного казначея выпорют. (Генерал-аншеф Девиер, например, просто расстрелял из двух пушек земский суд, прибывший к нему для ведения уголовного дела.) В таких случаях, так же как и во многих прочих, генерал-губернаторы, обладавшие огромным авторитетом и вполне реальной властью, были просто незаменимы. Можно привести немало примеров их деятельности во благо.

Но в то же время вполне понятно, почему уже современники называли генерал-губернаторов «сатрапами»: произ-

вольный, незаконный, по сути, характер их управления был очевиден. При их, на деле, безграничных полномочиях возникало вполне оправданное ощущение, что Россия теряет единство, распадается на составные части, связанные почти исключительно личностью императрицы, – ведь только ей подчинялись генерал-губернаторы в своей деятельности. Закон был им не писан, или, по выражению А.Д. Градовского, «они сами себе были закон». Позднее, в начале XIX века, ситуацию с генерал-губернаторским управлением очень четко обрисовал М.М. Сперанский: «...Там, где звание сие существует, действие его, яко личное и с точностию неопределенное, колеблется между самовластьем и послаблением».

Представляется, что Екатерина II прибегла к подобному управлению, основанному на личном произволе, пусть и очень незаурядных людей, не от хорошей жизни. Создав хорошо организованную, но весьма разветвленную и многообразную систему управления на местах и не сумев (или не успев) связать ее воедино с центральными органами управления, она явно ощущала угрозу возможного надлома, разрыва единой административно-бюрократической системы. Генерал-губернаторы должны были компенсировать очевидную слабость и ненадежность связей между центром и регионами. Однако, как всякая чрезвычайщина, генерал-губернаторское правление выглядело мерой временною – вплоть до создания единой для всей Империи системы органов управления, опирающейся «на твердое основание положительных законов».

«Линейная система» и генерал-губернаторы (начало – середина XIX века)

Подобная система была создана в ходе реформ «дней александровых прекрасного начала» – в первые годы правления Александра 1-го. В 1802 г. двумя указами – об учреждении министерств и о правах Сената – молодой царь

завершил многовековое (на три с лишним столетия) дело своих предшественников.

Министерства, заменившие обветшалые коллегии, выгодно отличались от них по целому ряду показателей. Во-первых, коллегиальный принцип (каждой коллегией управлял Совет во главе с президентом и вице-президентом) был заменен принципом единоличной власти и столь же единоличной ответственности каждого отдельно взятого министра. Во-вторых, при определении сферы деятельности каждого министерства функциональное деление проводилось гораздо более четко и, главное, разумнее, чем в случае с коллегиями. Именно в это время появляются хорошо нам знакомые МВД, Минфин, Минюст и т.д. И, наконец (что, может быть, наиболее важно), впервые за всю историю России центральные органы управления были реально увязаны с местными. В это время создавалась, а чуть позже при М.М. Сперанском отлаживалась так называемая «линейная система» – губернаторы становились чиновниками МВД, назначались по представлению соответствующего министра, от него получали указания, перед ним отчитывались – точно так же, как капитан-исправник получал указания от губернатора и перед ним был ответственен за свою деятельность. Аналогично проводились сквозь всю страну линии Минфина – через Казенную палату, вплоть до уездного казначея; Минюста – через губернские и уездные суды. Что же касалось Сената, то он был как бы вынесен из этой стройной и единообразной системы, поставлен особняком – с целью контроля над ней с позиций соблюдения законности. В частности, ему вменялось в обязанность ревизовать с этих позиций местные органы управления.

После подобных реформ генерал-губернаторы явно стали ненужным, лишним звеном в системе управления. Их обязанности теперь прекрасно выполнялись преобразованными органами центрального управления. Министерства контролировали губернскую администрацию с точки зрения добросовестного исполнения ею своих обязанностей, Сенат – с позиций соблюдения законности.

Однако потребовалось время, чтобы осознать то, что сейчас представляется очевидным. Прежде чем упразднить генерал-губернаторства за явной ненадобностью, их попытались преобразовать.

В 1816 г. по повелению Александра I был разработан проект, по которому наместничества укрупнялись (в каждое должны были входить от 3 до 5 губерний) и становились промежуточным уровнем управления между центральным и местным. Проект сразу же вызвал серьезные возражения среди высших сановников. В частности, последовательным противником намечавшейся реформы был тогдашний министр финансов Гурьев, весьма убедительно доказывавший несовместимость министерств с генерал-губернаторствами.

Тем не менее в 1819 году Александр I пошел на эксперимент, поручив одному из своих приближенных – генерал-адъютанту Балашеву – «проверить проект на деле»: последний был поставлен во главе вновь образованного генерал-губернаторства из Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской губерний. В инструкции, данной Балашеву, Александра объяснял, чего он ждет от свежее испеченного генерал-губернатора: «Министерства по обязанности своей должны давать направление каждой своей части, а подведомственные им места и лица в губернии должны делать распоряжки и исполнения по предписанию министров на основании законов и устоев; генерал-губернатор же всегдашний наблюдатель всякого распорядка в порученной ему губернии или ежеминутный инспектор всех частей внутреннего исполнения в округе».

Уже из текста инструкции очевидно, что стремление Александра сохранить генерал-губернаторов было вызвано не столько действительно насущной необходимостью, сколько явным недоверием к им самим отлаженной системе управления. Ведь совершенно очевидно, что «ежеминутный инспектор» губернским органам правления нужен только в том самом случае, если они работают из рук вон плохо – причем постоянно... При нормальном же ходе дел функции наблюдателя за работой местной администрации мог-

ли – и должны были – исполнять именно министерства, – так ведь, собственно, и следовало из сути министерской реформы. Генерал-губернаторы же при новой системе выглядели либо надоедливymi и, в принципе, ненужными опекунами реально работающей губернской администрации, либо столь же ненужными дублерами соответствующих министерств (ср. определение Сперанского: «Генерал-губернатор есть не что иное, как министерство, действующее на месте»).

Итоги затянувшегося эксперимента подвел комитет 1827 года, созданный уже после смерти Александра I его преемником Николаем I. Члены комитета практически единогласно пришли к выводу, что в административном отношении эксперимент бесполезен, в политическом же – просто вреден. По их мнению, «желаемый порядок в губерниях только тогда утвердится, когда будут постановлены точные и единообразные правила для всех мест управления и суда, когда места сии зависеть будут от одного центрального верховного правительства, которое руководствовалось бы одинаковым началом и, так сказать, единым движением». Таким образом, члены комитета еще раз подчеркнули несовместимость «линейной» системы с «островной» – как не без остроумия определил генерал-губернаторства один из сановников, решительно и безоговорочно высказавшись в пользу «линейной».

Это решение вполне отвечало духу царствования Николая I – большого поклонника централизации и единообразия в сфере управления. В 1830–1850-х годах генерал-губернаторства в основном упраздняются: Николай очень последовательно придерживался мысли, что они совершенно не нужны на территории, «управляемой на общих основаниях». Его сын и наследник Александр II в начале своего царствования придерживался той же политики: им, в частности, в 1866 г. было «за ненадобностью» ликвидировано Санкт-Петербургское генерал-губернаторство. Вообще в Великороссии к этому времени осталось только одно Московское генерал-губернаторство, да и то сохранялось с це-

лями не административными, а чисто декоративными – внешние пышность и блеск генерал-губернаторского правления должны были, хотя бы отчасти, компенсировать ста-рушке Москве потерю ею первенствующего значения в Империи.

***Генерал-губернаторы как исключения,
постепенно ставшие правилом (середина
XIX – начало XX века)***

Поначалу казалось, что речь действительно идет об исключениях: в конце царствования Николая I, в 1853 г., им была подписана «Инструкция генерал-губернаторам», в соответствии с которой целый ряд губерний получал «особое учреждение»: губернии Сибирские, Кавказские, Малороссийские, Прибалтийские и ряд других. Как видно из этого перечня, речь шла о так называемых окраинах империи – пограничных регионах, максимально удаленных от центра и населенных в основном «иностранцами». Эти губернии объединялись в генерал-губернаторства. Сразу же нужно отметить, что «новые», условно говоря, генерал-губернаторы по сути своей деятельности очень напоминали «старых», выгодно отличаясь от них четким и определенным юридическим обоснованием своего положения. «Старых» генерал-губернаторов законодатель тщетно пытался вписать в общую систему управления, куда они никак не вписывались, «новые» – очень последовательно выводились за ее рамки как исключение из общего закона вследствие особого характера местности, которой они управляют. «Старые» генерал-губернаторы, которым формально предписывалось лишь «наблюдать», реально управляли, нарушая, по сути, свой законный статус; «новые» – совершенно недвусмысленно получили право высшего управления на вверенной им территории.

Мы не будем вдаваться здесь в подробные рассуждения о том, насколько необходимо было в российских условиях

прибегать к подобным исключениям. Очевидно, что в ряде случаев, как, например, в Сибири или Оренбургской губернии, особый статус был отчасти оправдан вполне реальными проблемами, связанными с управлением этими обширными, малонаселенными, нередко труднодоступными территориями. В то же время в Прибалтике или так называемом Западном крае (Польша и Литва) подобная мера принималась прежде всего для того, чтобы облегчить русификацию местного населения. Как бы то ни было, исключения из общего правила всегда неизбежны, тем более в такой огромной и многонациональной державе, как Российская империя; в контексте данной работы на них, казалось бы, вообще не стоило останавливаться – если бы волею исторических судеб России эти исключения совершенно неожиданно не стали общим правилом.

Дело в том, что при очень расплывчатом и неясном определении компетенции «исключительных» генерал-губернаторов («устранять всякий повод к ложным понятиям, улучшать сельское хозяйство... поощрять все частные и общественные предприятия») «Инструкция» предоставляла им вполне реальную и очень сильную власть. Действуя вне общей системы управления, генерал-губернатор был практически независим от центра, подчиняясь непосредственно императору; зато администрация вверенных ему губерний, не говоря уже о местном населении, зависела от него полностью. Генерал-губернатор сносился с министерствами как равный с равными; в его обязанности не входило «отчитываться» перед министрами – он должен был лишь «доводить до их сведения». В то же время никакая мера относительно территории, находящейся в ведении того или иного генерал-губернатора, не предпринималась иначе, как «по предварительном истребовании его соображений и заключений». Губернская администрация была практически лишена возможности входить в контакт с министерствами через голову генерал-губернатора; зато последний своей властью мог сместить любого из ее представителей за исключением высших (губернатора и вице-губернатора), в отношении же этих последних он имел право ходатайство-

вать перед соответствующими министерствами об их смещении, и ходатайства его, как правило, удовлетворялись. И так далее и тому подобное... Короче говоря, на окраинах Российской империи на протяжении двух десятилетий отработывался механизм чрезвычайного положения, который, когда пришло время, стал определяющим для всей ее территории.

Это время пришло в конце 1870-х годов, на пике революционного движения, когда террористы-народовольцы начали настоящую охоту на царя Александра II. После очередного покушения 5 апреля 1879 г. был опубликован царский указ о введении «временных генерал-губернаторств» в Петербурге, Харькове и Одессе и о предоставлении соответствующих прав генерал-губернаторам Московскому, Киевскому и Варшавскому (причем им подчинялись не только те губернии, в которых они находились, но и смежные с ними). В соответствии с этим указом власть генерал-губернаторов, и без того исключительная, еще более усиливалась. Они, в частности, получали право по своему усмотрению предавать военному суду лиц, подозреваемых в государственных преступлениях, арестовывать и высылать без суда и следствия («административно») всех лиц, «дальнейшее пребывание которых в тех местностях они признают вредным»; приостанавливать и запрещать периодические издания и «вообще принимать те меры, которые по местным обстоятельствам они признают необходимыми для охранения спокойствия в вверенном им крае».

Сейчас кажется совершенно очевидным, что с точки зрения борьбы с непосредственной причиной, породившей этот указ, – террористической деятельностью небольшой группы отлично законспирированных революционеров-подпольщиков, – меры, предлагаемые им, были совершенно бессмысленны, если не вредны. В это время в стране отсутствовало массовое народное движение; народовольцы в целом не пользовались сколько-нибудь широкой общественной поддержкой – указ же предлагал превратить генерал-губернаторов в орудие борьбы именно с народом и обществом... Общество все эти вышеназванные, сугубо репрессивные, меры лишь

обозлили, придав ему оппозиционный характер; предотвратить же гибель Александра II они не смогли.

Несмотря на это, сын и преемник убитого царя Александр III сделал все, чтобы «временные» генерал-губернаторы стали, по сути дела, постоянными. В августе 1881 года он утвердил «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественной безопасности». В соответствии с этим «Положением» в том случае если генерал-губернатор считал, что «для охранения порядка во вверенной ему местности применение действующих постоянно законов окажется недостаточным», то ему предоставлялось право объявлять эту местность в «состоянии усиленной охраны». Подобное «состояние» позволяло ему пользоваться всеми репрессивными возможностями, которые были перечислены выше: арестовывать, ссылая, предавать военному суду и т.п. Другими словами, по своему усмотрению генерал-губернаторы получали возможность приостанавливать действие законов и вводить чрезвычайное положение... Нет необходимости говорить, что они пользовались этими «временными» возможностями постоянно.

На протяжении 36 лет, вплоть до 1917 года, подавляющее большинство территорий Российской империи практически непрерывно находилось в «состоянии усиленной охраны». В.И. Ленин совершенно справедливо определил «Положение о мерах к охране государственного порядка...» как «фактическую российскую конституцию», и, очевидно, нет необходимости говорить о том, насколько подобный порядок затруднял нормальное развитие страны.

В истории генерал-губернаторов на Руси, таким образом, можно четко выделить три этапа. Поначалу, во второй половине XVIII века, они появляются здесь как нечто явно преходящее, как результат незавершенности управленческих структур, несоответствия во взаимоотношениях центрального и местного уровней власти. Учитывая тот грандиозный переворот, который совершил Петр I, принимая во внимание всю сложность процесса «вживления» в русский организм европейских административных структур, генерал-губернаторства второй половины XVIII – на-

чала XIX вв. вполне можно рассматривать как неизбежную болезнь роста.

Подобную оценку подтверждает и весь дальнейший ход становления системы управления в России. Министерская реформа, создание «линейной» системы управления, налаживание четкой и стабильной взаимосвязи между центром и местами – все это приводит к изживанию генерал-губернаторств, к превращению их в исключения, порожденные особенностями того или иного региона.

И, наконец, возрождение генерал-губернаторов в новом монструозном виде, когда репрессивные функции в их управлении явно преобладали над всеми прочими, когда основные силы местной администрации поглощались борьбой с действительными или воображаемыми противниками, – все это, несомненно, свидетельствовало об одряхлении власти, о потере ею своих творческих потенций. По сути дела, генерал-губернаторства в контексте «Положения об охране» представляются нам одним из многих и, может быть, самых ярких симптомов приближающегося краха господствовавшей системы управления.

САМОУПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ САМОВЛАСТЬЯ

«Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего – монарха – разветвляется так: первое лицо в государстве – государь, правящий всем государством; за ним второе – губернатор, который правит губернией, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье – городничий, «сидящий на городе»... Так воспроизводил народное понятие о власти Н. С. Лесков в своем замечательном «Однодуме», понятие не только выразительно-лаконичное, но и вполне справедливое.

Конечно же, помимо означенных здесь «первых лиц» существовала еще масса чиновников всех рангов: царь осуществлял свою власть посредством центрального правительства (министров, директоров департаментов и прочих); губернатор – при помощи губернского правления; штат, окружавший городничего, хорошо известен читателю по гоголевскому «Ревизору». Но у р о в н и власти обозначены Лесковым совершенно точно: именно так, тремя уступами, грандиозная пирамида российской бюрократии «снисходила» к своему основанию – придавленному ею российскому обывателю, безгласному и бесправному... Связью же, лучше всякого цемента крепившею сию пирамиду в единое целое, была строжайшая централизация: все носители власти – естественно, кроме самого «первого лица», – назначались вышестоящими инстанциями, сверху вниз; распоряжения этих инстанций определяли и всю их деятельность, в которой они регулярно отчитывалось, – снизу вверх. «В России все чиновники живут, задрав рыло кверху» – эта вышедшая из круга радикальной интеллигенции характе-

ристика подобной системы справедлива, очевидно, не только для России прошедших времен... В самом деле: сверху назначают, сверху награждают, сверху распекают... От тех же, кто находится внизу, кем, собственно, и приходится управлять, чиновничья судьба практически не зависит. Последовательно проведенная бюрократизация системы управления неизбежно превратила ее в нечто самодовлеющее.

В российской истории, казалось бы, можно отыскать исключения из этого «железного правила»: временами центральная власть как будто нарушала свои собственные принципы и привлекала к управлению выборных – представителей различных сословий. Так, в XVI веке, в первые годы царствования Ивана Грозного, в России была проведена реформа, передававшая целый ряд важных функций местного самоуправления губным и земским старостам – выборным от служилых людей и черносошных крестьян. Через двести с лишним лет – в 1775 году – Екатерина II, проводя губернскую реформу, опять-таки допустила формирование административных и судебных органов низшего, уездного уровня на выборных началах – туда выдвигали своих представителей все те же дворяне и городская верхушка.

Однако это были те самые исключения, которые лишь подтверждали общее правило. В. О. Ключевский совершенно справедливо оценивал подобные «демократические преобразования» как «обычный прием устроительной политики» центрального правительства: «требовался новый налог; требовались новые ответственные и даровые органы местного управления – обязательная поставка была возложена на местное общество». Самоуправлением здесь и не пахло: выборные органично входили в бюрократическую систему, занимали в ней соответствующие ниши, превращаясь в чиновников, представлявших интересы центральной власти, а отнюдь не тех, кто их выбирал.

Таким образом, вводя выборные должности, власть не ослабляла свои структуры и даже не видоизменяла их – она лишь облегчала себе жизнь, получая подкрепление извне, из небюрократической среды. Она заходила и еще дальше в

этом направлении: к концу XVIII века правительство чуть ли не всю полноту ответственности за материальное положение крепостных, их поведение, выплату ими податей и прочее возложило на хозяев – помещиков, превратив тем самым неслужащих дворян в своих функционеров. «У меня сто тысяч даровых полицмейстеров», – говаривал по этому поводу Николай I. А Л. В. Дубельт, управляющий делами III отделения собственной его императорского величества канцелярии, писал: «Помещик – самый надежный оплот государя. Никакое войско не заменит той бдительности, того влияния, какое помещик ежемесячно распространяет в своем имении. Уничтожь эту власть, народ напрет и хлынет со временем на самого царя». Бюрократическая пирамида, вбирая в себя чуть ли не весь господствующий класс, обретала тем самым мощный фундамент.

Но если на деле власть бюрократии вплоть до эпохи реформ ни в чем не претерпела ущерба, то в теории закономерность ее господства постепенно начала подвергаться все большему сомнению. Оставив в стороне пылкие мечты и грандиозные проекты, рождавшиеся в среде оппозиционного общества, обратимся к тому замечательному плану государственного преобразования, который вышел непосредственно из бюрократической среды.

Речь идет о плане одного из ведущих государственных деятелей начала XIX века М. М. Сперанского, созданном по прямому указанию самого царя, Александра I, озабоченного несовершенством бюрократической системы управления. В преамбуле этого плана Сперанский прямо писал, что Россия приближается к неминуемой катастрофе, предвестником которой является падение престижа власти в народе, равно как и утрата ею морального авторитета в обществе. Власть не уважают постольку, поскольку «настоящая система правления несвойственна уже более состоянию общественного духа». Во имя спасения России Сперанский настаивал на кардинальных переменах в характере всего государственного строя.

Не вдаваясь в подробный анализ этого действительно

грандиозного плана, отметим то, что представляет для нас наибольший интерес: в нем впервые в истории русской общественной, а тем более чиновничьей мысли была детально разработана структура органов самоуправления, которой предстояло, по мысли Сперанского, потеснив структуры бюрократические, органично сосуществовать с нею в совместной работе на благо России.

Сперанский предполагал, что, наряду со старой административной системой, на всех территориальных уровнях – в волостях, уездах, губерниях – будут созданы единообразные выборные органы – думы. В думских выборах, проводимых на основе имущественного ценза, должны были принимать участие представители всех сословий, за исключением крепостных крестьян. Функции новых органов определялись Сперанским четко: собираясь раз в три года, думы выбирают членов правления, которым предстоит вплоть до следующего собрания вести местное земское хозяйство; контролируют местные доходы и расходы; выдвигают своих представителей в «вышестоящую» думу (волостная – в окружную, окружная – в губернскую) и сообщают ей о местных нуждах. Таким образом, принципы построения и деятельности органов местного самоуправления в корне отличались от бюрократических: здесь система строила себя снизу вверх, а действовала во имя удовлетворения интересов тех, кто стоял ниже...

Венчала эту систему Государственная дума, состоявшая из гласных, выдвинутых думами губернскими; этот орган, имевший мощную опору в местных органах самоуправления и представлявший по сути интересы населения страны, наделялся Сперанским законодательными функциями.

Таким образом, оставляя за центральной властью все орудия административного управления, Сперанский в то же время пытался вывести ее из бюрократического затворничества, предоставить ей возможность услышать голос различных слоев населения, составить ясное представление о народных нуждах. На всех уровнях управления, вплоть до высшего, автор проекта предусматривал живое взаимодей-

ствие между властью, назначаемой сверху и проводящей в своей деятельности интересы центра, и органами выборными, выражавшими интересы местного населения. В результате должно было возникнуть вожаденное равновесие между удовлетворением государственных нужд и народных потребностей, которое совершенно отсутствовало в деятельности самодержавно-бюрократического аппарата.

...Ненависть со стороны высшей бюрократии и столичного дворянства, ссылка за государственную измену – вот те «награды», которые получил автор крамольного плана. И, очевидно, нет необходимости доказывать неосуществимость его идей в условиях крепостной, разделенной на противостоящие друг другу сословия России. Но как путеводная звезда, как идеал – которому, кстати, так и не суждено было воплотиться в действительность, – план Сперанского сыграл выдающуюся роль в борьбе за преобразование Российского государства.

Первые робкие шаги на пути реорганизации государственного строя власть предприняла в 1860-х годах, в эпоху реформ, да и то не по своей воле. Отмена крепостного права предопределила необходимость дальнейших преобразований, и прежде всего – в системе местного управления. В самом деле, после того как крестьяне получили свободу и минимум гражданских прав, «даровые полицмейстеры» – помещики волей-неволей сложили свои полномочия... Сразу же встал вопрос об органах уездного уровня, которые также состояли из представителей поместного дворянства, а управляли всем местным населением, – подобные органы являлись порождением крепостного права и должны были исчезнуть вместе с ним.

Конечно же, у правящей бюрократии был большой соблазн решить дело с помощью верного, испытанного средства: распространить свои структуры донизу, до самой «почвы» и тем самым заполнить возникший вакуум власти. Однако правительству пришлось убедиться, что в пореформенной России оно не будет иметь прежней свободы действий, – в стране возникла новая, неведомая ранее сила, с ко-

торой власть так или иначе вынуждена была считаться, – сила общественного мнения.

Так, в 1862 году тверское дворянское собрание приняло постановление, в котором, требуя дальнейших преобразований в сфере судебной, финансовой и прочих, выражало твердое убеждение в том, что «осуществление этих реформ невозможно путем правительственных мер... Предполагая даже полную готовность правительства провести реформы, дворянство глубоко проникнуто убеждением, что правительство не в состоянии их совершить...». Заявляя таким образом о полной несостоятельности правящей бюрократии, тверские дворяне указывали путь, на который «должна вступить власть, чтобы спасти себя и общество», – созвать «собрание выборных от всего народа без различия сословий», не больше и не меньше...

Схожие призывы раздавались и в других дворянских собраниях – рязанском, московском, тульском. Даже консервативно настроенные помещики не скрывали своей неприязни к бюрократии, требуя, чтобы она поделилась властью, правда, не со «всеми народом», а только с ними, дворянами, компенсировав тем самым ущерб, нанесенный «благородному сословию» крестьянской реформой... И вся эта критика разворачивалась на фоне крестьянских бунтов, студенческих волнений, подпольной деятельности радикалов.

Правительство на глазах теряло присущую ему самоуверенность. Один из самых компетентных его членов министр внутренних дел П. А. Валуев, предлагавший Александру II пойти на некоторые уступки обществу, обращал его внимание на то, что власть теряет опору среди населения. «Меньшинство гражданских чинов и войско, – писал он, – суть ныне единственные силы, на которые правительство может вполне опереться». И царь согласился с подобной оценкой положения в стране, пометив на полях: «Грустная истина...»

В этих условиях правящая бюрократия уже не в силах была сохранить свое всевластие. Она отступила перед новой силой на местах, в уездах и губерниях – там, где, с одной стороны, все равно не миновать было переустраивать

систему управления, а с другой – отступление представлялось сравнительно безопасным.

«Положения о губернских и уездных земских учреждениях», получившие законную силу 1 января 1864 года, по содержанию несколько напоминали «План» Сперанского, но ухудшенный и искаженный донельзя. Прежде всего «пострадала» структура предполагавшихся органов. В соответствии с «Положениями» население уездов раз в три года должно было избирать своих представителей в уездные земские собрания, которые собирались ежегодно для решения следующих вопросов: разработка общего плана ведения местного хозяйства; утверждение сметы доходов и расходов и выбор из своей среды членов управы – постоянно действующего распорядительного земского органа. Кроме того, уездные гласные выдвигали своих представителей в губернские собрания, формируя тем самым земские органы высшего уровня. Деятельность губернского земства определялась теми же задачами, что и уездного, но, естественно, в масштабах всей губернии.

По сравнению с той структурой самоуправления, которую предполагал создать Сперанский, незавершенность и непоследовательность этой системы органов бросается в глаза. Как отмечали многочисленные критики реформы, «земское строение» оказалось лишенным как фундамента – низших, волостных земств, так и крыши – общероссийского представительного органа, который, подобно предполагавшейся Сперанским Государственной думе, венчал бы собою земскую систему. А это, с одной стороны, неизбежно отрывало подобную систему от «земли», от повседневных, самых насущных нужд местного населения, а с другой – лишало ее возможности действовать как единое целое, представлять интересы всего «земского», нечиновного населения России.

В отношении организации выборов был также сделан заметный шаг назад по сравнению со Сперанским. Если последний в основу выборов положил имущественный ценз, то члены подготовительной комиссии исходили прежде всего из феодального, сословного принципа – имущественное

положение избирателей играло в их проекте подчиненную роль. В соответствии с этим принципом все население уезда делилось на три группы избирателей, так называемые курии. В первую входили землевладельцы, имевшие не менее 200 десятин земли или пользовавшиеся годовым доходом не менее 6 тысяч рублей; во вторую – горожане с аналогичным годовым доходом; в третью – крестьяне. В отношении крестьянской курии имущественный ценз не определялся, зато выборы были здесь непрямыми – носили многоступенчатый характер: сельские общества выдвигали своих представителей на волостной сход, на сходах выбирали выборщиков, и лишь эти последние определяли, кто будет гласным крестьянства в местное уездное управление.

Здесь побуждения власти были совершенно ясны: несмотря на все трения, которые возникали у правительства в это время с дворянством, оно все же доверяло «благородному сословию» куда больше, нежели нарождавшейся буржуазии или крестьянству. И создавая, по жестокой необходимости, земство, власть сделала все, чтобы поставить его под контроль дворянства. С помощью несложных цифровых выкладок была сконструирована такая избирательная система, которая обеспечивала численное преобладание поместного дворянства в уездном и, соответственно, в губернском земствах. Ведущая роль, предусмотренная правительством этому сословию в местном управлении, подчеркивалась еще и тем, что по «Положению» председателями уездных собраний должны были стать уездные, а губернских – губернские предводители дворянства.

Обращала внимание и ограниченность компетенции земства: власть настойчиво подчеркивала, что его функции определяются исключительно местными, хозяйственными по преимуществу, делами; никакие проблемы общего характера обсуждению в собраниях не подлежат... Все эти и многие другие недостатки новорожденной системы самоуправления сразу же обратили на себя внимание русского общества и подвергались с его стороны критике, зачастую резкой и, как правило, справедливой.

И все же большинство общественных деятелей, и в центре и на местах, весьма оптимистично смотрели на будущее земства. С их точки зрения, реформа впервые в истории России предоставляла возможность для реальной с а м о с т о я т е л ь н о й деятельности населения, деятельности в с о б с т в е н н ы х интересах. В этой работе можно было надеяться не только поднять уровень жизни населения, но и преодолеть отчужденность, недоверие, непонимание, которые веками накапливались во взаимоотношениях противостоящих друг другу сословий. В то же время земская деятельность, по мнению многих, должна была стать чем-то вроде приготовительного класса в школе представительного правления: прежде чем добиваться введения конституции, нужно было научиться своими силами решать местные проблемы. И К.Д. Кавелин, один из самых ярких либеральных деятелей пореформенной поры, выражал мнение многих, когда писал: «От успеха земских учреждений зависит вся наша будущность, и оттого, как они пойдут, будет зависеть, готовы ли мы к конституции. Пора бросить глупости и начать дело, а дело теперь в земских учреждениях и нигде больше».

Невзирая на все многочисленные недостатки в своей организации, земство показало себя вполне жизнеспособным, развернув на местах активную и весьма плодотворную деятельность. Либерально настроенные земцы поначалу составляли большинство во многих уездах и губерниях; а по тем временам быть земцем-либералом означало быть искренне заинтересованным в результате своей работы. Под руководством подобных деятелей многие земства упорно и не без успеха пытались разобраться в причинах местных хозяйственных и прочих неурядиц и устранить их своими силами; если же это оказывалось невозможным, они засыпали ходатайствами губернскую администрацию и высшие инстанции, требуя обратить внимание, помочь, выделить средства...

Либеральный состав собраний и управ обуславливал и соответствующий подбор кадров земской интеллигенции, служившей здесь по найму. В пореформенной России не было недостатка в прекрасных работниках-энтузиастах, горевших

желанием послужить народу своим трудом, своими знаниями, — и земство предоставило им такую возможность. В результате — впервые в истории России крестьянство получило квалифицированную медицинскую помощь; в селах появились отлично подготовленные учителя; трудами земских статистиков была создана объективная и ясная картина хозяйственной жизни страны. Наверное, никогда еще русский интеллигент не трудился так истово, с таким жаром — наконец-то у него появилось с в о е реальное благое дело.

Работа кипела... Но она имела смысл лишь постольку, поскольку соблюдалось правило: земства действуют свободно и независимо, — недаром ведь они назывались органами самоуправления. При этом условии можно было преодолеть любые препятствия — нехватку средств, «недостроенность» системы, непропорциональное представительство сословий; при этом условии местное население и впрямь получало определенную возможность на деле решать свои проблемы и защищать свои интересы. Но именно это условие власть стала нарушать с железным постоянством буквально с первых же лет существования земства: самостоятельность и независимость земства чрезвычайно раздражала бюрократию всех уровней. Ощутив — уже не в теории, а на практике, — сколь серьезна брешь, пробитая в ее структурах земской реформой, власть принялась подгонять новые органы под старый строй.

Кое-какие рычаги, с помощью которых местная администрация могла влиять на деятельность своего новоявленного конкурента, были созданы уже «Положениями» 1864 года. Так, например, в них никак не предусматривались органы, с помощью которых земства сами могли бы собирать с населения соответствующие платежи и проводить в жизнь свои хозяйственные планы. А следовательно, в этом вопросе целиком и полностью зависели от уездных чиновников — исправников и станowych, которые с превеликим удовольствием саботировали чуждую, противную им систему. Впрочем, пассивное сопротивление уездной администрации еще можно было пережить. Куда сложнее было

противостоять активной антиземской деятельности губернских властей, которые буквально с каждым годом получали все более серьезную возможность влиять на органы самоуправления. Во второй половине 1860-х – 1870-х годах губернаторам было дано право отказывать в утверждении любому лицу, избранному земством, но сочтенному им, губернатором, неблагонадежным. Еще большие карательные права губернские власти получают в отношении «лиц, служащих по найму», – земских врачей, учителей и прочих: по малейшему поводу, а нередко и просто по анонимному, ничем не подтвержденному доносу нежелательное лицо не только изгонялось из земства, но и высылалось за пределы губернии...

Кроме того, губернатор становился цензором всех печатных изданий земства – докладов, отчетов, журналов заседаний. Всеми этими правами местная власть пользовалась максимально широко, совершенно открыто относясь к земству как к противнику, которого должно если не уничтожить, то, по крайней мере, покорить.

Аналогичной была и позиция высшей власти: как из дырявого мешка на головы земцев сыпались из центра предостережения и выговоры за «вмешательство» в дела, принадлежащие «кругу действий правительства». Иной раз «дерзость» земцев вызывала и более серьезные меры: приостановку деятельности земских органов, наказание гласных и т.д.

В целом отношение власти к земству как нельзя лучше выразил губернатор – один из героев «Мелочей жизни» М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Я укажу вам на мостик – вы его исправите; я сообщу вам, что в больнице посуда дурно вылужена – вы вылудите. Задачи скромные, но единственные, для выполнения которых мне необходимо ваше содействие. Во всем прочем я надеюсь на собственные силы и указания начальства. Итак, не будем витать в эмпиреях...»

Бюрократия, как будто теоретически осознав необходимость уступок, компромиссов, оказалась совершенно не способной осуществить их на практике. Создав систему само-

управления, которая действительно могла бы стать полем серьезной, полезной для государства деятельности оппозиционных сил, власть сама же в скором времени извратила ее и тем самым скомпрометировала. С каждым десятилетием земство становилось все менее привлекательным для тех, кто искал приложения своих сил к решению жизненно важных проблем пореформенной России. Окончательно добив земство контрреформами 1889–1890 годов, власть заставила и либералов, и радикалов с головой уйти в политику и тем самым из потенциальных сотрудников превратила в своих непримиримых врагов.

Крушение веры в возможность мирного перехода к новому строю было чревато революцией.

КРИЗИС ВЛАСТИ ГЛАЗАМИ ДЕЯТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА*

Российская империя неудержимо движется к краю пропасти – в начале XX века подобное ощущение становится все более распространенным в кругах тех, кто так или иначе управлял страной. Это ощущение проскальзывает между строк официальных документов, фиксируется в переписке и, конечно же, особенно ярко выражается задним числом – в записках и мемуарах. Объяснения катастрофическому процессу даются, естественно, самые разнообразные – и зачастую именно эти объяснения, исходящие от людей, несущих ответственность за то, что происходило в России, как нельзя лучше убеждают в неизбежности трагического исхода...

В центре нашего внимания произведения, ставшие «классикой» литературы о политическом сыске: записки А. И. Спиридовича, воспоминания В. Д. Новицкого и А. В. Герасимова. Все они составляют, на наш взгляд, нечто единое, своеобразную трилогию: и по своему тематическому единству, и потому, что в них просматривается движение «жандармской мысли», осознание происходящего – с одного уровня на другой. У авторов, как у всех жандармов, много общего – потомственное дворянство, военная служба до поступления в корпус и, главное, – безоговорочно верноподданнические взгляды. «...Быв убежденным монархистом, воспитанным в духе полнейшего единодержавия, я представляю из себя челове-

* Текст доклада, сделанного в 1998 г. на чрезвычайно любопытной конференции «Исторические чтения на Лубянке».

ка, всецело преданного русской национальной идее, с которой шло мое служение родине и жизнь: эта жизнь и служение сливались в одно громадное целое, беззаветно преданное монархам и отечеству»¹. Под этим высокопарным, но, несомненно, искренним пассажем из воспоминаний Новицкого каждый из его коллег подписался бы не задумываясь. И, тем не менее, несмотря на это, казалось бы, определяющее сходство, наши авторы очень разнятся – вплоть до того, что представляют собой три различных и очень характерных типа, причем не просто жандармов-«сыскарей», но – государственных людей Российской империи.

Начнем с Новицкого, на протяжении многих лет возглавлявшего Киевское ГЖУ, – и не только потому, что он старше своих коллег и описывает в основном события, происходившие в последней трети XIX века. Генерал представляется нам фигурой чрезвычайно цельной, мыслившей и действовавшей с максимальной простотой и прямолинейностью. Ему бы родиться пораньше... Мировосприятие Новицкого корнями своими уходит в «спокойную», стабильную дореформенную жизнь, в царствование Николая Павловича, когда теория «официальной народности» была последним словом государственной мудрости, а III отделение собственной канцелярии – свежее испеченным учреждением.

С точки зрения Новицкого, Российская империя – в принципе спокойная, благоустроенная, счастливая страна, без каких-либо серьезных проблем; во всяком случае, в своих воспоминаниях он не касается общих вопросов государственного устройства и социально-экономического бытия России. Но это благополучие, по мнению генерала, как серной кислотой разъедается деятельностью «преступных элементов», которые проявляют себя в двух ипостасях.

Прежде всего, это, конечно, революционеры – по мнению Новицкого, люди, вся деятельность которых определяется их исключительной испорченностью: «...дела о них свидетельствовали о полнейшем неуважении личных прав человека и полнейшем забвении чувства собственного достоинства, выражавшихся в убийствах товарищей, лишь запо-

дозренных, в обмане отцов, соблазне девиц, ограблении, воровстве и обмане целых обществ неразвитых людей, под видом политических целей, тогда как они были предпринимаемы из личных видов и выгод, для улучшения собственного материального положения и средств»². При этом подобные деятели полностью оторваны от народа, а «интеллигентный класс», если и поддерживает их, то по неразумению своему, не понимая, что «борьба с социалистами была поднята правительством за общество...»³.

С подобным злом, которое, в принципе, легко искоренимо, необходимо, считает Новицкий, бороться беспощадно, традиционными методами, не вступая с ним ни в какие иные отношения. Кроме чисто репрессивных. Именно так, единственно правильным образом, действовали, по мнению генерала, жандармские управления. И, несомненно, одержали бы победу, если бы зло не проникло в ряды самих борцов «с революционным хаосом и анархией»...

Ключевой в воспоминаниях Новицкого является глава «С. В. Зубатов». Этого реформатора политического сыска генерал трактует как чуть ли не главного потрясателя основ Российской империи. «...Зубатов жестоко обманывал и обманул высшие власти, не понявшие еще и того, что в лице Зубатова был злейший противоправительственный деятель, социал-революционер и безусловный террорист...»⁴. Вся деятельность его была направлена на то, чтобы разложить изнутри главную опору власти – политическую полицию, оттереть в сторону «честных и преданных», традиционно мыслящих жандармских офицеров – прежде всего на местах, в ГЖУ – и, наводнив революционное движение своими людьми – провокаторами, манипулировать им в каких-то не вполне ясных, по Новицкому, но, несомненно, преступных целях.

Подобный «анализ» кризисной ситуации поначалу производит впечатление горячечного бреда. Однако психологически подобная фантастика вполне объяснима: Новицкий настрадался в неравной борьбе с новаторами политического сыска. Революционное движение конца XIX – нач. XX века, приобретшее массовый характер и совершенно новые

формы, явно вышло за пределы понимания старозаветного генерала. Он, совершенно очевидно, не справлялся с ним в своей епархии⁵. Новых же методов, предложенных Зубатовым, который стремился не столько подавить революционное движение, сколько овладеть им с помощью провокаторов, развратить изнутри, поставить под контроль охраны, – всего этого Новицкий вместить не мог... В этом отвращении к «зубатовщине» была, наверное, своего рода моральная работа. Но зубатовцы в начале XX века шли от успеха к успеху, а Новицкому Киевский комитет РСДРП послал к 25-летию юбилею службы во главе ГЖУ издевательское поздравление «с глубокой благодарностью за полезную деятельность», позволившую социал-демократам «стать на ноги, окрепнуть и развернуть деятельность во всей ее нынешней широте»⁶. В то же время главный оппонент генерала, начальник киевской охраны зубатовец А. И. Спиридович, пользуясь своими методами, арестовал главу Боевой организации эсеров Гершуни. Новицкий, судя и по его воспоминаниям, и по запискам самого Спиридовича, ужасно переживал подобную «несправедливость», ревновал, устраивал формально подчиненному ему начальнику охраны сцены и в конце концов вынужден был подать в отставку. В своих мемуарах генерал, естественно, рисует себя жертвой зубатовских интриг, направленных против него – самого честного и бескомпромиссного защитника устоев Российской империи.

Нельзя сказать, что, обратившись к запискам самого А. И. Спиридовича, одного из самых последовательных и удачливых зубатовцев, мы можем найти более глубокие размышления о причинах надвигающегося хаоса. Несомненно, что Спиридович, так же как и его наставник, куда более трезво, чем Новицкий, оценивал революционное движение, несравненно больше о нем знал, лучше его понимал. Другими словами, он был в куда большей степени, чем незадачливый начальник ГЖУ, профессионалом, способным успешно решать конкретные задачи политического сыска. Но нам представляется, что этот профессионализм нередко застилал Спиридовичу глаза – так же как самому Зуба-

тову и многим его сотрудникам, — заставляя верить, что с помощью провокаций и иных манипуляций подобного типа можно решить чуть ли не все глобальные проблемы бытия Российской империи.

Особенно ярко подобный подход сказывается в отношении Спиридовича к зубатовщине (полицейскому социализму); а затем и к гапоновщине. Все эти, в сущности, бесперспективные манипуляции рабочей массой оцениваются им безусловно положительно, как искреннее стремление Зубатова «поставить под контроль широкое профессиональное движение в России»⁷. И все было бы совсем хорошо, и рабочие обрели бы верноподданнические взгляды, и революции в России не было бы, кабы... Причины конечной и очевидной неудачи в этом «благородном деле» Спиридович указывает различные, но исключительно субъективного характера: недосмотрели, недоработали, не на того человека поставили (Шаевич в Одессе), а главное — начальство никудышное. Вот по отношению к начальству и по своей линии — департамент полиции, — и к высшему — Витте, Плеве, Святополк-Мирский — у Спиридовича претензии самые серьезные. Не смогло это начальство или не захотело оценить светлых идей Зубатова, «все сразу обрушилось на него»⁸ при первых неудачах — и погубили прекрасное начинание. Подобные же претензии Спиридович постоянно предъявляет к начальству и в отношении своей непосредственной сыскной деятельности: не дают нормально работать, «правая рука не знает, чего хочет левая», и вообще «походило на сумасшедший дом»⁹. Во многих конкретных случаях подобные оценки Спиридовича, наверное, вполне справедливы, но ведь и начальство-то с ума сходит не случайно... В целом при всем внешнем противостоянии двух авторов их воспоминания схожи в главном: в неумении или нежелании трезво оценить ситуацию. В конечном итоге точка зрения: Зубатов развалил Российскую империю — не так уж далека от точки зрения: Российская империя пала оттого, что Зубатову и его сотрудникам не дали как следует развернуться...

А. В. Герасимов, один из самых дельных работников сыска, сумевший, в частности, даже Азефа на какое-то время поставить под свой полный контроль, т.е. сделать действительно полезным сотрудником, в своих оценках кризисной ситуации выказывает, по нашему представлению, куда более глубокое понимание сути дела. Прежде всего, он здраво оценивает ограниченность революционных потрясений в России, их обусловленность нерешенными проблемами русской жизни. И оценка Герасимовым представителей высшей власти тесно связана с тем, понимают они эту взаимосвязь или нет. Так, Плеве, импонирующего ему решительностью и профессионализмом – «Он был крупный человек и знал, куда шел и чего хотел», – Герасимов оценивает все же отрицательно, исходя из полной бесперспективности избранного им пути. «Плеве был одушевлен тогда одной идеей: никакой революции в стране нет, все это выдумки интеллигентов. Широкие массы рабочих и крестьян глубоко монархичны. Надо выявить агитаторов и без колебаний расправиться с революционерами»¹⁰. (Это ведь точка зрения Новицкого, да и Спиридович недалеко от нее ушел.)

Но куда страшнее этой «упертости» Плеве, по мнению Герасимова, та слабость и неуверенность, которой характеризовалась внутренняя политика при его преемниках. «С ужасным концом Плеве начался процесс быстрого распада центральной власти в империи, который чем дальше, тем больше усиливался. Все свидетельствовало об охватившей центральную власть растерянности»¹¹. Именно эта «растерянность», не будучи главной причиной революции, чрезвычайно способствовала ее развитию. По твердому убеждению Герасимова, власть не должна уступать революции, делая все возможное, чтобы противостоять ее давлению. Здесь он сторонник решительных жестких мер – и не только в теории: именно Герасимов, в качестве начальника Петроградской охраны, с блеском провел ликвидацию Совета рабочих депутатов, проведя в два дня несколько сотен обысков и арестов. Герасимов убежден: уступки революционному движению неизбежно приводят к его дальнейшему

развитию, вплоть до полного хаоса... Порядок нужно наводить любой ценой.

Но затем, для того чтобы его сделать прочным, – «желательны реформы». Исходя из этого соображения, Герасимов с видимой симпатией описывает деятельность Витте в 1905 году, что в охранных кругах случай уникальный. Но главный герой Герасимова – это, безусловно, Столыпин. «Уже во время первого свидания Столыпин произвел на меня самое чарующее впечатление как ясностью своих взглядов, так и смелостью и решительностью своих выводов». Работа под руководством этого главы правительства «принадлежит, – писал Герасимов, – к самым светлым, самым лучшим моментам моей жизни»¹². Все это более чем естественно: и темперамент, и, главное, убеждения начальника и подчиненного полностью совпадали. Под знаменитыми словами Столыпина: «революция болезнь не наружная, а внутренняя, и вылечить ее только наружными средствами невозможно» – Герасимов, вне всяких сомнений, готов был подписаться обеими руками. Желательны реформы...

С этих позиций понятно резко отрицательное отношение к «безответственному» черносотенству; понятно восприятие им Распутина и распутинщины, как «нового врага, не менее страшного, чем революционеры». Эти силы в конечном итоге взяли верх над кумиром Герасимова. После смерти Столыпина была предопределена и его отставка. Более того, была предопределена революция... Вот эту горькую предопределенность Герасимов, несомненно, ощущал очень хорошо и хорошо сумел передать в своих воспоминаниях. Ключевым в этом отношении в них является, пожалуй, следующий эпизод: в 1909 г. Столыпин «с удивлением и большой горечью» рассказал Герасимову, как при высочайшей аудиенции в ответ на его слова о том, что революция окончательно подавлена и царю лично не грозит уже никакая опасность, Николай «с раздражением» заявил: «Я не понимаю, о какой революции вы говорите. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция... Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые...»¹³.

Мне представляется, что воспоминания Герасимова вплотную подводят нас к пониманию того, в какой сложной, практически безысходной ситуации оказались деятели политического сыска – среди которых было немало умных, дельных людей – в начале XX века. Им приходилось вести борьбу, в которой они были заведомо обречены на поражение. Как бы успешно охранники ни проводили ту или иную операцию, ликвидируя тех или иных противников режима, с революцией им справиться было не дано. Она порождалась объективными причинами, которые, по сути своей, были вне ведения, вне компетенции политической полиции. Охранка-то в это время работала очень хорошо: владела почти исчерпывающей информацией о своих противниках, умело манипулировала ими, в большинстве случаев успешно решала поставленные перед собой конкретные задачи. Но для того чтобы выйти из кризисной ситуации, нужно было выкорчевать корни революции – решить проблемы русской жизни... Эту задачу должна была выполнить государственная власть – вся, в совокупности всех своих структур и отдельных функционеров, – которая оказалась к этому совершенно неспособна.

Примечания

¹ Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. М., 1991. С. 44.

² Указ. соч. С. 86.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 172.

⁵ См. по этому поводу воспоминания В.В. Водовозова, принимавшего активное участие в деятельности киевских социал-демократов, который полностью отказывает Новицкому в каких бы то ни было «сыщических талантах». Указ. соч. С. 21–30.

⁶ Указ. соч. С. 29.

⁷ Спиридович А.И. Записки жандарма. М., 1991. С. 103.

⁸ Указ. соч. С. 105.

⁹ Указ. соч. С. 183.

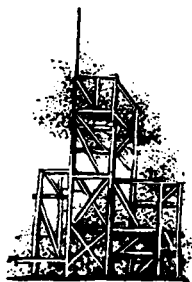
¹⁰ Герасимов А.В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 20.

¹¹ Там же. С. 16.

¹² Указ. соч. С. 75.

¹³ Там же. С. 146.

УЧЕНАЯ РЕСПУБЛИКА



**Т. Н. ГРАНОВСКИЙ:
«...МЫ СТАЛИ НА ПОРОГЕ ЕВРОПЫ
НАБЛЮДАТЕЛЯМИ...»**

Вместо предисловия

Несколько рассуждений общего характера, банальных, но необходимых. Тимофей Николаевич Грановский – один из самых ярких лидеров русского западничества 1840-х – начала 1850-х годов; более того, сильные и слабые стороны этого движения нашли себе, может быть, самое яркое выражение именно в личности и деятельности Грановского. Западничество, в свою очередь, – один из главных и самых значительных источников русского либерализма второй половины XIX – начала XX веков. Тем более показательно, что при всем огромном интересе, который вызывал, вызывает и, несомненно, будет вызывать и впредь русский либерализм, западничество как цельное историческое явление до сих пор не изучено.

Причина этого кроется, наверное, в тех вполне объективных трудностях, с которыми сталкивается каждый исследователь, обращающийся к западничеству: размытость, незавершенность этого явления очевидна; отсутствие четких организационных форм и недвусмысленно сформулированных программных документов бросается в глаза. В этом отношении кадетов или октябристов изучать несравнимо легче. Совокупность незаурядных людей, объединенных общими идеями и схожим восприятием действительности, но ревниво отстаивающих при этом свою ду-

ховную свободу, свою «самость», – подобное явление, конечно же, порождает при своем исследовании гораздо больше проблем, чем дисциплинированная партийная «команда», смонтированная, за исключением одного-двух лидеров, из составляющих, более или менее равновеликих... В этом последнем случае четкие и однозначные выводы само собой разумеются; в отношении западничества – нередко исключаются вообще. Иметь дело с яркими индивидуальностями – да еще в одной «связке» – ясное дело, нелегко, зато чрезвычайно интересно...

Если проводить возрастные аналогии, популярные, наверное, на всех этапах существования исторической науки, то западничество вполне уместно уподобить самому нежному детству русского либерализма. Известно ведь, что в детстве мир воспринимается совершенно иначе, чем во взрослом состоянии: он текуч и изменчив, он еще не «устоялся» – именно поэтому непосредственное восприятие окружающего и столь же непосредственная реакция на него в этом возрасте решительно преобладают над сухими, рациональными житейскими правилами, установленными старшим. Именно поэтому детство – возраст магический, когда от мира ждут чудес; мало того, они действительно иной раз случаются... С годами это проходит. Жизнь входит в свою колею; будничные, рутинные проблемы начинают определять весь смысл существования. И вот на этой упорядоченной стадии бытия воспоминания о детстве приобретают все более сказочный, мифологический характер – и в то же время становятся все более необходимыми. Хотя бы для оправдания этой солидной и уравновешенной жизни...

Все эти рассуждения – повторяю, весьма банальные – представляются мне необходимыми для того, чтобы подчеркнуть сложность понимания западничества, с одной стороны, и необходимость эту сложность преодолеть, с другой. В нынешних условиях это не так просто. Нелегко

ведь представить себе, каким образом ученый-медиевист, университетский лектор, никогда и ни в чем не отклонявшийся от своих профессиональных занятий (ни листовок, ни памфлетов, ни какой-либо другой антиправительственной пропаганды), превращается в одного из самых авторитетных лидеров общественной оппозиции, становится кумиром нескольких поколений русских образованных людей, подготовившим их к борьбе за преобразование крепостной России. Сейчас подобная история, действительно, кажется похожей на сказку; ее и рассказывать хочется соответствующим образом.

В качестве сказочного зачина я могу предложить пару фраз из «Былого и дум» Герцена, которые, по-моему, вполне отвечают этому назначению: «Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчишками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей, — а в них было наследие 14 декабря — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего вулкана»¹. Одним из этих мальчиков и был Тимофей Николаевич Грановский.

Условия существования

Уподобление России времен Николая I «непротывшему вулкану» выглядит, возможно, несколько выпяренным; однако для тех, кто представлял «Россию будущего», оно было вполне оправданно. Утвердившись на престоле в результате вооруженной схватки со своими противниками — декабристами и беспощадно расправившись с ними, Николай Павлович положил максимум сил на то, чтобы навести в России жесткий, единообразный порядок. Осу-

ществляя это намерение, царь, естественно, не ограничился мерами административно-полицейскими: усилением бюрократического контроля над населением, созданием единой, хорошо организованной политической полиции (III отделение собственной канцелярии и корпус жандармов), предельным ужесточением цензуры и тому подобное. Все это было чрезвычайно важно; и в то же время все это было вторично.

Чиновникам всех ведомств и прежде всего тем же жандармам и цензорам необходимо было дать четкое, логически непротиворечивое руководство к действию, которое позволило бы им отличать хорошее от плохого, добро от зла, благонамеренного россиянина от скрытого смутьяна; «силы порядка» нуждались в простой и ясной идеологической схеме. С.С. Уваров, долговременный министр просвещения при Николае I, создал именно то, что требовалось: в рамках своей теории «официальной народности» он связал в единое, неразрывное целое русский народ, православную веру и самодержавное государство.

Пафос этой теории был ясен безусловно. Все стороны жизни российского обывателя любой социальной принадлежности она стремилась подчинить жесткому канону: россиянин должен был быть тих, смиренен и кроток; он обязан был регулярно посещать церковь, исполнять все предписанные ею обряды и почитать Господа; в еще большей степени от него требовалось быть законопослушным и верноподданным – безоговорочно выполнять все требования администрации и почитать Государя. Добросовестное отправление своих обязанностей по отношению к власти духовной и светской гарантировало полное благополучие. (Прекрасно эту мысль выразил в своих заметках один из самых ярких «охранителей», бессменный управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии Л.В. Дубельт: «...Уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно в России. Это зависит от тебя; только не тронь никого, исполняй свои обя-

занности и тогда не найдешь такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в царствии небесном»².)

Теория «официальной народности» была сочинена как апология самодержавно-крепостническому порядку времен Николая I, который был возведен в идеал существования русского человека. В России все было устроено, как должно, «по-божески», в полном соответствии с духом народа; она представляла собой единый, цельный монолит, который в рамках официальной идеологии резко противопоставлялся бестолковому, злокозненному, разлагавшемуся на глазах Западу. Любая попытка в какой бы то ни было форме воспротивиться существующему порядку вещей чуть ли не автоматически воспринималась и объяснялась представителями власти, как результат воздействия «гниющего Запада», искажающего благую природу русского человека, превращающего его во врага своего собственного народа. Естественно, что верховная власть вменяла себе в святую обязанность беспощадную борьбу с любыми отклонениями от официальной идеологии, с любыми проявлениями злостного «инакомыслия».

Теория «официальной народности» стала главным фактором, определявшим условия жизни и деятельности тех, кто составлял, по словам все того же Герцена, «образованное меньшинство» русского общества, то есть тех, кто пытался жить сознательно, размышляя, рефлектируя, творя... Сохранить себя эти мальчишки 1825 года, ставшие юношами в 1830-х, могли только в последовательном противостоянии официальной идеологии, подчинение которой лишало их существование всякого смысла. И эти несколько десятков человек в конце концов взяли верх над этой идеологической системой, поддерживаемой всей мощью самодержавно-бюрократической власти и потому казавшейся несокрушимой... Роль Т.Н. Грановского в этой борьбе и в этой победе переоценить невозможно.

О вреде философии

Определяющую роль в судьбе Т.Н. Грановского сыграла, несомненно, поездка за границу и стажировка в берлинском университете в 1836–1839 годах, позволившая ему найти единственно верный путь реализации своего уникального таланта. До этого такой возможности не представлялось. Отпрыск небогатой провинциальной дворянской семьи (Грановский родился 9 мая 1813 года в Орле), он получил самое безалаберное воспитание в детстве и такое же образование в юности. Учеба в Петербургском университете, который в первой половине 1830-х годов еще не отправился от погрома, устроенного там властью в конце царствования Александра I, по собственному признанию Грановского, так же не дала ему почти ничего. А вот поездка в Берлин на счет министерства народного просвещения «для усовершенствования в науках», с тем чтобы занять затем кафедру зарубежной истории в Московском университете, — это событие, случившееся благодаря счастливому стечению обстоятельств, в корне изменило всю жизнь Грановского. Ему довелось испытать «немецкой премудрости» из самого первоисточника — именно в это время будущий духовный лидер западничества и кумир студенческой молодежи постигает философию Гегеля, закладывая тем самым мощный фундамент под всю свою последующую деятельность.

Нужно иметь в виду, что для поколения Грановского немецкая философия и гегельянство прежде всего было важнейшим интеллектуальным событием, резко изменившим духовную жизнь русского общества. У тех, кто жил и действовал в предшествующую эпоху — эпоху декабризма, мечтая о свершении грандиозных социальных и политических переворотов, философские отвлеченности были не в чести. Но декабристы оказались разгромленными... Те, кто вступал в жизнь после восстания на Сенатской площади, волей-неволей должны были прийти к переоценке

ценностей. Грановскому и его друзьям банальными казались уже не основные вопросы философии, а традиционно-прямолинейные, в духе «века Просвещения» ответы на них. У молодежи появились новые кумиры; в поисках ответов на «проклятые вопросы» она обращается уже не к Монтескье и Тюрго, а к Шеллингу и Гегелю.

Недаром в истории русской общественной мысли такое важное место занимает кружок Н.В. Станкевича. Невеликий по численности и очень «камерный» по своей деятельности, он стал своеобразным органом восприятия гегельянства в России. Именно со Станкевичем, так же совершавшим паломничество в Берлин – гегельянскую Мекку, – Грановский подружился и чрезвычайно сблизился. Этот в высшей степени незаурядный человек – вскоре, в 1839 году, умерший – оказал на Грановского огромное влияние во многих отношениях, и прежде всего – в его интеллектуальном развитии. Совместное посещение лекций в берлинском университете, изучение философии и истории, постоянное обсуждение разнообразных спорных вопросов – все это чрезвычайно много дало Грановскому.

Собираясь стать историком, он был настроен на то, чтобы «философией поверить историю». Непоколебимым становится доверие Грановского к гегельянству, как в философии универсально объясняющей окружающий мир – и в его настоящем, и в его прошлом. В это время Грановский пишет одному из близких друзей: «Есть вопросы, на которые человек не может дать ответа. Их не решает Гегель, но все, что теперь доступно знанию человека, и само знание у него чудесно объяснено»³.

Среди профессоров Берлинского университета его кумиром становится профессор-гегельянец Л. Ранке, про которого Грановский писал: «Он понимает историю...»⁴.

Что же давало гегельянство для объяснения действительности и понимания истории? Грановского и его современников в этой философской системе привлекала, прежде всего, присущая ей диалектика; их покоряла та после-

довательность, с которой Гегель рассматривал все сущее, как процесс развития, и та убедительность, с которой философ раскрывал закономерность этого процесса. Выяснялось, что действительность не поддается своевольно-му произволу, не является некоей пластичной массой, из которой сильная личность способна вылепить то, что пожелает; она, эта действительность, существует и развивается в соответствии с объективными, не зависящими от воли человека законами. Но человек способен эти законы познать – чему, прежде всего, и учил Гегель – и, познав их, действовать разумно, плодотворно работая на будущее, как бы сотрудничая с высшей силой – сиречь Абсолютом.

Подобный подход позволял дать ответы на многие тревожившие современников вопросы – например, о причинах неудачи декабристского восстания... А главное, гегельянство, воодушевляя, порождало уверенность в своих силах и позволяло с надеждой смотреть в будущее. Недаром Грановский все в том же письме приятелю, терзавшемуся сомнениями и жаловавшемуся «на горестное состояние духа», писал: «Займись, голубчик, философией... Учись по-немецки и начинай читать Гегеля. Он упокоит твою душу»⁵.

Тут самое время напомнить, что подобную философскую систему, ставившую диалектику в главу угла, с почти религиозным воодушевлением воспринимала молодежь той страны, государственная власть которой отрицала развитие в принципе.

Ведь теория «официальной народности» провозглашала Россию неким заповедником, где статично, неизменно царит самодержавно-православное благоденствие, круто замешанное на крепостном праве... И здесь, наверное, вполне уместно напомнить известные слова Герцена: «Философия Гегеля – алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от преданий, переживших себя»⁶.

История как общественная сила

«...Четверть часа прошла уже после звонка. Вся аудитория в каком-то ожидании. Разговоры смолкли, и все вышли на лестницу, ведущую в аудиторию. «Будет ли?» – говорит один из студентов. – «Будет, » – отвечает другой. – «Должно, не будет», – замечает третий, смотря на часы. «Приехал!» – кричит снизу швейцар, как будто отвечая на нетерпеливое ожидание. – «Идет...» – и вся толпа двинулась в аудиторию, все спешат заполнять места. Глубокая тишина воцарилась в зале»⁷. Начиналась лекция Грановского...

Грановский оказался феноменальным лектором... Впрочем, здесь точнее будет употребить глагол не «оказался», а «стал». Грановский, которого некоторые современники склонны были укорять в лености, потратил массу сил для того, чтобы овладеть этим искусством. «Круглым числом, – писал он Станкевичу в начале своей профессорской деятельности, – я занимаюсь по 10 часов в сутки. Польза от этого постоянного, упрямого труда (какого я до сих пор еще не знал) очень велика: я учусь с каждым днем...» Надо сказать, что Грановский не обладал эффектной внешностью (хотя и был очень симпатичен в общении), имел слабый голос и к тому же слегка шепелявил («шепелявый профессор» – обычное его прозвище в дружеском кругу). Лекции в чем-то походили на самого лектора: Грановский не терпел никаких внешних эффектов. «При изложении, – писал он сам, – я имею в виду... самую большую простоту и естественность и избегаю всяких фраз. Даже тогда, когда рассказ в самом деле возьмет меня за душу, я стараюсь охладить себя и говорить по-прежнему»⁸.

Студенческие записи вполне подтверждают слова Грановского⁹: его лекции чрезвычайно сдержанны по тону – пафос в них отсутствует напрочь. Нельзя сказать, что Грановский совершенно пренебрегал яркими личностными характеристиками исторических деятелей и выразительны-

ми историческими эпизодами – но и ни в коем случае не злоупотреблял ни тем ни другим. Не было в его лекциях и подобия намеков политического характера, прозрачных аналогий и тому подобного. При первом знакомстве с текстом лекций Грановского – в несовершенных студенческих записях, во всяком случае – они производят впечатление несколько монотонных и суховатых. Но это впечатление решительно опровергается массой современных свидетельств – Грановский, без сомнения, был самым популярным лектором Московского университета за всю историю его существования... На его лекции собирались студенты со всех факультетов; здесь постоянно были заняты все места – и занимать их приходилось заранее, опоздавшие пристраивались на ступеньках у кафедры. Во время лекции в аудитории царил мертвая тишина: слушатели жадно и напряженно ловили каждое слово, произнесенное слабым голосом «шепелявого профессора».

Нужно внимательно вчитаться в студенческие записи, чтобы понять, в чем была сила Грановского-лектора, каким образом он удерживал аудиторию в состоянии напряженного внимания. Главным и, по сути дела, единственным героем его лекционного курса был исторический процесс как таковой. То ощущение, которое владело слушателями на лекциях Грановского, много лет спустя в своих воспоминаниях великолепно сумел выразить один из них: «Несмотря на обилие материалов, на многообразие явлений исторической жизни, несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по-видимому, могли бы отвлечь слушателя от общего – слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел и отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другим. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к великим целям, постановленным Провидением»¹⁰.

Своим лекционным курсом, посвященным истории европейской цивилизации, – хронологически ее было дозволено освещать лишь до реформации, то есть до XVI века, – Грановский, с одной стороны, чрезвычайно искусно приобщал своих слушателей к пониманию этой цивилизации. Он нигде и ни в чем не льстил Западной Европе, ни в малейшей степени не идеализировал ее истории – но в то же время он чрезвычайно последовательно показывал эту историю как путь, путь тернистый, но, несомненно, ведущий от худшего к лучшему, имеющий в перспективе осуществление некоего идеала, который с каждым веком становился все яснее. «Мы видели, – говорил Грановский в заключительном слове к одному из своих курсов лекций, – что мысль не всегда ладит с действительностью: она идет впереди действительности и все попытки великих двигателей человечества остаются не вполне осуществленными. Но рано или поздно действительность догонит мысль»¹¹.

С другой стороны, Грановский постоянно давал понять, что описываемый им процесс исторического развития един для всего человечества, а следовательно, и для России... Это следовало из общего хода его рассуждений; а в завершении своего курса Грановский, по воспоминаниям слушателя, рисковал говорить об этом совершенно открыто: в России, по его словам, «отзываются все великие современные идеи». Другими словами, Запад, «по Грановскому», медленно, но верно идет по пути прогресса, прокладывая его и для всего остального человечества. Не миновать этого пути и России...

Трудно, в сущности, представить себе в николаевской России интеллектуальное действие, столь последовательно противостоящее официальной идеологии, – разве что «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Но письмо это, не отличавшееся, откровенно говоря, ни особой глубиной мысли, ни доказательностью, произвело мощное, но разовое действие. Грановский же читал лекции на протяже-

нии полутора десятилетий; искусно оперируя фактическим материалом, избегая прямых заявлений «от автора», он заставлял своих слушателей самостоятельно осознавать эту сугубо западническую концепцию – что делало студентов сторонниками своего профессора не по впечатлению, а по убеждению. Надо сказать, что и слушатели у Грановского оказались достойные. Совершенно очевидно, насколько сильно у них было понимание того, что изучение истории на этих лекциях превращалось в акт общественной борьбы, что здесь не только изучали прошлое, но и учили мыслить и действовать так, как должно достойному человеку – вот и набивалось в аудитории молодежи, что сельдей в бочку... Когда же зимой 1844–1845 годов Грановскому удалось добиться дозволения прочитать – впервые в России – публичный курс по истории западного средневековья, то успех был еще значительней, если только это возможно. Светская публика заполнила большой актовый зал Московского университета на несколько месяцев, слушала лектора, затаив дыхание, и проводила его бурной овацией. П.Я. Чаадаев, недолголюбивавший Грановского и не согласный с его концепцией западной истории, тем не менее совершенно справедливо назвал сами чтения явлением историческим.

Для студенчества же Грановский стал настоящим кумиром, если не более того. Б.Н. Чичерин вспоминал, как его репетитор, студент юридического факультета, восклицал, рассказывая о магистерском диспуте Грановского: «Вы знаете, ведь для нас Тимофей Николаевич – это почти что божество...»¹². После выпуска из университета его слушатели расходились по всей России; «ученик Грановского» – этим званием гордились до конца жизни. А оно, между тем, ко многому обязывало. Ведь недаром в сохранившемся, благодаря одному из слушателей, напутственном слове своим выпускникам Грановский призывал их «осуществить в жизнь то, что вынесли отсюда. Не для одних разговоров в гостиных, может быть, умных, но бесполезных посвящаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражд-

данами и деятельными членами человечества. **Возбуждение к практической деятельности – вот назначение историка**»¹³ (выделено мною. – А.Л.).

«Звено соединения»

Один из современников удачно назвал Грановского «профессором по преимуществу». Действительно, именно в университете, на кафедре он состоялся как личность, более того – как исторический деятель. И все же только этим роль Грановского в истории русского общественного движения не исчерпывалась: он чрезвычайно много сделал для развития этого движения в целом и для становления западничества в особенности. При этом характерно, что сам Грановский на лидирующую роль где бы то ни было и в чем бы то ни было не претендовал ни в малейшей степени. Все дело было в условиях эпохи и в удивительно симпатичной и благородной натуре Грановского...

Я уже писал выше о кардинальных различиях между политической партией и дружеским кружком, объединяющем людей, стремящихся сохранить свою внутреннюю свободу. Так вот в любой политической партии начала XX века человек с характером и устремлениями Грановского неизбежно был бы на вторых ролях. В среде же «людей 1840-х» его почти не с кем сравнивать в плане организующей, консолидирующей деятельности. А.И. Герцен написал по этому поводу несколько строк, которые прекрасно характеризуют и самого Грановского, и его роль в обществе, и те требования, которые предъявляло общество 1840-х годов к своим лидерам: «Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было далеко от неуверенной в себе раздражительности, так чисто, так открыто, что с ним было удивительно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревливой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтоб Грановский

когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих шума и света сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним не страшно говорить о вещах, о которых трудно говорить с самыми близкими людьми... В его любящей и покойной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик самолюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись»¹⁴.

Все сказано верно и точно. Буквально сразу же после возвращения из-за границы в 1839 году Грановский начал играть роль миротворца, с удивительным тактом стабилизирующего отношения, иной раз почти безнадежно испорченные. Так, Грановский не только спас от полного развала кружок Станкевича, переживавшего после отъезда за границу и преждевременной кончины своего лидера очень тяжелые времена, но и поспособствовал выходу его на новый уровень бытия: именно Грановский послужил «звеном соединения» между остатками кружка – В.Г. Белинским, В.П. Боткиным и другими – и своими коллегами по университету, блестящими молодыми профессорами-гегельянами: Д. В. Крюковым, П. Г. Редкиным, Н.И. Крыловым. Так, собственно, на переломе 1830–1840-х годов и родилось западничество... И именно Грановский затем на какое-то время крепко привязал к этому направлению А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Мало того – именно Грановский какое-то время довольно легко находил общий язык с вечными оппонентами западничества – славянофилами (с братьями Киреевскими, во всяком случае).

И не вина Грановского, а его беда, порожденная особым характером николаевской эпохи, что это столь желанное единство надолго сохранить не удалось. Лишенное возможности в какой бы то ни было степени реализовать свои взгляды, занятое прежде всего острыми, захватывающе интересными, но бесплодными дискуссиями, задыхающе-

еся в своем узком, искусственно ограниченном кругу «образованное меньшинство» было обречено на распад, на противостояние составляющих его сторон. Сначала, в конце 1844 – начале 1845 года, произошел полный разрыв между западниками и славянофилами (причем ссора была такой силы, что чуть не привела к дуэли между людьми, которые, казалось, воплощали в себе дух миролюбия, – Грановским и Петром Киреевским). Затем, в 1846 году, порвались духовные связи между Грановским и большинством умеренно настроенных западников, мечтавших о мирном приобщении России к современной им западной цивилизации, с одной стороны, и – западниками-радикалами, жаждавшими социализма и революции.

Этот последний разрыв Грановский переживал очень тяжело, как личную драму. Действительно, после потери радикального крыла (Герцен с Огаревым вскоре эмигрировали, а Белинский умер) западничество явно измельчало. Рядом с Грановским не осталось ни одного человека его уровня, и «шепелявый профессор», постоянно окруженный людьми, тем не менее явно стал ощущать свое духовное одиночество. В то же время с конца 1840-х годов, в связи с европейской революцией, резко усилились гонения власти на «образованное меньшинство»; под особый надзор попали Москва, Московский университет, прогрессивно настроенная профессура. До открытых репрессий дело не дошло, но разнообразных придирок было великое множество. Грановскому, в частности, суждено было пройти «испытание в законе нашем» – то есть в православной вере – перед московским митрополитом Филаретом. Все обошлось благополучно, но противно было донельзя...

Все это, несомненно, ускорило кончину Грановского, человека чрезвычайно впечатлительного и легко уязвимого. «Не одни железные цепи перетирают жизнь», – справедливо писал по этому поводу Герцен¹⁵. 4 октября 1855 года Грановский скончался. Он умер, пережив на полгода Николая I, накануне перемен, успев ощутить, пусть и смут-

но, то «движение внутренних пластов истории», о котором он так вдохновенно говорил в своих лекциях и для свершения которого сам сделал немало. «Хорошо умереть на заре» — такими словами со свойственным ему красноречием откликнулся на смерть своего старого друга Герцен.

Примечания

¹ Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т. Т. IX. М., 1969. С. 35.

² Голос минувшего. 1913. № 3. С. 151–152.

³ Русская беседа. 1856. Кн. 4. С. 13–14.

⁴ Русская старина. 1880. № 4. С. 746.

⁵ Русская беседа. 1856. Кн. 4. С. 14.

⁶ Герцен А.И. Указ. соч. С. 23.

⁷ Отечественные записки. 1858. № 8. С. 90.

⁸ Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 366–367.

⁹ См.: Лекции Т.Н. Грановского по истории средневековья. М., 1961.

¹⁰ Отечественные записки, 1858. № 8. С. 92.

¹¹ Там же. С. 94.

¹² Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 37.

¹³ Отечественные записки. 1858. № 8. С. 95.

¹⁴ Герцен А.И. Указ. соч. С. 40.

¹⁵ Герцен А.И. Указ. соч. С. 130.

«УМИРИТЕЛЬ СТУДЕНТОВ»

В истории каждого народа бывают эпизоды, подобные мгновенной вспышке, пусть ненадолго, но разгонявшей тьму непонимания; эпизоды, удивительным образом проясняющие и скрытую суть истории, и характер этого народа. Последний месяц жизни Сергея Николаевича Трубецкого, первого выборного ректора Московского университета, в полной мере можно отнести к подобным эпизодам: месяц, вохбравший в себя все его недолгое ректорство со 2 сентября 1905 года, скоропостижную смерть 29 сентября и поразительные по своей двусмысленности похороны 3 октября. Ровно месяц...

Этому эпизоду предшествовала короткая, но чрезвычайно насыщенная жизнь. Избегая множества эпитетов в превосходной степени, которые напрашиваются сами собой, могу лишь выразить полное согласие со следующей оценкой Трубецкого: «Он ушел из жизни рано, в возрасте 43 лет, но успел сделать для отечественной университетской культуры не меньше, чем сделал для русской литературы 37-летний Пушкин»¹. Именно так. Не входя в оценку оригинальных философских трудов Трубецкого – хотя и здесь князь занимает почетное место, – можно утверждать, что в очень своеобразной и чрезвычайно важной для России университетской жизни лишь один человек, пожалуй, оставил не менее заметный след – Т. Н. Грановский (не дотянувший, кстати, даже до возраста Трубецкого – он умер в 42 года)².

Вне всяких сомнений, и в Московском, и в других российских университетах преподавали ученые более значимые, чем Трубецкой и Грановский, причем многие из них были прекрасными преподавателями, яркими, обаятельны-

ми людьми. Но именно эти двое сумели ближе всего подойти к тому чрезвычайно высокому идеалу университетского профессора, который, в известной мере под их же воздействием, сложился в России. Идеал этот лежал несколько в стороне от чисто профессиональных оценок. Конечно же, научные достижения и преподавательские навыки играли в его формировании определенную роль, но отнюдь не определяющую. Мне представляется, что главные критерии носили здесь характер, скорее, близкий к сакральному. Моральная чистота, сопряженная с полным отсутствием стяжательных, карьерных и прочих низких интересов, – это требовалось во первых строках. При этом «настоящий» профессор не имел права быть эгоистом, человеком, презирающим коллег, свысока относящимся к студентам, проявляющим на людях свою злобу или просто раздражительность. От него требовалось полное подчинение своих личных интересов университетским; университетская общность должна была ощущать, что избранник отдает себя служению полностью, без остатка. И, наконец, профессор, чтобы он ни преподавал, мог надеяться на общее признание только при условии приверженности к «прогрессивному» направлению. Консерватизм в любой форме не поощрялся. Соответствовать подобному идеалу было, конечно же, чрезвычайно сложно, более того, почти невозможно; ну так и признанных подвижников в этой сфере было совсем немного – всего двое³.

С. Н. Трубецкой действительно в полной мере обладал всеми качествами «идеального профессора». Человек безупречной порядочности, он был наделен к тому же редким обаянием, которое в равной степени действовало и на коллег, и на студенчество, и на чиновников министерства просвещения, и на самого Николая II. Московскому университету он предан полностью. Поступив сюда учиться в 1882 году, князь практически не расставался с университетом до конца своей недолгой жизни. В 1885 году Трубецкой был оставлен на кафедре философии, стал приват-доцентом, а затем и экстраординарным профессором⁴. При этом на про-

тяжении всей своей деятельности он не просто работал в университете – он жил, растворялся в нем, нередко в ущерб своим собственным интересам. Университету он, в конечном итоге, пожертвовал всю свою жизнь, причем не только в переносном, но и в самом печальном, прямом смысле этого слова...

Эта предельная поглощенность университетской деятельностью полностью соответствовала характеру Трубецкого, всем его склонностям. О князе можно было сказать то же, что в свое время говорили о Грановском: он тоже являлся «профессором по преимуществу». Однако у Трубецкого, так же как у Грановского, работа в университете имела еще и мощное идеологическое обоснование. Оба профессора, чрезвычайно гармонично организованные сами, стремились претворить эту гармонию и в свои дела, и в окружающее их мироздание. Именно этим стремлением к гармонии, к сглаживанию острых углов, примирению вопиющих противоречий предопределялся их чрезвычайно умеренный, лежавший вне четких политических доктрин либерализм. Для них обоих это было не столько политическое учение, сколько мировоззрение, даже образ жизни, сориентированный на терпимость, компромисс, стремление к взаимопониманию. Хорошо представляя себе суть «проклятых вопросов», терзающих Россию, и Грановский в 1840-х, и Трубецкой в 1890-х – начале 1900-х огромное значение придавали общему состоянию, настрою тех, кому предстоит эти вопросы решать. И Грановский, преподававший всемирную историю, и Трубецкой, специалист по древней философии, от грядущих преобразований России ждали духовной глубины, ясного понимания общих законов бытия и – обширных, универсальных знаний. Все это, с их точки зрения, могло дать только хорошо поставленное университетское образование. Поэтому и сами они всю свою недолгую жизнь отдали университету, и университет этот пытались сделать как можно более соответствующим тем высоким целям, которые перед ним ставились.

При этом перед Трубецким открывалось сравнительно

больше возможностей. Хотя значительная часть его университетской деятельности, так же как у Грановского, пришлась на период реакции, но все же 1890-е годы – не 1840-е. Даже во время царствования Александра III гласное обсуждение университетских проблем было в принципе возможно. В первые же годы правления Николая II на страницах либеральных изданий началась борьба за пересмотр реакционного университетского устава 1884 г., в которой Трубецкой принял самое активное участие. В ряде статей, самой яркой из которых была «Университет и студенчество», он предельно ясно высказался по этому поводу.

В отличие от большинства других либеральных авторов, панацею от всех бед видевших в выборности профессорской коллегии, Трубецкой решительно отодвигал этот вопрос на задний план. «...Фактически, – писал он, – при скудности наших ученых сил, самый личный состав наших университетов был бы и при выборном порядке приблизительно тем же, что и теперь»⁵. Определяющим же для создания полноценной университетской автономии Трубецкой считал решение вопроса об организации студенчества и налаживании живых, плодотворных связей между учащимися и профессурой.

Характеризуя состояние современного университетского строя, как «старческий маразм», как «глубокое распадение и дезорганизацию», Трубецкой писал: «Вместе с тем, в стенах этого одряхлевшего университета возникло нечто вроде младотурецкой партии в лице централизованной студенческой организации. Это юные университетские младотурки образовали как бы свой особый университет, со своими особыми руководителями, со своими практическими и непрактическими занятиями, со своей особой наукой – университет вольный и бесшабашный и по-своему довольно прочно организованный на совершенно антиакадемических началах»⁶.

Из «живой корпорации» университет превратился в сочетание бездушной «бюрократической коллегии» с революционным подпольем... Подобное положение дел Трубецкой

считал естественным результатом воздействия устава 1884 г., направленного на полное уничтожение студенческого сообщества, раздробление его на отдельные «учащиеся единицы», поставленные под полный контроль университетского начальства – причем контроль сугубо запретительный. Студенческие организации любого характера либо запрещались им в принципе, либо подвергались немислимым ограничениям.

Между тем Трубецкой ясно видел и убедительно доказывал, что землячества, кружки самообразования, общества взаимопомощи и прочие организации совершенно неизбежны в студенческой среде. Излишние строгости и ограничения в этой сфере, введенные уставом 1884 года, заставляли студентов заниматься этими делами полулегально, а то и совсем нелегально. В результате в университете воцарялась нездоровая атмосфера, которую всегда порождают мелочные запреты. Наиболее активная часть студенчества почти неизбежно становилась во враждебные отношения с университетским начальством. Все это создавало самую благоприятную почву для политической пропаганды, превращая людей, пришедших учиться, в бунтарей-разрушителей.

Единственный разумный выход из критической ситуации состоял, по мнению Трубецкого, в том, чтобы дать свободный ход студенческим инициативам, разумно и умело направляя их в чисто академическое русло. Для этого, с одной стороны, следовало снять ненужные и просто вредные запреты; с другой – и это касалось уже непосредственно профессуры – необходимо было наладить со студенчеством своего рода сотрудничество, выйдя за рамки лекционных курсов, всемерно поощряя тягу юношества к самообразованию.

Выдвигая подобные идеи, Трубецкой со свойственной ему последовательностью уже в конце 1890-х годов попытался по мере возможности провести их в жизнь. В это время им был организован небольшой кружок при историко-филологическом факультете «под эгидой практических занятий по философии истории». «В нем, – вспоминал один из чле-

нов кружка А. И. Анисимов, — читались и обсуждались рефераты на темы, не укладывавшиеся в узкие рамки специальных факультетских требований и таким образом (кружком. — А. Л.) предполагались скорее цели самообразования молодежи и свободного общения студенчества с профессорами, чем задачи подготовки ученых специалистов».

Помимо Трубецкого на занятиях кружка преподавал также такой авторитетный и любимый студентами профессор, как П. Г. Виноградов. Характернейшей чертой деятельности кружка было то, что его собрания проходили только по вечерам, «под покровом тайны», по словам Анисимова⁷. Эти сугубо академические, бесконечно далекие от политики занятия, освещенные авторитетом виднейших ученых, тем не менее вызывали подозрения начальства, воспринимавшего их как едва допустимую «вольность». Оснований для подозрений студенты, углубленные в изучение трудов Платона и Аристотеля, не давали никаких, но начальство волновал сам факт: «Всякая попытка сближения между учащими и учащимися рассматривалась, как достойная замечания новизна»⁸.

Испытание начальственным подозрением кружок, тем не менее, выдержал, правда, существование ему пришлось вести камерное — круг его членов был, очевидно, очень невелик, туда попадали только избранные. Однако опыт живого общения «на ниве самообразования» оказался очень полезным не только для студентов, но и для их руководителя. Трубецкой получил очень полезный опыт и завязал тесные отношения с тем, к сожалению, далеко не самым представительным слоем студенчества, которое пришло в университет серьезно учиться.

Все это позволило князю сделать новый, куда более решительный шаг по намеченному пути: 6 октября в большой физической аудитории Московского университета при огромном стечении студенчества и в присутствии многих профессоров произошло торжественное открытие Историко-филологического общества. Это общество продолжало дело кружка на другом, значительно более серьезном уровне. Его

отличали хорошо продуманная структура – у общества был организованный центр и отделения по курсам; самая широкая тематика докладов и рефератов; многочисленность участников. Ничего подобного в российских университетах не было с середины 1880-х годов. Добиться открытия общества Трубецкому, очевидно, помог все тот же кружок, доказавший университетскому начальству несомненную пользу подобных начинаний. Для него должен был убедительно прозвучать главный довод, высказанный Трубецким в обращении к ректору по поводу создания общества: «Оно будет содействовать объединению лучшей части студенчества историко-филологического факультета на почве чисто академических интересов, а тем самым окажет благотворное влияние и на сторонников академического порядка в других факультетах»⁹.

Деятельность этого общества еще ждет своего исследователя¹⁰, но, надо думать, в какой-то степени Трубецкому удалось выполнить поставленную задачу. Правда, как замечает Анисимов, ставший одним из главных помощников князя в организационной работе, «масса студентов держалась выжидательной тактики по отношению к незнакомой организации»¹¹.

Если бы речь шла только о завоевании симпатий аморфной студенческой массы, то можно не сомневаться, что руководимое Трубецким Общество справилось бы с этой задачей без особого труда. Однако положение было куда сложнее. Новорожденное Общество сразу же оказалось между двух огней; тот разлом университетской жизни, сущность которого так ясно показал в своих статьях Трубецкой, прошел как раз по его детищу...

С одной стороны, начальство, разрешив создание Общества, до конца ему не доверяло. Анисимов вспоминал о постоянных «внушениях и замечаниях» с этой стороны Трубецкому, которые князь, как правило, «оставлял при себе». Но «старотурки», используя терминологию Трубецкого, были все же не так опасны. Судя по всему, университетское начальство боялось того, чего всякая бюрократия по

определению ждет от общественной деятельности, тем более студенческой, скандалов политического характера, неприятной огласки в печати¹² и прочих «беспорядков». При условии их отсутствия начальство Общество терпело и в его работу не вмешивалось.

«Младотурки» были гораздо деятельнее... Болезнь, поразившая русское студенчество, весь ужас которой так хорошо сознавал Трубецкой, зашла в это время уже слишком далеко... Учащаяся молодежь была политизирована до предела; в университетах же – в особенности. Чрезвычайно распространенной и постоянно пропагандируемой являлась следующая точка зрения: в условиях самодержавного строя никакая серьезная университетская реформа невозможна – да и не очень-то нужна... Главная задача студенчества – всеми силами поддерживать пролетариат в его борьбе с существующим строем. Нужно сделать все, чтобы университет стал одной из главных арен этой борьбы. Для этой цели хороши любые скандалы, конфликты с начальством, профессурой и т. п. Те же, кто пытается в данных условиях всерьез учиться, да еще и выходя при этом за рамки необходимого минимума, суть штрейкбрехеры, и ни на что, кроме осуждения и шельмования, им рассчитывать не приходится.

Всю прелесть подобного подхода к делу и руководству, и рядовым членам Общества пришлось ощутить почти сразу же после открытия. В университете стали распространяться листовки, в которых оно расценивалось «как громоотвод политических ударов, сооруженный на собственные средства министерства просвещения», а его руководители, и прежде всего «искушенный в житейской мудрости князь-философ» трактовались как жалкие прислужники высших властей. Ко всем «честным студентам» авторы листовок обращались с одним призывом: «Плюньте на эту игру в общественность и соединяйтесь в революционные организации»¹³.

Этим нападкам Трубецкой пытался противопоставить свои излюбленные идеи о плодотворности сближения профессуры и студенчества, их живого общения в научной работе. «Нужна солидарность, нужно доверие, нужна обще-

ственная дисциплина...» Авторитет Трубецкого среди «академистов» был чрезвычайно велик; противостоять его уму и обаянию с помощью аляповатых революционных призывов было достаточно сложно.

Однако в 1903 году, подорвав свое здоровье и запойной, без отдыха, работой, и университетскими дрызгами, Трубецкой вынужден был на время уехать за границу. В его отсутствие «политики» пошли по пути прямых провокаций, стремясь произвести на заседаниях Общества скандал, который привел бы к его закрытию. Учитывая общее настороженное отношение университетских властей к этой организации, подобную тактику нельзя было не признать многообещающей... Трубецкой, который, и находясь за границей, продолжал поддерживать с «академистами» самые тесные связи, в одном из писем призывал «кучке радикалов противопоставить кучку преданных обществу лиц, которые... соединились бы для того, чтобы оградить общество от гибели, клятвенно обязавшись его поддерживать». При этом князь призывал «организоваться десятками или восьмерками», продумать тактику сопротивления и пр. ...Поразительная ситуация, в которой человек, до глубины души ненавидевший всякую «секретность и нелегальщину», вынужден создавать чуть ли не подпольную организацию! И для чего? Для того чтобы отстоять свое право вместе со студентами изучать историю и философию...¹⁴

В конечном результате в том же 1903 году общество стало приходить в упадок. С одной стороны, его доконали «политики» — постоянное шельмование и провокации с их стороны становились непереносимыми. С другой стороны, сами обстоятельства русской жизни поворачивались такой стороной, что научная работа, самообразование и т. п. неизбежно отходили на задний план. Но в контексте избранной темы вся эта история имеет особый, исполненный глубинного трагизма смысл — она по сути дела явилась предвестником крушения всех начинаний Трубецкого и его собственной гибели.

В 1904 году началась русско-японская война. Осенью того же года в связи с несчастным для России ходом этой войны начались волнения в обществе, в том числе и массовые беспорядки в университетах. Затем 9 января 1905 г. – кровавое воскресенье, потрясшее всю страну, и первая русская революция с каждым днем стала набирать свою силу...

В это смутное время многие люди, в принципе весьма далекие от политики, оказались волей-неволей вовлеченными в ее орбиту. В их числе был и С. Н. Трубецкой. Как писал его друг и биограф Л. М. Лопатин, привычная для князя идея об ответственности народа за свое правительство заставляла его с особой мукой переживать позор русско-японской войны. «Уже давно волновавшая его мысль о необходимости немедленных и коренных реформ облекалась в совершенно жизненную и конкретную форму. Она терзала его и мучила, она будила его по ночам и не давала спать, она заставила его покинуть тихий кабинет ученого и превратила его в политического деятеля с всемирной известностью»¹⁵.

Действительно, после своей знаменитой «конституционной» речи 6 июня 1905 г. перед царем от лица земско-городской депутации Трубецкой стал известен если не всему миру, то всей России¹⁶. Не вдаваясь в подробную оценку этого хорошо известного эпизода русской истории, отметим лишь, что речь была произнесена с обычными для Трубецкого искренностью и сдержанностью. Тревога за судьбы страны сквозила в каждом ее слове, и в то же время в ней не было обычного для либеральных политиков противопоставления себя, как представителя общественности, правительству. Созыв народного правительства, к которому, как к единственно возможному выходу, призывал Трубецкой, напротив, должен был способствовать установлению взаимопонимания между этими силами. Подобная умеренность вкупе с подчеркнутым уважением к царю вызвала резко негативные оценки не только в революционной, но и в либеральной печати¹⁷. Но, с другой стороны, именно эти качества речи обеспечили «дружественный ответ»¹⁸ Николая II, склонного давать резкий отпор любым попыткам силового

давления. В данном же случае царь, очевидно, почувствовал добрую волю говорившего.

Благоприятное впечатление, произведенное Трубецким на Николая II, было замечено современниками. Ходили даже слухи, что Трубецкому уготовано кресло министра просвещения. До этого дело не дошло, и все же влияние князя сказалось: соответствующая записка, поданная им Николаю II, сыграла свою роль во введении знаменитых временных правил 27 августа 1905 года, предоставивших высшим учебным заведениям весьма широкую автономию в духе излюбленных идей Трубецкого. Профессура получила право выбирать университетское начальство и самостоятельно решать все внутриуниверситетские вопросы; студенчество – право создавать свои корпоративные организации, собираться для обсуждения своих корпоративных дел.

Вопрос о том, кто будет первым выборным ректором Московского университета, практически не стоял: авторитет Трубецкого был несомненен даже для консервативно настроенной профессуры. Князь, уже замученный к тому времени болезнями, баллотироваться все-таки не отказался и 2 октября был избран значительным большинством голосов. Избрание это было встречено и университетом, и всей образованной Россией с энтузиазмом. Сам Трубецкой сразу же после выборов держал перед своими коллегами речь, исполненную оптимизма: «Мы отстоим университет, если сплотимся. Чего бояться нам? Университет одержал великую победу. Мы получили разом то, чего желали, мы победили силы реакции. Неужели бояться нам нашего общества, нашей молодежи?»¹⁹ Увы, на этот, казалось бы, чисто риторический вопрос ближайшее будущее дало ответ положительный. Именно ее, «нашей молодежи», политизированной до предела, потерявшей верные жизненные ориентиры, и следовало бояться...

Высшие учебные заведения, в которых воцарилась теперь свобода собраний, стали своего рода оазисами среди городских пустынь, где любые митинги и собрания беспощадно разгонялись полицией и казаками. Естественно, что

митингующие хлынули под их гостеприимные кровли, тем более что по новым правилам появление полиции на университетской территории позволялось только в исключительных случаях. Впрочем, этот гибельный для высших учебных заведений процесс носил отнюдь не стихийный характер.

Почти сразу после принятия временных правил ЦК социал-демократической партии выпустил прокламацию, в которой обращался к студентам со следующими словами: «Нет, не заниматься согласно уставу и «применительно к подлости», то есть программам и данным официальной науки, будете вы, а свободно изучать и выяснять свое отношение ко всем волнующим Россию вопросам... Вы используете аудитории и все удобства, которые доставляют учебные заведения, чтобы совместно с пролетариатом немедленно же начать подготовку к вооруженному восстанию – этому единственному исходу русской революции. Долой самодержавие! Долой Государственную Думу! Да здравствует народное восстание!

Да здравствует всенародное Учредительное собрание!»²⁰

По сути, это был призыв к превращению университетов и прочих учебных заведений в политические клубы – и тем самым к уничтожению их как учебных академических заведений. Хуже всего было то, что призывы подобных прокламаций нашли отклик у значительной части студенчества, с головой окунувшегося в революционную стихию. Член лекторской группы ЦК РСДРП(б), известный впоследствии ученый Н. А. Рожков с удовольствием вспоминал, как он разгромил студентов-академистов, «не сомненно инспирированных ректором князем Трубецким», на огромном митинге, на котором решалась судьба университета. Основная масса собравшихся поддержала «партийное решение» об отказе от занятий и использовании университета и других учебных заведений Москвы в чисто политических митинговых целях.

В аудитории Московского университета хлынул взбужденный люд... Все усилия Трубецкого навести порядок,

избегая в то же время радикальных средств, были обречены на неудачу. Между тем московские власти воспринимали уже университет как один из главных источников беспорядков. Избегая нарушать установленную законом автономию, они сконцентрировали войсковые части напротив главного университетского здания – в манеже. Подобное противостояние грозило самыми трагическими инцидентами, причем Трубецкой, со свойственной ему остротой восприятия, заранее считал виноватым себя... Его мечта о свободном университете воплощалась в жизнь в самой страшной фантасмагорической форме.

«Помню, – писал Андрей Белый, – последнее его появление с усилием «спасти» автономию; тщетно; в стенах университета была свергнута власть, изгнаны либералы; шел турнир: эсеров с эсдеками; Трубецкому не дали договорить; уронив на кафедру руки и упираясь на них, он глазами, полными слез, оглядывал море тужурок: «Эх, господа!» И, махнувши рукой, вышел он»²¹.

...22 сентября 1905 г. С. Н. Трубецкой своей властью закрыл университет. В своем сообщении управляющему Московским учебным округом он достаточно ясно характеризовал ситуацию и объяснял причины своего решения – решения, которое еще три недели назад выглядело фантастическим, совершенно невозможным... Этот текст стоит того, чтобы процитировать его подробнее. «Вчера вечером, – писал Трубецкой, – в университет вошла толпа свыше 3000 человек и заняла насильственно аудитории юридического корпуса». Студентов университета в этой толпе, по словам князя, было меньшинство; в основном рабочие, а также учащиеся других заведений, гимназисты, женщины. Начался очередной митинг, с самыми революционными лозунгами и призывами. Между тем, сообщал князь, «градоначальник поставил в манеж батальон Екатерининского полка с боевыми патронами, два жандармских эскадрона и 3 сотни казаков, предупредив меня, что будет действовать оружием в случае каких-либо манифестаций на улице». При той атмосфере, которая царил в университетских аудиториях,

возможность подобных манифестаций представлялась Трубецкому более чем вероятной. «Ввиду постоянных вторжений в университет массы посторонних лиц и систематических нарушений советских постановлений²², а также ввиду непосредственной опасности кровавых столкновений, я пришел к заключению, что университет необходимо закрыть на несколько дней». Комиссия Совета университета единогласно поддержала князя, после чего он отдал распоряжение о временном закрытии университета со ссылкой на статью 17 Общего устава российских университетов, предоставлявшей в случае крайней необходимости такое право ректору.

Можно только догадываться, каких душевных сил стоило Трубецкому принять это решение, несомненно приблизившее его кончину. Ведь ему в силу жестокой необходимости приходилось рушить то, о чем он мечтал на протяжении всей своей университетской деятельности! Русское общество в лице разнообразных своих представителей, в свою очередь, постаралось добавить желчи в чашу, которую предстояло испить князю. В правых и бульварных газетах появились инсинуации, авторы которых прямо обвинили Трубецкого в трусости и безответственности. Так, например, по поводу жестокой инфлюэнцы, которая свалила его в сентябре, в разгар университетской смуты, прямо писали: «ректор заболел вовремя». Ответственность за закрытие университета полностью и безоговорочно возлагалась на Трубецкого²³. Левые шли еще дальше, именуя князя не иначе, как «либеральным холопом», и возлагая на него ответственность и за стачки рабочих Москвы, последовавшие вслед за закрытием университета, и за «кровавые злодеяния» полиции в борьбе с забастовщиками...²⁴ То, что Трубецкой спас от почти неизбежного кровопролития массу несмышленной молодежи, естественно, никого не волновало. Князя явно превращали в козла отпущения.

Между тем Трубецкой не собирался сдаваться. 27 сентября он выехал в Петербург с одной вполне определенной целью: представить министру просвещения В. Г. Глазьеву

постановление университетского совета от 27 сентября, автором которого был, конечно же, сам князь. Суть постановления сводилась к следующему: чтобы избавить высшие учебные заведения от наплыва желающих митинговать, необходимо «узаконение свободных общественных собраний и обеспечение личной неприкосновенности» в масштабах всей России. Это было, конечно же, логично: для того чтобы островки свободы не захлестывало океаном бесправия, рекомендовалось осушить океан...

Впрочем, в конце сентября 1905 г. подобное требование не выглядело ни вызывающим, ни неисполнимым. Характерно, во всяком случае, что князь, который, по отзывам всех, кто встречался с ним в это время, выглядел совершенно измученным и больным, 29 сентября был принят министром весьма благожелательно. В более чем часовой беседе Трубецкой поведал Глазьеву о событиях в университете и представил постановление совета. Поскольку решение вопроса о введении свободы собраний от министра просвещения никоим образом не зависело, Глазьев, очевидно, обещал передать его в соответствующие инстанции. Во всяком случае, промелькнувшие впоследствии в левой печати и листовках сообщения о «травле», которой Трубецкой якобы подвергся в приемной министра, не имели под собой ни малейших оснований. Более того, Глазьев тут же предложил князю принять участие в совещании по выработке нового университетского устава. Поскольку на этом заседании стоял вопрос по поводу студенческих организаций, чрезвычайно близкий Трубецкому, князь не мог удержаться от соблазна, хотя наверняка чувствовал себя плохо. На этом совещании он, используя свой богатый опыт, «дал самые подробные разъяснения, оспаривая редакцию некоторых положений, и произвел на всех поразительно симпатичное впечатление своей простотой, искренностью тона, ясностью мыслей и глубокой тонкостью ума»²⁵.

Это было последнее публичное выступление князя... Глазьев прекратил заседание, заметив, что у князя вдруг изменился голос, он стал говорить невнятно – явно был не в

себе. «Последним движением князя была попытка вручить министру несколько прошений студентов Варшавского университета о переводе их в Москву, причем С. Н. успел сказать: «Карман мой полон такими прошениями... Да, они будут довольны, они успокоятся». После этих слов Трубецкой впал в бессознательное состояние. Князя отправили в Еленинскую клинику, где он и умер, не приходя в сознание. Вскрытие показало «громадное кровоизлияние в мозг», в котором было обнаружено более 120 гр. запекшейся крови. Сосуды головного мозга Трубецкого вообще находились в ужасном склеротически-перерожденном состоянии. Профессор Л. Блюменау, проводивший вскрытие, сделал заявление, что склероз подобной силы в 40-летнем возрасте – редкость и может быть объясним лишь как результат «тяжких умственных волнений и потрясений»²⁶.

Так Трубецкой завершил свой жизненный путь, последние недели которого были действительно полны тяжчайших потрясений, причем далеко не только умственных... Казалось бы, то, что произошло после его кончины, должно было послужить этому замечательному человеку достойным воздаянием: подобные похороны в России случались нечасто. По самым скромным оценкам, выноса тела князя из Еленинской клиники ожидали около 50 тысяч человек. По прибытии же в Москву Трубецкого провожали к университетской церкви, затем несли домой, на Знаменку, и затем на кладбище Донского монастыря не меньше 100 тысяч человек. Все это производило сильное впечатление – особенно по контрасту с полным почти одиночеством Трубецкого в самую тяжелую для него пору, в сентябре 1905 г., накануне смерти.

К сожалению, не может быть сомнений, что из многих тысяч лишь единицы по-настоящему скорбели о смерти князя и лишь немногие более или менее представляли, кого хоронят. Подавляющее большинство собралось отпевать очередную «жертву царизма». Похороны князя в значительной степени явились хорошо организованной политической демонстрацией. Накануне 2 октября, когда тело кня-

зя должно было быть отправлено в Москву, Петербургский комитет РСДРП принял постановление, которое могло бы поразить своим цинизмом, если бы не было проявлением обычной для революционных и оппозиционных партий «философией борьбы»: все средства хороши для того, чтобы доставить неприятности ненавистному самодержавию. «...Предложено молодежи и рабочим явиться на похороны в возможно значительном числе. Признавая открытую демонстрацию по этому поводу нежелательной, комитет убеждал своих единомышленников соблюсти полный порядок, но своим присутствием наглядно показать всю ту силу, которая готова для борьбы с правительством»²⁷.

Таким образом, и для сторонников социал-демократов, и, надо думать, для подавляющего большинства других собравшихся на похороны – все они были чьи-нибудь сторонники – это был не более чем повод для демонстрации своей оппозиционности. Лишним доказательством этому являлись многочисленные венки от совершенно неожиданных отправителей, среди которых была и группа артиллеристов, и Комитет Санкт-Петербургской мясной биржи, и бакинские мусульмане, и служащие в управлении ссудно-сберегательных касс, и Комитет общества по распространению православия среди евреев России, и прочая и прочая... Апофеозом этого веночного потока являлся венок от петербургских рабочих с характернейшей надписью: «Не дождался, голубчик, свободы»...

Венки были украшены лентами красного цвета, который Трубецкому никогда не был близок; хоронили князя под пение революционных песен, которых он сам никогда не пел. И многочисленные речи, произнесенные над его могилой, и еще более многочисленные некрологи, появившиеся после его кончины в печати, – все, как правило, были выдержаны в казенно-антиправительственном тоне, в духе системы штампов и стереотипов, прекрасно разработанной свободомыслящим российским обществом. Дождем сыпались выражения типа: «светлые и свободные убеждения», «борец с бюрократизмом», «философ-идеалист и защитник прав

гражданина». Главную суть подавляющего большинства речений и писаний лучше всех, пожалуй, выразил в своем выступлении студент Зак: «Виновник смерти С. Н. один – это существующий строй, при котором не может быть свободной науки и ее бескорыстных служителей...»²⁸ О том, что он вместе со всем московским студенчеством не в меньшей, если не в большей степени, чем «проклятое самодержавие», повинен в смерти своего первого выборного ректора, выступавшему, конечно же, и в голову не приходило. В духе этих речей совершались и соответствующие поступки. Хотя до прямых столкновений с полицией дело не доходило – в значительной степени потому, что полиция в данной ситуации соблюдала редкий для себя такт, стараясь не вмешиваться в ход событий, – однако венок из белых орхидей, присланный царской семьей, был демонстративно растоптан несколькими недорослями...

Поразительным диссонансом всем этим статьям и речам, общей политизированной атмосфере звучат строки из воспоминаний Анисимова, искренне и глубоко любившего князя. Он встречал тело Трубецкого в Москве на Николаевском вокзале. «...Какие-то люди бегали по крыше вагона, кричали, жестикулировали: им аплодировали. Все были заняты чем-то своим»²⁹. Анисимов пишет, с какой тоской ощущал он недостойную суету этих похорон, в которых все, как казалось, преследовали свои не имевшие никакого отношения к трагической кончине князя цели. Огромное скопление народа еще больше усугубляло тоску: «Если бы даже они все как один запели свой похоронный марш, они не вернули бы его к жизни...»³⁰ И где-то подспудно рождалась мысль: может быть, они этого и не хотят; может быть, Трубецкой всем им нужен именно мертвым...

Вместо послесловия

Из записки наместника на Кавказе И. И. Воронцова-Дашкова на имя Николая II.

«В г. Зугдиди Кутаисской губернии 21 октября 1905 г. в городской церкви по настоянию агитаторов Акобия и Шенгелая была отслужена панихида по кн. С. Н. Трубецкому. После богослужения в церкви толпа с криками «Да здравствует республиканский образ правления!» выкинула красный флаг. Попытка толпы направиться в город была приостановлена появлением казаков»³¹.

Примечания

¹ М.А. Маслин С. Н.Трубецкой как русский философ. // Кн. С. Н. Трубецкой. Курс древней философии. М., 1997. С. 3.

² Это сходство должно было и бросалось в глаза современникам. Вскоре после смерти князя в газете «Рассвет» появилась анонимная статья, так и называвшаяся. См.: Кн. С. Н. Трубецкой – передовой боец за правду и свободу русской науки. СПб., 1906. С. 131.

³ Можно было бы составить обширный список профессоров, которые, по многим своим качествам, явно могли претендовать на роль студенческих кумиров или даже пребывали в этой роли, но недолгое время... В него вошли бы Н.И. Крылов, Н.И. Костомаров, Б.Н. Чичерин, А.Г. Захарьин и многие другие. Несоответственно высокими критериями, в том или ином отношении – в общем мировоззрении, манере поведения, проявления личных интересов – влияло на их популярность самым гибельным образом, а иногда и вообще заставляло отказываться от профессорской деятельности. Один из самых знаменитых случаев подобного рода – история с В.О. Ключевским, освиистаным студентами за речь, произнесенную им в Обществе истории и древностей российских в память Александра III в 1894 году.

⁴ Магистерская диссертация, защищенная Трубецким в 1889 г., называлась «Метафизика в древней Греции», а докторская (1900 г.) – «Учение о Логосе в его истории».

⁵ Антология русской классической социологии. М., 1995. С. 53.

⁶ Там же. С. 51–52.

⁷ Вопросы философии и психологии. 1906. № 1 (81). С. 148.

⁸ Там же. С. 149.

⁹ Последний по времени организацией, сходной с Историко-филологическим обществом, было, очевидно, Научно-литературное общество при Петербургском университете, закрытое в 1886 г. после неудачного покушения на Александра III, в подготовке которого принимали участие некоторые его члены.

¹⁰ Некоторые интересные сведения, особенно в связи с экскурсией в Грецию, организованной Трубецким для членов Общества, см. в воспоминаниях А.И. Анисимова в «Вопросах философии и психологии», 1906. № 1 (81), а также в вышеупомянутой книге Г.И. Щетининой. С. 133–137.

¹¹ Вопросы философии и психологии. 1906. № 1 (81). С. 165.

¹² Анисимов рассказывает, как однажды «сорвался» князь, услышав в одном из докладов слово «социализм», произнесенное в самом безобидном контексте. «Ведь это завтра будет в «Московских ведомостях», – писал он Анисимову. (Там же. С. 167.)

¹³ Цит. по: Вопросы философии и психологии, 1906. № 1 (81). С. 179–180.

¹⁴ Там же. С. 183.

¹⁵ Собрание сочинений кн. С.Н. Трубецкого. Т. 1. М., 1907. С. 12.

¹⁶ Не говоря уже о многочисленных откликах в прессе, речь Трубецкого становилась известна самым широким массам населения несколько необычными для России путями: некоторые земские управы вывешивали текст речи вместе с ответом царя на стенах правления или рассылали ее крестьянам. (Революционное движение в России весной и летом 1905 г. Ч. 1. М., 1955. С. 643.)

¹⁷ Революционное движение в России... Ч. 1. С. 57–58, 63. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. С. 410–411. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С. 286.

¹⁸ Леонтович В.В. Указ. соч. С. 409.

¹⁹ Вопросы философии и психологии, 1906, № 1 (81). С. 5.

²⁰ Революционное движение в России... Ч. 2. С. 248.

²¹ Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 37.

²² Имеется в виду Совет университета.

²³ Собрание сочинений кн. С. Н. Трубецкого. С. 14.

²⁴ Всероссийская политическая стачка. С. 28.

²⁵ Кн. С. Н. Трубецкой – передовой боец... С. 26–27.

²⁶ Там же. С. 28.

²⁷ Всероссийская политическая стачка... С. 344.

²⁸ С.Н. Трубецкой – передовой боец... С. 51.

²⁹ Вопросы философии и психологии. 1906, № 1 (81). С. 195–196.

³⁰ Там же.

³¹ Всероссийская политическая стачка... С. 272.

«УЧЕНАЯ РЕСПУБЛИКА» В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Эпоха зрелищ кончилась.
Идет эпоха хлеба.
И перекур объявлен всем,
Штурмовавшим небо.

Борис Слуцкий

Предложение написать статью о студентах Московского университета было для меня не только лестным, но и чрезвычайно приятным – оно оказалось как нельзя более кстати. Мысль подытожить свои соображения на эту тему посещает меня в последние годы всё чаще; наверное, время пришло.

Должен предупредить, что речь пойдет почти исключительно о личных впечатлениях, не подкрепленных никакими статистическими, социологическими и прочими данными подобного рода, и, соответственно, должен заранее извиниться за крайний субъективизм всего написанного. Он, очевидно, совершенно неизбежен, поскольку речь пойдет о том, что для меня ни в коем случае не является предметом академических изысканий, а составляет самую сердцевину моего бытия. Поступив на исторический факультет в 1968 году, я провалился в это учебное заведение, как в прорубь; пять лет студенчества, три года аспирантуры, четверть века работы на кафедре истории России – и вот уже XXI век на дворе... При этом Университет никогда не был для меня, так же как и для многих моих коллег, просто местом учебы, а затем работы – он обладает удивительным свойством поглощать тебя целиком.

Естественно, что учебный процесс – семинары, лекции, всевозможные практики, общение с дипломниками, аспи-

рантами и т.п. – занимает большую часть рабочего времени. Но дело не только в этом. У меня Университет определил и всю личную жизнь. Женился я на однокурснице; друзья и знакомые на 90% с лишним – коллеги по факультету и ученики, бывшие и настоящие, которых с каждым годом становится все больше. Влияние Университета мощно сказалось на мне еще в детстве: мой отец закончил все тот же истфак, кафедру медиевистики в годы ее расцвета, и его рассказы о замечательной «старой» профессуре, уцелевшей там с дореволюционных времен, сыграли в моем становлении немалую роль. На истфаке учились мои дети; на внука, пока единственного, у которого оба родителя с высшим историческим образованием, я в этом отношении очень рассчитываю в будущем... Ну и, наконец, моя исследовательская работа по большей части связана именно с историей Московского университета; Т.Н. Грановский и С.Н. Трубецкой – мои герои... Вне Университета, таким образом, для меня остается очень и очень немного.

При такой жизни на объективное и взвешенное отношение к предмету статьи, сами понимаете, рассчитывать трудно. Тут, очевидно, вполне уместно привести старый афоризм: «Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы». Но в то же время ощущения постоянного обитателя определенной среды о ее свойствах и качествах, наверное, могут представить определенную ценность. Тем более что мне есть с чем сравнивать настоящее положение дел в Университете – и в плане личных воспоминаний, и в более отдаленной исторической ретроспекции.

Именно с исторического экскурса я и хотел бы начать. Московский университет на протяжении всего своего существования, и особенно в XIX–XX веках, представляется явлением чрезвычайно цельным и достаточно своеобразным – как цельна и своеобразна вся эта эпоха истории России. Конечно же, Университет во все времена обладал тем важным качеством, которое должно составлять главное преимущество учебного заведения подобного рода: в

нем можно было получить наилучшее, с академической точки зрения, образование (естественно, наилучшее в данных условиях). Однако этим дело никогда не ограничивалось. Банально звучащая, ставшая расхожей стихотворная строка: «Поэт в России – больше, чем поэт» – в сущности, не только совершенно справедлива, но и может варьироваться весьма разнообразно, в том числе и в интересующей нас сфере. Ученый в этой удивительной стране нередко больше, чем ученый; преподаватель – больше, чем преподаватель; студент – больше, чем студент... Университет – больше, чем университет...

Причиной этому явился такой постоянно действовавший фактор русской жизни, как глубинное несоответствие между универсальным, европейским, по сути, просвещением, которое сама власть стала внедрять здесь с начала XVIII в., и особым, «самобытным» путем развития России – сначала самодержавной, а потом – большевистской Империи. Н.Я. Эйдельман тонко заметил по этому поводу, что были в «тогдашнем мире... страны не меньшего, а большего социально-политического рабства (Турция, Персия, Китай), но солнце просвещения стоит в ту пору над ними довольно низко»... С другой стороны, не сложно было найти на карте XVIII в. и края «более просвещенные... но такого рабства, как в России, они не знали»...¹

Сказанное, на наш взгляд, абсолютно верно – и не только для XVIII века, если понятие «рабство» не сводить к формально-юридическому крепостному праву. Европейское просвещение, круто замешанное на анализе, критике, свободном исследовании, неизбежно должно было войти в самое резкое, непримиримое противоречие с постоянной несвободой русской жизни. Что и произошло, очевидно, в первые десятилетия XIX в.: безумные погромы Казанского и Петербургского университетов в последние годы правления Александра I, гораздо более продуманный и хорошо налаженный идеологический контроль над университетской системой при Николае I – яркое тому свидетельство.

Именно в это время власть, ранее чуть ли не силой на-

саждавшая просвещение в России, начинает относиться к нему все с большим опасением. Устойчивое убеждение в необходимости просвещенных людей, без которых государству не обойтись, сталкивается с ощущением того, что эти люди представляют все большую опасность для данного государства: именно в их среде начинает вырабатываться сознательное недовольство существующим положением вещей.

Парадоксальность ситуации порождает у власти парадоксальные стремления: ее адепты обращаются к поискам небывалого и невозможного – «огня, который не жегся бы» (С.С. Уваров). Именно в те далекие времена вырабатывается четкая официальная установка: смонтировать такое просвещение, которое формировало бы людей знающих, но нерассуждающих, профессионально подготовленных – и безропотно воспринимающих окружающую действительность. Это квазипросвещение еще толком не изучено и не оценено, хотя роль, сыгранная им в русской истории, огромна. Могу сказать лишь, что в нем с удивительной полнотой воплотилась несвобода нашей скорбной жизни – оно стало одним из главных рычагов духовного насилия, тем прессом, которым власть на протяжении почти двух веков штамповала живые человеческие души, стремясь подогнать их под свои противоестественные установки. При этом, конечно же, эксперименты власти самодержавной, породившие достаточно вялую и малодейственную теорию «официальной» народности, не идут ни в какое сравнение с деяниями советской власти, вооруженной марксистско-ленинской идеологией – мощным и универсальным оружием, способным деформировать человеческую личность до неузнаваемости.

Всякое действие, как известно, вызывает противодействие. В условиях постоянного прессинга просвещение истинное стало приобретать в России черты, ему, очевидно, как правило, не свойственные: оно, в свою очередь, стало орудием борьбы – за человеческое достоинство, за право свободно мыслить. В сущности, все, кто учил, и все, кто

учился в этой стране, были поставлены перед выбором: либо покориться власти и погрузиться в рутину формализованного до предела, исковерканного до противоестественного состояния преподавания и обучения, сознательно или бессознательно отказавшись от поисков истины, от попыток познать сущность изучаемых явлений, либо – чуть ли не ежедневно совершать подвиги... Причем сферой этих подвигов была не политическая или идеологическая борьба, а сам, казалось бы, чисто академический процесс преподавания или обучения.

По этому поводу можно привести великое множество разнообразных примеров. Я приведу только несколько, произведших в свое время на меня самое сильное впечатление и к тому же чрезвычайно показательных, поскольку речь пойдет о событиях, происшедших в разных концах намеченной нами временной шкалы.

Пример первый – знаменитые лекции Т.Н. Грановского, читанные в Московском университете в 1840-х – начале 1850-х годов. Лекции по медиевистике, бесконечно далекие, казалось бы, от «проклятых вопросов» русской жизни. (Грановский всю жизнь мечтал читать о Французской революции, но... Официально курс зарубежной истории дозволено было читать только до XVI в.; уже история Реформации воспринималась как нечто «сомнительное» и небезопасное.) Читал Грановский без всяких внешних эффектов, к тому же имел тихий голос и заметный дефект речи (отсюда и дружеское прозвище – «шепелявый профессор»), всегда последовательно избегал каких бы то ни было аллегорий и намеков на современность. А между тем его лекции пользовались невероятной, ни с чем не сравнимой популярностью: аудитория всегда была забита до отказа, слушатели сидели на ступеньках у кафедры, причем далеко не только историки, но и студенты других факультетов – математики, медики... Когда же в начале 1840-х Грановскому было позволено прочесть публичный курс лекций для неуниверситетской публики, то это событие было воспринято в обществе как «историческое» (Чаадаев).

В чем же была причина столь громовой популярности? Очевидно, прежде всего в том, что Грановский читал лекционный курс на европейском уровне – «по Гегелю». Чрезвычайно глубоко и чутко восприняв учение о диалектике, он пластично и выразительно строил рассказ о мировой истории как об едином процессе развития, проистекающем по определенным законам. В довольно многочисленных воспоминаниях о лекциях Грановского на первом плане всегда – «общая идея, все связующая и всему дающая целость и величие»².

И все же такое объяснение явно недостаточно: так, можно быть уверенным, что те же лекции, прочитанные, скажем, в Германии, произвели бы благоприятное впечатление, но наверняка не вызвали бы подобного ажиотажа. Дело ведь было не только в Грановском, при всех его несомненных и замечательных достоинствах; дело было еще и в России, точнее, в господствовавшей в ней теории «официальной» народности. В соответствии с этой идеологией существующий в Империи порядок провозглашался идеальным, данным раз и навсегда; тем самым законы развития на этой территории как бы отменялись... Теория «официальной» народности, сформулированная С.С. Уваровым, министром просвещения, в первую очередь именно в целях борьбы с европейским просвещением, провозглашала, обращаясь к учащимся: учись для того, чтобы занять определенное место в Империи и работать на ее благо, укрепляя существующий порядок вещей. Грановский же, ни в малейшей степени не покушаясь в своих лекциях на этот порядок, учил: все преходяще, все находится в процессе развития, который вполне познаваем; присмотришься к нему, почувствуешь себя подельщиком, сотрудником творящего Абсолюта – и действуй соответственно... Лекции на, казалось бы, совершенно отвлеченные темы, разрушали изнутри господствующую идеологию – и безмерно уставшая от нее молодежь чувствовала это, стекаясь в аудиторию к Грановскому не столько ради сведений об европейской истории, сколько в поисках достойной жизненной позиции.

Другой пример: совсем другие времена, конец 1960-х, лекции С.С. Аверинцева по древнегреческой философии. Собственно, насколько я помню, это был даже не общий лекционный курс, а спецкурс, предназначенный для старшекурсников-философов – или филологов? Последнее, впрочем, не имело никакого значения, потому что на этот спецкурс, начавшийся с 5–6 слушателей, постоянно собиралось более сотни человек со всех возможных факультетов Университета. Большая аудитория была забита до отказа – на ступеньках сидели... Та единственная лекция, на которую я попал, была посвящена пифагорейцам. В изложении отсутствовал даже намек на какую бы то ни было популяризацию, концентрация мысли просто поражала, терминология – сложнейшая (во всяком случае для меня – историка-первокурсника). Кстати, и саму манеру чтения Аверинцева трудно было назвать обаятельной: высокий, режущих слух голос, несколько судорожная, как бы неоправданная жестикуляция... Каюсь, я и десятой доли не понял. Но вот просидел же, затаив дыхание вместе со всей аудиторией, полтора часа и воспоминания сохранил чрезвычайно яркие; помню, очень переживал, что по ряду обстоятельств не мог прослушать весь курс – такой загадочный, труднодоступный и такой обаятельный.

Секрет этого обаяния был хорошо понятен уже тогда. Дело не только в том, что лекции порождали ощущение сопричастности к настоящей, высокой науке – серьезных ученых в Университете всегда хватало. Главное, наверное, было в том, что в словах Аверинцева не было ни грана идеологической примеси – того яда, который тогда рассматривался, как совершенно необходимая приправа к любой духовной пище. Имена Маркса, Энгельса, Ленина не были произнесены ни разу (это в лекции по философии!); зато имя Бога, чуть слышно, рефреном, но звучало постоянно... Подобный курс и сейчас, конечно же, собрал бы неплохую аудиторию – тех, кто всерьез интересуется философией. Но в том-то все и дело, что тогда, я уверен в этом, таких среди слушателей Аверинцева было явное мень-

шинство. На его лекции валом валил народ самый разнообразный и в целом весьма далекий от стремления разобраться в глубинной сути учения греческих мудрецов. Мне кажется, нас объединяла тогда сознательная или бессознательная неудовлетворенность официальной наукой и казенным просвещением, ощущение духовной скудости, неполноты нашего тогдашнего бытия – и искренний восторг от ощущения, что все это может быть совершенно иным, значительным, истинным...

Как учили, так и учились... В этом отношении – в обучении, в постижении сути того или иного процесса или явления – в Университете тоже во все времена происходили дела странные, ни на что не похожие. Например, когда князь С.Н. Трубецкой, известный философ, профессор, в конце 1890-х годов организовал кружок для углубленных занятий историей философии, то студентам приходилось собираться на занятия «под покровом тайны», практически нелегально – университетское начальство возражало против каких бы то ни было контактов профессуры и учащейся молодежи во внеучебное время. Когда же Трубецкому, проявившему максимум энергии и доброй воли, удалось преодолеть предубеждение властей против внеаудиторных занятий древней философией и создать Историко-филологическое общество, беда пришла с другой стороны. Начались бесконечные нападки со стороны политизированной части студенчества, выступавшей против «академистов» только что не с оружием в руках. Последних обвиняли в пособничестве властям – вместо того чтобы бороться против самодержавия, они, видишь ли, науки изучают. Одним из самых выразительных символов ни с чем не сравнимого духа российского просвещения для меня является письмо Трубецкого к своим сторонникам, в котором он призывал «кучке радикалов противопоставить кучку преданных обществу лиц, которые... соединились бы для того, чтобы оградить общество от гибели, клятвенно обязавшись его поддерживать»; при этом князь рекомендовал «организовываться десятками или восьмерками»,

продумать тактику сопротивления и пр.³ Ну где еще, в какой стране, изучения Платона и Аристотеля сопровождалось такими эксцессами? Где еще для обсуждения трудов древнегреческих философов и средневековых схоластов нужно было создавать подпольную, строго законспирированную организацию?

Что в советские времена серьезное, добросовестное изучение той или иной науки могло стоить свободы, а нередко и жизни – хорошо известно. Судьба многих замечательных биологов, языковедов, историков тому порукой. А многим просто не дали стать учеными, насильственно изгнав их из науки, – и, как правило, именно за то, что они много обещали, многое могли и многого хотели. Слишком многого, с точки зрения властей... На меня огромное впечатление произвела встреча с Краснопевцевым – человеком, который дал свое имя последнему громкому «политическому» делу на историческом факультете. Политическим его действительно можно называть только в кавычках, потому что состав преступления нескольких студентов и аспирантов, объединившихся во второй половине 1950-х годов в небольшой кружок, состоял прежде всего в том, что они стремились изучать *реальную* историю своей страны, а не ту, которую им преподавали официально, – и это свое стремление ни от кого не скрывали. Краснопевцев, в частности, писал работу о политике Советской власти в деревне в 1918–1920 годах, писал по доступным источникам – прежде всего прессе, – и картина у него получилась, конечно же, весьма отличная от тех, что рисовались в советской учебной и научной литературе. Члены кружка ни от кого не прятались, открыто демонстрировали свое презрение к официальной науке – и, конечно же, даже в относительно благостные хрущевские времена были обречены. На вопрос, заданный во время встречи: «На что вы рассчитывали?» – Краснопевцев, человек вообще на удивление спокойный и сдержанный, слегка повысив голос, дал поразительный ответ: «Да ни на что мы не рассчитывали!.. Мы просто физически не могли врать. Занятия историей сде-

лали невозможным для нас вранье». За это нежелание врать члены кружка получили длительные сроки заключения, ссылки, работы на тяжелых производствах. За искреннее желание стать настоящими учеными их лишили возможности заниматься наукой.

Мне кажется, что все эти разрозненные примеры достаточно ясно и последовательно свидетельствуют об одном: в Университете на протяжении всей его истории чрезвычайно важную роль играли подвижники, герои – все геройство, все подвижничество которых выражалось лишь в том, что они преподавали – или учились – лучше других, сознательно, так, как того требовало просвещение, в высоком, истинном смысле этого слова, а не так, как диктовала им, исходя из своих интересов, власть. Быть на уровне требований этого просвещения стремились, очевидно, везде, где оно получило распространение; как правило, это был вопрос, связанный с личными способностями и материальными возможностями; многое всегда и везде зависело от конкретных житейских обстоятельств и т.п. В России же это был вопрос в значительной степени идейно-политический: добросовестно следуя путями просвещения, ты рано или поздно приходишь в столкновение с официальной идеологией (а в дореволюционные времена, когда диктат власти был, несомненно, мягче, ты сталкивался еще и с диктатом оппозиционного общественного мнения, который нередко был еще прямолинейней и беспощадней). Ну а дальше все уже зависело от того, как поведешь себя ты и как поведет себя власть. Во всяком случае, угроза ostracism в той или иной форме – от запрета на публикацию научной работы или выезд за границу до места в ГУЛАГе – постоянно висела над тобой.

Естественно, что если дело порождает героев, то и без антигероев здесь никак не обойдется. Если хороший преподаватель или студент стоял на грани подвижничества, то и антиподы их сплошь и рядом были чем-то значительно большим, чем просто плохие студенты и преподаватели. Очевидно, что в обычном смысле слова это должны быть

люди бесталанные, недобросовестные, ленивые и т.п. В России же, особенно в Советской, все эти малопривлекательные качества с позиции власти компенсировались, а с позиции любого нормального человека усугублялись безукоризненным соответствием официальным идеологическим установкам. Колебаясь вместе с генеральной линией партии, регулярно участвуя во всех партийно-политических мероприятиях, уча и учаь так, как того требует власть, полностью, безусловно истребив в себе дух исследования и жажду истины, можно было распрекрасно выучиться, не прилагая для этого особых усилий, остаться при кафедре, стать доцентом, профессором и т.д. и т.п. Нужно было только не сворачивать с избранного пути и периодически издавать брошюры типа: «Партийная организация Ивановской области в преддверии XXII съезда КПСС» или «Как нам помочь передовикам производства». Без последнего, впрочем, тоже можно было обойтись.

Подобные преподаватели были на всех факультетах, на всех кафедрах; без них не обходился ни один предмет; но особенно высока их концентрация была, естественно, в сфере «наук», которые специально для них и были созданы: диамат (диалектический материализм), истмат (исторический материализм), политэкономика и, конечно же, незабвенная история КПСС. Эти квазинауки были так густо замешаны на очевидном вранье, настолько мало общего имели с тем, что они якобы изучали, строились на таких схоластических вывертах – что просто оторопь брала... У меня до сих пор остается ощущение какого-то особого, потустороннего, призрачного, глубоко враждебного человеку мира. Находиться в сфере их воздействия было губительно для ума и души, даже если речь шла всего лишь о чтении соответствующего учебника. «Изучать» же это... Нет, тут должен был быть совершенно особый склад ума и характера.

В середине 1980-х у меня на рабфаке учился замечательный, в своем роде, парень – энергичный, талантливый и не скрывавший своих стремлений сделать хорошую карьеру. Уже тогда он твердо решил, что будет специали-

зираться на кафедре истории КПСС (специализация по кафедрам у нас начинается только на третьем курсе). Я был уверен, что ему там придется худо – уж больно искренне он любил историю, – не раз предупреждал об этом. Как правило, следовал ответ: «Андрей Анатольевич, любовь любовью, но мне нужен кусок хлеба с маслом». На кафедре истории КПСС он проучился один год, после чего перешел к нам на XIX век. Это был, очевидно, первый случай подобного рода на факультете – тоже своего рода подвиг; перестройка тогда только-только раскручивалась, и никому еще не было ясно, чем она кончится. На мой вопрос: «Как же кусок хлеба?..» – перебежчик со свойственной ему откровенностью отвечал: «Поперек горла встал» – и рассказал, в частности, что послужило последним толчком, заставившим его дезертировать с передового фронта партийно-политической борьбы. Он взял темой курсовой работы деятельность фракции большевиков во II Думе (1907 г.) и с энтузиазмом занялся изучением протоколов думских заседаний, подробно разобрался в достаточно сложном механизме депутатского запроса и т.п. Именно за это – за работу с источниками – он подвергся критике со стороны руководителя семинара: «Олег, все это хорошо, но слишком много истории (и это на историческом факультете! – А.Л.). Есть же труды Ленина, партийные документы – этого достаточно». В пример была поставлена курсовая, главное достоинство которой состояло в оформлении: все цитаты из Ленина были выписаны красной ручкой, из партийных документов – зеленой, а авторский текст – синей...

Обращаясь к воспоминаниям о своих собственных студенческих годах, хочу напомнить, что в Университет я поступил в 1968 году – т.е. в самом начале той удивительной, до сих пор не оцененной должным образом эпохи, которая позже получила название «застоя». И в этом застое нам с моими сверстниками пришлось вывариваться, худо-бедно, четверть века...

О «царствовании» Брежнева написано уже много, будет

написано еще больше и, конечно же, не мне и не здесь претендовать на серьезные обобщения. Не могу не сказать лишь о том, что представляется мне принципиально важным для этого очерка. Всё началось именно тогда – я имею в виду те поразительные перемены, которые сделали качественно иной всю нашу жизнь – и, конечно же, Университет. Другими мы начали становиться – свободными – именно тогда. Возвращаясь к эпиграфу, предпосланному очерку, скажу: мне представляется, что Борис Слуцкий написал в эпоху хрущевской «оттепели» строки пророческие, несколько опередившие реальный ход событий, – в те времена энтузиазма еще хватало с избытком, понятия «хлеб» и «зрелища» еще воспринимались как нечто единое, а штурм небес продолжался в полную силу. Вплоть до прорыва в космос, встреченного с искренним восторгом (кого в этой стране космос волнует сейчас?..), и не менее искренней веры в возможность построения справедливого общества.

Отбой был дан при Брежневе. Именно тогда мифы, так долго чаровавшие нашу страну, – не исчезли в одночасье, нет, – начали разлагаться, медленно и постепенно. В грязь, в кашу... Это был длительный процесс, но постоянный и необратимый. Энтузиазм, которым были пронизаны предшествующие эпохи, иссякал на глазах – и в «верхах», и в «низах». Надвигалось Освобождение...

И тут сразу же необходимы оговорки. Две, как минимум. Во-первых, это я сейчас такой умный и так всё хорошо понимаю. Тогда-то ощущения были совсем другие, противоположные – казалось, всё застыло в полной неподвижности. Божьи мельницы мелют медленно – как будто об этой эпохе специально сказано.

И второе. В.В. Розанов в свое время точно заметил, что свобода, сама по себе, не является благом; так же, впрочем, как и злом. Это не более, чем условие, которое позволяет тебе быть самим собой. И, с этой точки зрения, она проверяет тебя на прочность еще значительней, чем любое насилие, – хотя бы тем, что снимает возможность при-

вычных в этой стране оправданий: «Я не мог иначе...», «Меня заставили...», «Так получилось...»

Так вот в этом смысле испытаний при Брежневе прибавилось: меньше заставляли, почти всегда можно было иначе. Обязательные «зрелища», впрочем, продолжались, причем не менее помпезные, чем раньше, – но они приобретали всё более внешний, формальный характер. Комсомольские и партийные собрания разных уровней, методологические семинары, общественная нагрузка, обязательная для всех и каждого... Всё это занимало массу времени и – совершенно не затрагивало душу. Кесарю кесарево... А реально – все, используя эту внутреннюю свободу, запасались «хлебом». Кто в прямом, самом грубом смысле этого слова – ведь именно в это время, как известно, четкие очертания приобретает тот двуединый социальный слой, представители которого в конце концов общими силами, «преодолев» коммунистическую идеологию, прибрали к рукам страну – для себя: непотопляемая и совершенно беспринципная номенклатура (потому, очевидно, и непотопляемая, что беспринципная) и ее зазеркальное *alter ego* – «бойцы» теневого бизнеса. Кто – дорывался до хлеба духовного, который с хрущевских времен, при всех оговорках, стал куда доступнее, чем раньше.

Среди моих сверстников (повторюсь, что пишу исключительно о тех, кого знал лично) обе категории были представлены достаточно полно – но в мягкой, я бы сказал, смазанной форме. Не было головорезов, сокрушавших всё на своем пути, во имя жирного куска, не было и героев, открывавших новые духовные горизонты. Жаждающих хлеба насущного, конечно, хватало, и роились они в основном на кафедре истории КПСС, гарантировавшей своим выпускникам, как поминалось выше, не только хлеб, но и масло, – у них никогда не было проблем с распределением: не говоря уже о возможности партийной карьеры, эта хитрая «наука», преподававшаяся во всех без исключения вузах, открывала своим адептам путь к престижной работе и приличной зарплате. Хотя до сих пор не могу понять,

как *этим* можно было заниматься всю жизнь... Вообще, преподаватель истории КПСС был для нашего общества фигурой знаковой; о нем, я уверен, будут еще монографии писать.

Что касается прочих кафедр факультета, занимавшихся «гражданской» историей, а также археологией и этнографией, то здесь процент отпетых карьеристов был примерно одинаков. Исключений, как кажется, было два. Реже всего они встречались, по-моему, на археологии – мне иногда кажется, что их отталкивала необходимость хотя бы на первой стадии своего жизненного пути работать лопатой... Они всегда предпочитали «работать с документами». На археологию вообще, как правило, шли хорошие, порядочные, трудовые ребята, неизбежно державшиеся несколько особняком – специфика специальности неизбежно сказывалась. Больше же всего карьерных юношей на уровне, близком к кафедре истории КПСС, скапливалось на кафедре новой и новейшей истории.

Между ними и КПСС-никами существовали, впрочем, очень серьезные различия. На кафедре новой и новейшей истории всегда был очень строгий отбор – и не только по «идейному», как на истории КПСС, но и по академическому принципу. Там всегда серьезно учили, и там, как правило, приходилось серьезно учиться. Языковая подготовка, в частности, была уникальной. Но, насколько я могу судить, то, что учили там, историей назвать – не всегда язык повернется. Крен на этой кафедре был решительно сделан на новейшую историю – причем новейшую до такой степени, что само понятие «история» превращалось в чистую условность. Особенно это касалось американистики, которая всё больше начинала приобретать те же черты, что и советология на Западе. Иными словами, выпускники этой кафедры имели все основания рассчитывать пробиться на «передний край идеологической борьбы» со всеми вытекающими отсюда последствиями – постоянными выездами за границу, «в тыл неприятеля», распределением в элитные НИИ, приобщением к вождельной но-

менклатуре, причем в качестве самом, может быть, привлекательном: как трудно заменимый специалист, референт.

При всех различиях между прямолинейной оголтелостью достаточно примитивных КПСС-ников, разводимых с целью обеспечения идейных побед на фронте внутреннем, и своего рода утонченным снобизмом отягощенных знаниями американистов и прочих спецов по борьбе с Западом общего между ними было все-таки больше. Все они вместе (да и на других кафедрах подобных им хватало) составляли особый, достаточно замкнутый, отличный от нашего мир (понятия «они» и «мы» ввести здесь самое время). Не то чтобы не посвященные в этот мир вообще не допускались — они туда просто не стремились. Что там делать непосвященному?.. Жутко, неуютно... Говорили в этом мире на особом, непонятном языке; исходили из особых, непонятных жизненных принципов. Понятно было, причем совершенно определено, только одно: это чужие...

Как мне кажется, был здесь один критерий (наряду со многими прочими), который предельно четко отделял «их» от «нас». «Мы», при всех наших слабостях, поступали на истфак по одной, весьма уважительной причине: нас искренне интересовала история. Можно сказать, что мы любили ее, каждый по-своему, не совсем ясно, наверное, представляя, что именно мы любили. Как бы то ни было для нас, материалистов-атеистов, Клио все-таки была богиней, пусть и богиней неведомой — имени ее мы толком не знали, сущность вероучения была не ясна, но преклонить колени мы все-таки были готовы. Факультетские же карьеристы, не взирая на уровень их способностей и знаний, к истории как к науке были совершенно равнодушны. Из высокой цели она превращалась в подсобное средство. Клио была для них не богиней, а служанкой — или того еще хуже...

Впрочем, нужно оговориться: за исключением одного-двух откровенных мерзавцев моих партийно-комсомольских однокашников грех помянуть дурным словом. Люди

они были по-своему неплохие, невредные. Членовредительством не занимались, человеческих жертвоприношений, обычных в прежние времена, не практиковали. Тип «идейного» лидера с горящими глазами, знакомый по литературе и воспоминаниям старших, исчез безвозвратно. Энтузиазм, повторяю, был не в моде. «Общественная работа», по-прежнему культивируемая всеми возможными способами, всё больше приобретала какой-то мистический, потусторонний характер – результаты ее откладывались только на бумаге, в отчетной документации. Чем занимались все эти ужасно занятые люди в своих комсомольских, партийных, профсоюзных и прочих комитетах? Просиживали они там долгие часы – о чем говорили, к чему призывали, какие решения принимали? Не знаю... Я думаю, что они и сами не помнят. Надо документацию поднимать. Во всяком случае нашего брата эта кипучая деятельность почти не затрагивала. Отсиживать на общих комсомольских собраниях, регулярно платить взносы и периодически ходить на демонстрации – вот, пожалуй, и все, что реально требовалось от нас, «инертной массы».

Так чем же «мы» жили реально? Еще раз скажу, что героев-подвижников я на истфаке не встретил – точно так же, как энтузиастов-головорезов (хотя из этого, конечно же, отнюдь не следует, что и тех и других в это время не было вообще). В основном мы жили приспособляясь – я употребляю здесь это слово без обычного в наших краях презрительного оттенка. Хотя бы по той причине, что в это время приспособляться можно было, не совершая откровенных подлостей и насилия – ни в отношении других, ни в отношении самого себя. Повторю – при Брежневе медленно, но верно не только понижался уровень принуждения, но и оно само приобретало все более внешний необязательный характер, появлялась возможность перевести дух, оглядеться, поразмышлять...

Вообще большой соблазн сравнить «застой», в котором я прожил большую часть жизни, с эпохой Николая I, которой я большую часть жизни занимаюсь. Конечно же, я

хорошо понимаю, насколько наивны, как правило, бывают такие параллели, а все-таки... Эпохи, несомненно, переключаются друг с другом; при всей неоспоримой уникальности каждой из них у некоторых есть общий привкус. Застой всегда застой, так же как реформы – всегда реформы. Аналогичные явления неизбежно вызывают одинаковые ощущения, хотя и происходят в различные времена, и герои их индивидуально не схожи... Одно могу сказать совершенно точно: заниматься Университетом николаевской эпохи в 1970–80-е годы было предельно увлекательно: вроде бы и историей занят в чистом виде, а в то же время пишешь о своем заветном, о том, что волнует тебя, как человека, современника и, кажется тебе, не может не волновать окружающих. Сейчас это обаяние эпохи 1830–1840-х для меня, к сожалению, становится все слабее – все больше тянет к пореформенной России...

Главное сходство, как я теперь понимаю, было, наверное, в том, что «нас» все больше начинал интересовать *смысл* истории – так же, как и наших предшественников, в далекие николаевские времена. Причем, сходство усугублялось тем, что и тогда, и сейчас на официальном уровне со смыслом истории всё было предельно ясно и понятно, никаких проблем, не то что тайн, здесь не могло быть по определению (хотя, конечно же, попытки С.С. Уварова, вкуче с М.П. Погодиным и С.П. Шевыревым, сотворить официальную науку выглядят безобидной детской игрой в сравнении с марксистско-ленинской методологией). Однако и сейчас, и тогда вся жизнь, как я уже писал, становилась двойственной – внешне она была устоявшейся до полной неподвижности, но подземная, разрушительная работа шла постоянно во всех направлениях.

И процесс этот был, хоть и необратимый, но медленный до отворачивания. Все мы были убежденными материалистами, с хорошей выучкой – почти до условного рефлекса. Все мы искренне верили в то, что главной пружиной человеческого бытия является развитие производительных сил, что все человечество идет по пути последовательной

смены социально-экономических формаций, что классовая борьба определяет и объясняет суть всех исторических явлений – и так далее и тому подобное. Нас так учили... Труды основоположников мы читали, как правило, по самой жесткой необходимости – к семинару, к экзамену, можно сказать, под дулом пистолета – отплеываясь; но базовые истины усвоили достаточно прочно – за неимением других. Условно говоря, марксистами мы все-таки были постольку, поскольку больше за душой ничего вроде бы не было. Вроде бы... Но поскольку эта идеология, в свое время действительно взрывная, динамичная и потому, я думаю, столь увлекательная, все больше превращалась в чистую формалистику, в безвкусную жвачку, оставаться при ней не позволяло ни личное достоинство, ни интерес к жизни вообще и к истории – как к жизни, опрокинутой в прошлое, – в частности.

И, наверное, прежде всего пришло ощущение, что все значительно сложнее тех убогих схем, в которые выродился марксизм к этому времени. Что касается того периода, в рамках которого я решил специализироваться, – история России XIX века, – то здесь для 1960–70-х годов не переоценить роль П.А. Зайончковского, создавшего своего рода «советский позитивизм». Как только это стало возможным после хрущевской «оттепели», Зайончковский с головой ушел в море архивного материала и, как гамельнский крысолов, увел за собой от партийных «отцов» несколько поколений серьезных исследователей.

Чтобы для современного читателя стало понятно, о чем идет речь, я сошлюсь на опыт одного семинарского занятия, который считаю одним из самых важных в своей не очень интенсивной студенческой жизни. Проводил его Валериан Семенович Бондарчук – а лучшего «семинариста», надо сказать, в моей жизни не было. Он дал нам почитать работы вполне партийного историка 1930-х гг. Лукина по Парижской коммуне. Мы прочли – и ничем не поразились (точно так же, кстати, сейчас воспринимают ребята работы самого П.А. Зайончковского). Ну, добротное; скучноватое.

то; глаз режет изобилие цитат из Маркса, Энгельса и пр., как правило, уместных, но часто совершенно излишних... Выслушав нас, Валериан Семенович предложил прочесть Керженцева, одного из главных оппонентов, избличителей и, если не ошибаюсь, погубителей Лукина. Мы прочли – и ужаснулись: там вообще не было ничего, кроме цитат, причем в основном сталинских... «Ну вот, – помнится, сказал Бондарчук, – теперь вы должны ясно понимать, чем сочинение, написанное *по источникам*, пусть даже и не самое совершенное, отличается от сочинения, написанного по трудам основоположников и их продолжателей». И мы действительно это поняли, запомнив, что может быть – и было совсем недавно – и такое противостояние «в сфере исторического знания».

У Зайончковского достоинств было не в пример больше, чем у Лукина. Источники у него решительно преобладали над цитатами, причем всё построение текста ясно показывало, что источники здесь действительно важны, цитаты же – по необходимости. Причем, в отличие от лукинских работ, источники всё были свежие, впервые вводимые в оборот, и компоновал их Петр Андреевич самым искусным образом. Сплошь и рядом его работы давали более или менее адекватное представление об эпохе; кроме того, они отказывали тебе в жесткой схеме, заставляя самостоятельно думать, рассуждать. Это, несомненно, был прорыв...

И все-таки хотелось большего; эта максимально возможная, наверное, по тем временам объективность меня, например, уже не удовлетворяла. Сейчас бы я сказал, что хотелось как раз субъективности, то есть своего; хотелось выработать свою самостоятельную позицию как историка, не подчиняясь железобетонным схемам марксизма (очень условное название той квазиидеологии, которую нам скармливали и которая, как я значительно позже стал понимать, очень немного общего имела с настоящим марксизмом) и не растворяясь в то же время в необъятности фактологии.

Ну а здесь каждый спасался, как мог. Путь на Запад,

обычный для наших предшественников из эпохи «николаевского застоя», для большинства из нас был закрыт — и из-за плохого знания языков, и из-за чисто физической недоступности современной серьезной научной литературы — переводная, изданная у нас, считалась на единицы. Я помню, какой шум поднялся в научно-партийных кругах, когда в начале 1970-х в серии «Клио» вышла «Апология истории» Марка Блока, одного из создателей «Анналов», — «методологически вредная книга», по выражению одного из профессоров нашей кафедры... И после этого — опять безмолвие, на несколько лет. Потом — Коллингвуд с его «Философией истории». Опять шум. И снова — пауза...

За такой пунктир ухватиться, конечно, было нелегко, хотя и переоценить значение этих и им подобных немногих книг для нашего поколения сложно. И все-таки для нашего брата историка в этой непростой ситуации естественней всего был путь не на Запад — в бок, а в дореволюционную Россию — назад. Так в моей жизни появился М.О. Гершензон. А один из моих однокашников и нынешних друзей, пишущий замечательные книги по русской истории времен Ивана Калиты и Ивана III, взял тот же Запад «с тыла», освоив еще в студенческие годы Карлейля, которого у нас в XIX веке переводили весьма интенсивно. И все же застой, крепчая, уродовал человеческие души. «Не одни железные цепи перетирают жизнь», — писал Герцен, и писал справедливо. Я хорошо помню, какие проблемы вставали передо мной как преподавателем в конце 1970-х — начале 1980-х, когда мне пришлось учить тех, кто был лет на десять меня моложе. Мне казалось тогда, что интерес к истории резко упал даже по сравнению с нашими студенческими годами, хотя мы были те еще энтузиасты. Расшевелить семинар было невероятно сложно: «шевелились» один-два, максимум — три человека, остальные тебя игнорировали — не в силу личной неприязни, а потому что им твой предмет был «не нужен». Эти милые прагматики стремились заниматься только тем, что нужно... Подумать только, что именно этому поколению суждено было «перестроить» Рос-

сию... Я уже карточные фокусы собирался разучивать, чтоб хоть как-то привлечь их внимание.

Но тут пришла она – перестройка. Воспринятая поначалу как оттепель, она вскоре припекла по-настоящему – и всё потекло...

Примечания

¹ Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1982. С. 15.

² Отечественные записки. 1858. № 8. С. 92.

³ С.Н. Трубецкой. Материалы конференции в МГУ. М., 1996. С. 24.

М. Г. СЕДОВ: КАФЕДРАЛЬНЫЕ УРОКИ

Надо сразу сказать, что впечатление, произведенное на меня Михаилом Герасимовичем Седовым, изначально было самое сильное. Более того, в университетской преподавательской среде, куда я попал еще совсем зеленым мальчишкой, пожалуй, никто меня не поразил так, как Михаил Герасимович – сразу, безоговорочно и насовсем. Впоследствии на протяжении многих лет – без малого двадцати – впечатления от общения с Седовым, естественно, накапливались, но все они были, в сущности, однозначны и, добавляя какие-то характерные черты к образу этого человека, никоим образом уже не могли изменить мое отношение к нему.

Мне, кстати, кажется, что это было общим явлением. Михаил Герасимович, по-моему, вызывал сильные чувства почти у всех, с кем так или иначе сталкивался, заставляя сразу же определить отношение к нему как к жизненному явлению, вызывающе яркому и неординарному. Причем совершенно необязательно эти чувства должны были быть восторженными, а отношение – сугубо позитивным. У некоторых весьма достойных людей Седов мог вызывать – и вызывал – раздражение, а иной раз и откровенную неприязнь. Сложнее было найти тех, кто оставался по отношению к нему нейтральным, – для этого нужно было обладать каким-то совершенно фантастическим равнодушием. Михаил же Герасимович недаром любил ясность во всем – и в отношении к себе он всей своей манерой поведения, более того, всей своей ментальностью, заставлял определиться как можно скорее – и, как правило, навсегда.

Сейчас, задним числом, я могу уверенно определить главную, на мой взгляд, причину этого мощного воздействия М.Г. Седова на окружающих: он был человеком пора-

зительно цельным – а это явление совсем не банальное. В наших краях, во всяком случае. Упрек М.О. Гершензона, адресованный русской интеллигенции начала XX века, представители которой, по его словам, думают одно, говорят другое, а делают третье, вполне справедлив ведь не только для того времени и этого круга. Более того, наверное, мало было эпох, оказывающих на личность такое разлагающее воздействие, как та, на которую почти полностью пришлось мое знакомство с Седовым. – пресловутый застой... Все мы, помимо само собой разумеющихся, четко декларируемых отношений – социальных, служебных, семейных и тому подобное, – были крепко-накрепко повязаны еще и отношениями негласными, сумеречными, паутинными, заставлявшими, в полном соответствии с формулой Гершензона, говорить не то, что думаешь, и делать не то, о чем говоришь... Сплошь и рядом это было не только виной, но и бедой, а все-таки кто же будет спорить, что жить так и вредно, и грешно. Так вот, Михаил Герасимович в этом грехе был виновен меньше, чем кто-либо другой из известных мне людей.

Кстати, редкая духовная цельность Седова, на мой взгляд, убедительно подтверждается его фотографиями, многие из которых, очевидно, увидят читатели этого сборника* – и, я думаю, согласятся со мной: Михаил Герасимович был на редкость фотогеничен. Ведь у большинства из нас, как правило, из десятка собственных снимков относительно теплое отношение вызывает один, хорошо – два, и дело тут отнюдь не в завышенной самооценке. Во всяком случае, не только в ней... Еще Достоевский писал о страшной редкости фотоснимков, соответствующих натуре объекта, раскрывающих его духовную суть. Щелчок фотоаппарата, как правило, фиксирует нас вне нашего «духовного фокуса», и фотографу нужно быть мастером своего дела, чтобы его – этот фокус – поймать. А вот Седов *всегда* пребывал в этом фокусе, будучи полностью адекватен самому себе. Поэтому его фотографии удачны практически все, –

* Статья написана для сборника, посвященного памяти М. Г. Седова.

хотя само понятие «позировать» было ему глубоко чуждо и, более того, вообще непонятно.

Эти общие соображения я могу подкрепить несколькими эпизодами кафедральной жизни, главным участником которых был М.Г. Седов, — эпизодов, которые в свое время произвели на меня сильное впечатление и сохранились в моей, в общем-то, не очень стойкой памяти. Кстати, работая над этим текстом, я сообразил, что принадлежу к тем людям, которые видели Седова *только на кафедре*, — я никогда не слушал его лекции, не участвовал в работе его семинаров; что же касается «неформальных отношений», то они полностью сводились к тем кафедральным чаепитиям, о которых будет речь ниже. Вообще то небольшое, что я могу внести в общую копилку, связано исключительно с кафедральными впечатлениями. Я и зрительно Михаила Герасимовича помню либо сидящим за нашим длинным, донельзя обшарпанным кафедральным столом, либо возвышающимся над ним во время выступления — всегда ясного, с четкими формулировками и всегда, хоть чем-то, хоть деталью какой-то, неординарного. Впрочем, глагол «возвышаться» совсем не подходит к Михаилу Герасимовичу, как не подходит и к крепкому усадистому царю всех грибов — боровику, преодолевшему сплетение трав, неразбериху сухих ветвей и листьев и неизбежно привлекающему внимание своей неоспоримой значимостью на данной лесной поляне.

На кафедре, кстати, все всегда рассказывались — и рассказываются, — с некой железной неизбежностью выбирая места, а затем иногда меняя их, соответственно... Вот затрудняюсь сказать, соответственно чему. Наверное, всему. Это, впрочем, тема для особого исследования. Седов, во всяком случае на моей памяти, всегда сидел спиной к окну, по левую руку от нашего заведующего кафедрой И.А. Федосова. Я же дрейфовал вдоль противоположной стены, пока не занял там, раз и навсегда, тихий и уютный уголок. Поэтому во время заседаний кафедры я видел не столько самого Михаила Герасимовича, сколько его силуэт. И, как всякое обобщенное представление о предмете, силуэт этот говорил о многом — от коренастой фигуры Седова веяло си-

лой, его удивительная энергетика ощущалась буквально на расстоянии.

Итак, пройдемся по эпизодам. Самые ранние мои впечатления от Михаила Герасимовича связаны с кафедральной жизнью середины 1970-х годов. Я в это время учился в аспирантуре, что открывало путь на заседания нашей кафедры – кафедры истории СССР периода капитализма, как называлась она в те годы. Без всякого ёрничества могу сказать, что поначалу это искренне воспринималось как возможность, пусть пассивного, но все же участия в духовных пирах небожителей... Мы если и не любили, то крепко уважали тогда «старших» – М.Г. Седова, П.А. Зайончковского, И.А. Федосова, Н.С. Киняпину, – это чувство все они умели внушить, раз и навсегда. Мы – я имею в виду нашу аспирантскую компанию – еще плохо знали своих профессоров; впечатления студенческих лет давали лишь самый общий их абрис; но то, что это личности крупного калибра, люди значимые, незаурядные – это мы хорошо понимали. Сказать, что мы видели в них жрецов любимой науки, хранителей неких ее таинств, не будет сильным преувеличением.

Сейчас, с возрастом, это отношение, естественно, немного изменилось: любви в нем, наверное, больше, восхищения и преклонения, – чуть меньше. Духовные же пиршества разочаровали почти сразу; партийно-идеологический субпродукт был на них чуть ли не главным угощением, а мы, циничная молодежь, его за пищу духовную давно уже не держали... Научные доклады, довольно частые на кафедре, отдельные выступления, реплики ее ведущих членов – всё это в памяти почти не удержалось, очевидно, потому, что душу всерьез не задевало, а то небольшое, что запомнилось, связано именно с Михаилом Герасимовичем.

Не помню, по какому поводу на кафедре возникла одна из первых научных дискуссий, на которых мне довелось присутствовать – чуть ли не самая первая. По-моему, поводом для нее явилась очередная руководящая статья в «Коммунисте» или еще что-то в подобном сакрально-партийном духе. Обсуждался вопрос о прогрессивности – или, точнее, реакционности – народнической идеологии. Призрак реакцион-

ности витал над народничеством еще в ленинские времена; в сталинские – истинность тезиса о реакционности доказывалась репрессиями и смертоубийствами; в брежневские – он всплыл снова... До смертоубийств, естественно, теперь дойти не могло – но ведь память-то о них была еще свежа, не выветрилась. И, казалось бы, человек, побывавший у самой этой черты, переживший такой страшный излом жизни, который мы, тогдашняя молодежь, могли представить себе только на уровне отвлеченных понятий, – казалось бы, такому человеку и побережься стоило от новых, пусть и несравненно более мелких неприятностей... В этой ситуации Михаилом Герасимовичем нельзя было не любоваться – и я, зная в самых общих чертах его биографию, любовался. Твердо и ясно, своим характерным немного скрипучим голосом, с предельно четкой артикуляцией, со своими знаменитыми, хватающими за душу паузами (Станиславский, я уверен, отдохнул бы душой на любой седовской речи), Михаил Герасимович объяснял своим оппонентам, что такое историзм, объяснял им, как вредно и глупо переносить на прошлое политические оценки, данные в более позднее время, растолковывал значение исторической преемственности между народничеством и русским марксизмом (второй невозможен был без первого) – то есть спокойно и последовательно высказывал целый ряд само собой разумеющихся соображений, которые, однако, в те времена воспринимались почти как ересь. А ведь оппоненты у Михаила Герасимовича – не будем тревожить их покой – были ох какие недобрые; и бить его пытались таким отравленным оружием, как ленинские цитаты.... А он отвечал им, опираясь на здравый смысл, прекрасное знание истории, и каждое его слово дышало энтузиазмом, порожденным ощущением своей сопричастности прошлому... Это было просто здорово!

Второй эпизод запомнился мне особенно хорошо, потому что я сам его спровоцировал; во время научного доклада Седова – естественно, всё о том же народничестве – я, будучи юношей предельно застенчивым, долго маялся, но в конце конов рискнул задать Михаилу Герасимовичу вопрос, который, с одной стороны, меня действительно волновал, – ну а с

другой, что греха таить, по молодости хотелось «засветиться», показать, что и мы книжки читаем, и проблемы ставим. Вопрос был о религиозности революционных народников. Сейчас-то я понимаю, что он действительно носил несколько провокационный характер, тем более что правильный ответ я сам знал наперед. И к моему полному восторгу, Седов дал именно этот ответ – да как... Сделав очередную «станиславскую» паузу, он с явным удовольствием, возвысив голос, заявил: «Все они были предельно религиозны!» – и победоносно оглядел притихших коллег... Вот так-то! И затем Седов повел речь об энтузиазме, идеализме, чести и долге – связывая эти понятия с религиозностью... Те, кто помоложе, могут не понять, почему этот эпизод вызывал и сейчас вызывает у меня самые сильные чувства, но ровесники и старшие должны оценить его в полной мере. Напомню: середина 1970-х! Религия – любая, а православная чуть ли не в первую очередь, – воспринимается как опиум, а верующие – как некая пятая колонна или, в лучшем случае, умственно неполноценные; энтузиазм приветствуется исключительно на субботниках; слово «честь» приобрело совершенно прикладное значение (например: «отдать честь»)... Одна из учениц Седова, всегда трогательно заботившихся о Михаиле Герасимовиче, сказала потом, что после первой же фразы ей захотелось тихонько прикрыть кафедральную дверь, как всегда во время заседаний распахнутую из-за нестерпимой духоты. Реакция, по тем временам, право же, вполне понятная. Хотя Седов, я уверен, таких действий ни в коем случае не одобрил бы: он всегда говорил для всего мира.

Поставив в заголовок слово «уроки» и не собираясь от него отрекаться, я хочу особо подчеркнуть, что Седов, бывший, несомненно, замечательным педагогом, никогда и никого не учил в банальном смысле этого слова – с поднятым к небесам пальцем и менторскими нотками в голосе. Для меня, во всяком случае, – и мне кажется, многие его настоящие ученики должны быть со мной солидарны – он сам был уроком, серией уроков, заключавшихся в том, как он себя вел, что и как говорил, чем восторгался, что ненавидел. Этот человек обладал удивительной способностью заражать окружающих

самим собою – а сам он был уж очень хорош! Во всяком случае один из первых уроков, который я извлек, любуясь Седовым из своего пристеночного далека, был в следующем: можно, оказывается, пережить то, что и в кошмарном сне не привидится, и не только не сломаться, а победить эту жуть, выйдя из нее столь же честным и бесстрашным, как и раньше. Ведь подумайте только, как становится очевидным сейчас, главный «грех» Седова, за который у него отняли больше десяти лет жизни, состоял в «строптивости» – то есть в стремлении жить по совести, не подличая, не угодничая, не принимая указаний начальства за истину в последней инстанции. Именно эту «строптивость» из Седова выбивали самыми страшными средствами. И не выбили. Сознательно и целенаправленно его ломали как личность. И не сломали. Он, Седов, остался самым собою – говорящим то, что думал, и делающим то, что говорил. Он мог как угодно ошибаться, с его оценками людей и событий можно было сколько угодно не соглашаться – но это всегда были его *личные* ошибки, это были им, и только им, выношенные и продуманные оценки. Вот уж кто не колебался ни с генеральной, ни с какой другой линией партии. И как же всё это было поучительно в те далекие 1970-е годы!

После того как я стал полноправным членом кафедры – осенью 1976 года – и с головой погрузился в очень интенсивную преподавательскую работу, мое отношение к Седову осталось прежним – восторг в отдалении. Научные интересы мои с Михаилом Герасимовичем совершенно не пересекались; разница в возрасте была слишком велика, чтобы у нас могли возникать какие-то общие житейские проблемы, – да и вообще «старшие» в те годы, по-моему, не знаю, сознательно или нет, сохраняли гораздо более значительную дистанцию с кафедральной «молодежкой», чем мы в нынешние времена. Общекафедральные «междусобойчики» были явлением исключительно редким и приходили, опять-таки, несравнимо более чинно, чем нынче. Короче говоря, за первые десять лет работы на кафедре я с Михаилом Герасимовичем и двумя словами не перемолвился. И, тем не менее, в моей жизни он играл роль очень значительную. Я сам это

понял после одного характерного случая. Он был связан с обсуждением на кафедре диссертации, насколько я могу судить, довольно слабой, посвященной газете «Весть». Седов к ней отношения не имел ни с какой стороны. Одним из оппонентов был Н.И. Цимбаев — еще совсем молодой, но уже тогда не только подававший, но и отчасти оправдывавший большие надежды. Выступал он со свойственным ему блеском и даже сверх того — не только и не столько в плане оценки диссертации, сколько в отношении проблемы в целом. Помню особенно удачную апелляцию Николая Ивановича к такому образу читателя газеты «Весть», как Артемий Павлович Геганов из «Бесов» Достоевского; девять из десяти советских историков в этой ситуации сослались бы на «дикого помещика» Салтыкова-Щедрина... Я просто заслушался. И, как выяснилось, не я один: после окончания заседания кафедры к Цимбаеву подошел Седов и, пожимая ему руку, сказал, как всегда, громко и предельно отчетливо: «Отлично, Николай. Давно слежу за вами. Правильно идете». С Николаем Ивановичем мы в те годы дружили; я очень ценил его доброжелательно-снисходительное отношение ко мне, искренне радовался его успехам. Я и вообще-то, по-моему, человек не очень завистливый... А тут позавидовал. И сильно — сам удивился. Я даже не подозревал, что мне так хочется, чтобы Седов похвалил — меня... Сейчас я понимаю, что уже тогда в подсознании прочно сидело ощущение: седовская похвала — это уникальный приз. Михаил Герасимович ведь никогда не делал комплиментов, не говорил приятных вещей, потому что ты был ему симпатичен или, тем более, нужен. Хвалил он исключительно конкретно — за умное слово, хорошее дело... И его похвала, право же, дорогого стоила.

Я похвалы Михаила Герасимовича за все годы своего общения с ним удостоился всего один раз — похвалы косвенной, но для меня, действительно, очень дорогой. Связана эта история была с защитой моей первой дипломницы, написавшей, как мне казалось, — я, впрочем, и сейчас в этом уверен — работу не просто хорошую, а отличную: умную, дельную и, главное, живую, совершенно лишенную той научно-ученической сухотки, которая часто бывает губительной для

многих студенческих – и не только студенческих – исследований. О живых людях ведь пишем, пусть и живших сотню-полторы лет назад! Работать с Машенькой было замечательно интересно, результаты радовали – и я предвкушал праздник, которого, право же, в подобных случаях автор диплома и ее руководитель вполне заслуживают. Тем более что и нужно-то для этого праздника немного – всего-навсего объективная и доброжелательная оценка.

Я заранее решил просить Михаила Герасимовича быть оппонентом – и это лишний раз доказывает, с каким доверием я к нему относился. Работа была посвящена С.Н. Кривенко, либеральному народнику, – тема целиком и полностью принадлежала к епархии Седова. Я же был не только очень молодым преподавателем, но и не имел к этой епархии ни малейшего отношения. А «епархиальная» ревность – ревность к своей территории – в нашем деле чувство обычное и вполне естественное... Выбор да и разработка темы были исключительно за моей очень самостоятельной дипломницей, моя же роль сводилась к тому, что современные психологи рекомендуют молодым родителям, – «любить и помогать». Сейчас я бы, откровенно говоря, десять раз подумал, прежде чем отдавать диплом на суд человека, блестяще знавшего тему, очень строгого в научном плане и к тому же связанного со мной сугубо служебными отношениями. Может потянуть и к более мягкому, «безопасному» варианту – выбор оппонентов дело вообще тонкое... Тем более характерно, что тогда ни малейших сомнений мне просто в голову не приходило: само собой разумелось, что Седов мог оценить работу *только адекватно* – а работа была отличная. Вот тогда и грянет праздник: сама седовская оценка, по моим тогдашним ощущениям, собственно, и должна была стать главным его содержанием.

Выяснилось, однако, что на день защиты диплома Михаила Герасимовича в Москве не будет: весной он иногда уезжал принимать госэкзамены в провинциальных вузах. Тогда я поневоле обратился к «мягкому» варианту – диплом оппонировал человек, с которым я дружил, в научном плане ставил очень высоко и в беспристрастности которого тогда

не сомневался. Беспристрастность, очевидно, имела место быть и вышла нам с дипломницей боком: энтузиазм, которым была согрета работа, квалифицировался, как «дилетантизм», очень богатая фактура работы – как «стремление втиснуть в диплом все свои небогатые знания» и так далее. Тоже, кстати, урок: я тогда, пожалуй, впервые осознал, до какой степени субъективно наше восприятие не только своей, но и чужой работы, а кроме того, понял, что высокомерие хуже любой несправедливости... Пятерку-то нам, конечно, поставили, но дело-то было не в этом, точнее – не только в этом. Вместо праздника родилось ощущение позорщицы: мы с Машей друг на друга смотреть не могли, не знали, куда глаза девать. Очень всё это болезненно ощущалось. Понятно: первая, очень добросовестная и искренняя самостоятельная работа у нее, первое прикосновение к творческой работе другого человека, да еще в качестве руководителя, пусть и очень условного, у меня...

Короче, когда Седов вернулся, я сделал то, что делать, в общем-то, не полагалось: попросил его прочитать диплом. Я думаю, никакого нарушения нашей очень непростой кафедральной этики в этой просьбе не было, а если бы и было, меня это ни в коей мере остановить не могло: буквально до сердечной боли хотелось компенсации, а дать ее мог только Михаил Герасимович. Тут была, однако, и другая сторона дела, о которой стоило подумать: надо знать, что такое наша педнагрузка в эту пору, – в мае – июне, когда всё обрушивается на тебя разом: курсовые, зачеты, экзамены и, главное, всё те же дипломы. Тем более у Седова с его «крутым» спецсеминаром. Подумать стоило, а я – не подумал... Впрочем, в этой ситуации хозяин, действительно, был барин: можно было просто отказать, хотя бы потому, что речь шла о лишнем чтении, – в ту пору, когда один вид листа с напечатанным текстом мог вызвать тошноту. Можно было взять диплом, отнесясь к этому делу сугубо формально, отделавшись парой-другой ничего не значащих фраз... Седов поступил именно так, как должен был поступить Седов: молча выслушал мой несвязный лепет; всё понял, хотя я и не вдавался ни в какие подробности, взглянул на меня с яв-

ным сочувствием и все так же молча взял диплом. Через день-другой я столкнулся с Михаилом Герасимовичем в дверях кафедры. Выходя, он бросил мне через плечо: «Андрей, работу я прочел, она – на столе». Я, даже не поблагодарив, бросился к столу, открыл обложку и на титульном листе прочел «резолюцию» (помню дословно): «Отличная работа. Был бы рад, если бы она писалась в моем семинаре». Я постоял немного, затем стал листать текст: пометки были почти на каждой странице; иногда – замечания; чаще – соображения. Было очевидно, что эта «чужая» работа не пролистана, а прочитана, более того – что не всегда бывает и со своими – продумана. Поблагодарил Михаила Герасимовича я только через несколько дней; мою благодарность он принял предельно сдержанно и больше к этой теме не возвращался. Седов не терпел сантиментов.

Титульный лист диплома с «резолуцией» я, каюсь, выкрал, заменив его рукописным, и передал Маше. Не знаю, как для нее – Седова она, естественно, знала и ценила меньше, чем я, – но для меня праздник все-таки состоялся. Я до сих пор считаю седовскую «резолюцию» благословением на научное руководство «братьями нашими меньшими» – может быть, именно с его легкой руки эта сторона преподавательской деятельности на долгие годы стала для меня определяющей, поглотив чуть ли не целиком.

Примерно в то же время, с легкой руки Елены Николаевны Мухиной, бывшей на нашей кафедре человеком в своем роде «стержневым», по четвергам, в кафедральный день, после занятий, всё за тем же длинным обшарпанным столом стали устраиваться чаепития. Они, помнится, полностью отвечали своему названию – то есть на них исключительно пили чай. И поначалу даже не закусывали... Затем именно Седов стал торжественно и немного смущенно извлекать из кармана плитку шоколада. Кроме нас троих – Мухиной, Седова и меня – я в участниках этого действия никого больше не помню, хотя, конечно же, периодически кто-то должен был подсаживаться. Собственно, и чаепития-то эти устраивались Еленой Николаевной именно «под Седова» – она также, как и я, была другой школы, и общения с Михаилом Герасимовичем нам не хватало.

Сейчас я очень жалею, что не делал хотя бы беглые заметки после этих четвергов (сколько таких сожалений встречаешь в воспоминаниях, написанных самыми разными людьми в самые разные времена...). Тому минуло двадцать лет, память человеческая несовершенна вообще, моя, по-моему, в особенности; в ней, устроенной каким-то хитрым и неправильным образом, откладываются не столько факты, сколько впечатления. Впечатления были всё те же – человек удивительной цельности... Начать с того, что в этих совершенно частных беседах с людьми, очень любящими его, Седов держался так же, как и на лекциях, на заседаниях кафедры, – говорил так же, повышая тон в ударных местах, с паузами, с предельно четкой артикуляцией. Может показаться, что это – сомнительный комплимент, но прикиньте – предыдущую фразу можно построить и по-другому: Седов читал лекции и выступал на кафедре в той же манере, в которой общался с любящими его людьми... Это касалось не только формы, но и содержания его разговоров: никаких (без всяких оговорок) сплетен, никакого закулисного обсуждения кафедральных дел – что так соблазнительно в узком кругу. Повторюсь: всё, что Седов говорил, он всегда готов был поведать всему миру. Поразительный человек! Никаких секретов, никаких намеков, тайных подоплек, второго, третьего и так далее дна... Я таких больше не встречал.

Речь, таким образом, шла исключительно о проблемах исторических или – общечеловеческих; впрочем, у Михаила Герасимовича одно с другим сливалось совершенно органично. О народниках я здесь писать не буду – эту тему, конечно, несравненно лучше раскроют «прямые» и законные ученики Седова. И, кстати, о них, народниках, составлявших главную, определяющую сферу научной деятельности Михаила Герасимовича, разговор во время чаепития заходил не так уж часто; возможно, именно потому, что он «насыщался» этой проблематикой во время занятий. Тем более Седов поражал нас своей эрудицией, разносторонностью своих знаний. Если попытаться припомнить, о чем шла речь вне народничества, то могу сказать одно: Седова привлекала энергетика, сила воли, сила мысли, душевная яркость в конкрет-

ном воплощении в том или ином историческом деятеле. И здесь обнаруживались симпатии и предпочтения, казалось бы, неожиданные в человеке, сумевшем «влюбить» в революционную героиню несколько поколений студентов. Скажем, о таких «царских сатрапах и душителях» свободлюбивых народов Кавказа и Средней Азии, как Ермолов и Скобелев, Седов говорил с явным и нескрываемым восторгом.

Прелесть же бесед с ним на подобные темы была, конечно, не в восторгах, а в том, что многие персонажи исторического действия, о которых у тебя давно уже сложилось устойчивое представление, являлись перед тобой в совершенно неожиданном ракурсе; а те, кого ты привык считать «проходными фигурами», — оказывались людьми, чьи дела и судьбы оказывались достойны самого пристального изучения.

Приведу один пример, особенно мне запомнившийся. Я в те годы уже увлекся историей Московского университета при Николае I, был очарован Грановским, о котором в конце концов написал книгу, — и потихоньку начинал осваивать эпоху и собирать материал. То есть не был здесь полным профаном. Всякий же, кто хоть мельком коснется этой темы, я думаю, никогда не забудет Сергея Григорьевича Строганова, попечителя Московского учебного округа. Уж больно яркий, незаурядный и чертовски обаятельный во всех своих чудачествах и слабостях был человек. Поэтому, когда разговор коснулся Строганова, я обрадовался, как будто встретил старого знакомого, — было чем его приветствовать. Однако Седов повел о нем речь, как об *искусствоведе*, вдохновенно рассказывая о талантах Строганова в этой сфере, чуть ли не цитируя его давно забытое всеми, кроме узких специалистов, описание Дмитриевского собора (что во Владимире).

Казалось бы, где вода — и где мельница; где Лев Тихомиров с его ультиматумом Александру III — и где Строганов с второстепенным, в общем-то, для него увлечением средневековой архитектурой. Вот эта широта охвата прошлого, не иссякающая с годами способность наслаждаться изучением истории (именно наслаждаться — а не корпеть, анализировать, обобщать, хотя без этого тоже, конечно, не обойдешься) в Седове просто поражала. Подобной способности,

конечно же, не научишься, но решительное нежелание жить одной темой – или даже совокупностью тем, стремление рушить стереотипы, не удовлетворяясь традиционными характеристиками, – в этом тоже, несомненно, был серьезный урок. Тому же, впрочем, меня исподволь учил и мой светлой памяти научный руководитель, Иван Антонович Федосов – единственный на моей памяти человек, который, будучи совершенно не похожим на Седова, стоял вровень с ним по широте эрудиции и грандиозности сферы научных интересов.

Еще одна характерная черта: Седов редко вспоминал о самой тяжелой полосе своей жизни и, вспоминая, никогда не жаловался. Впрочем, я вообще не могу представить его жалующимся; вот обличающим – сколько угодно, при условии, что это обличение касалось какого-то принципиального вопроса, а не его, Седова, личных интересов. Их он не отстаивал никогда. Об испытаниях сталинского времени он если и вспоминал, то в тонах скорее юмористических. До сих пор помню, как поблескивали его глаза, когда он, внешне очень серьезно, рассказывал о том, как в университетском профкоме после реабилитации и восстановлении Седова на работе решался вопрос о погашении им задолженности по профсоюзной линии с 1943 года. Действительно, пребывая на каторжных работах, Седов в профком исторического факультета взносов не платил... Оформили это дело, если не путаю, задним числом, посчитав профвзносы по низкой ставке как техническому сотруднику.

Одна занятная история из рассказанных Седовым о своей «немосковской» жизни стоит упоминания хотя бы потому, что тем самым я пополню анналы советского спорта, до сих пор толком не изученные. Седов, надо сказать, был отчаянным болельщиком, болевшим, естественно, за самую народную команду, – это так шло ему и по его темпераменту, и по жизненным установкам. Точно так же, по вполне понятным причинам, он недолюбливал другую команду, которую чисто формально, если учесть курирующее ее ведомство, вполне можно назвать (заранее извиняюсь перед ее болельщиками) антинародной. Игрой одного из мелкокали-

берных порождений того же спортивного общества Седову довелось любоваться, когда он жил уже на поселении «в дальнем городе Инте»¹, возле Полярного круга. Интинское «Динамо» оказалось коллективом боевым, хотя и любительским: играли в нем исключительно хорошо накачанные вертухаи – в свободное от основных занятий время; тренером же был не кто-нибудь, а один из представителей «спартаковского семейства» – репрессированных в это время братьев Старостиных (по-моему, Александр; точно, что не Андрей и не Николай). Так что нынешний переход Олега Романцева в московское «Динамо» явление, отнюдь, не уникальное... Могучие вертухаи под этим квалифицированным руководством в своей низшей лиге разносили всех подряд. Однако хотя эти победы происходили при большом стечении публики – скромный интинский стадион ломился от зрителей, сопровождали их не громовые овации, а гробовая тишина: зрителями-то были ссыльные, которые собирались здесь, одержимые мечтой о торжестве справедливости. Ждали этого торжества, ждали... И вот наконец свершилось: какая-то заезжая, по выражению Михаила Герасимовича, «шпана» (он вообще любил это словечко) – неожиданно разделала вертухаев под орех – 4 : 0! «Что было! – вспоминал Седов. – Так и в Лужниках не орут... Потом толпа повалила на поле. Эти бедняги (победители. – А.Л.) заматались – думали, убьют. А их на руках с поля понесли. Они дрожат, вырываются, ничего не понимают: куда несут, зачем, может, топить будут... Смотрю: Старостин стоит в сторонке мрачный; слышу – бормочет: «Ну что за народ такой... Ну, никакого патриотизма...»

Вспоминая о Седове, нельзя не упомянуть еще об одной его кафедральной ипостаси: он был у нас руководителем методсеминара. Знаете ли вы, что такое методсеминар в застойные времена?.. Задачей этого общественного мероприятия, находившегося под строгим надзором партийных органов, было перманентное приобщение всех нас к очередным виткам Единственно Верной Идеологии. Спираль в этой сфере давным-давно сложилась в один бесконечный и предельно порочный круг, приобщение повсюду носило чисто

формальный характер и сопровождалось зубовым скрежетом людей, у которых часами отнималось время, чрезвычайно дефицитное в «застое», — гораздо более естественным казалось потратить его на стояние в очереди за совершенно необходимым даже идейно выдержанным людям продуктами питания...

Седов, ненавидевший формалистику, не был бы Седовым, если бы не сохранил искренность и благородство даже в этой сфере, где сохранить их, казалось, было совершенно невозможно. Он всеми силами пытался сделать эти идеологические бдения серьезными и *полезными* (!). Результаты иногда бывали поразительные, и вершиной здесь стал, конечно же, методсеминар, посвященный изучению «Воспоминаний» Леонида Ильича Брежнева. Это дивное произведение «изучали» по всей стране на аналогичных методсеминарах, но я уверен, лишь на нашей кафедре был сделан доклад, где «Воспоминания» тщательно и квалифицированно были разобраны, как исторический источник... Докладчик — естественно, сам Седов, который, в отличие от обычных руководителей подобного рода действий, всегда черную работу брал на себя, — наиподробнее образом выяснил, какие конкретные сведения мы можем почерпнуть из этой книжки и что нового они вносят в наше фактическое знание об описываемом там времени. Это был именно научный доклад, лишенный даже намек на то, что знаменитый профессор-медиист Гращанский еще в сталинские времена во всеуслышанье называл «кукареканьем»... Я сильно подозреваю, что на всю страну Советов только на нашей кафедре был говорящий, а не кукарекающий руководитель методсеминара.

С методсеминаром у меня связаны последние сильные воспоминания о Седове — уже перестроечных времен. Надо сказать, что Седов и перестройку воспринял по-своему, не так, как все. Я могу ошибаться, поскольку слышал его соображения урывками (чаепитий, по ряду причин, в это время уже практически не бывало); но мне представляется, что «прорабы перестройки» и их многочисленные в конце 1980-х годов сторонники Седова совсем не увлекали. Ведь

он был коммунист – в самом высшем, уже давно забытом смысле этого слова... Во всяком случае, его определение «шпана», данное Бурбулису, я как-то раз уловил отчетливо. Но было совершенно очевидно, что его, в отличие от большинства других «стариков», происходящее не пугает, а чрезвычайно увлекает. Вот уж кто умел оценить исторический процесс не только в академической монографии, но и в жизни. Мне даже казалось, что Седов помолодел, настолько ему стало интересно жить. Помню, кстати, его реплику после того, как он пришел на кафедру, побывав в редакции какого-то журнала (по-моему, «Истории СССР»): «Времена настали, однако! Обсуждали мою статью на редколлегии – две цитаты из Маркса выбросили, одну из Герцена добавили... Дожили!» Последнее слово в устах Седова, не большого любителя Маркса и безоговорочного поклонника Герцена, звучало исключительно оптимистично...

Методсеминару же, уже, естественно, дышавшему на ладан, суждено еще было одно геройское действие, после чего он исчерпал себя – как народовольцы, по выражению В.И. Ленина, исчерпали себя первым марта... Наша, в общем-то, очень тихая кафедра вместе со столь же тихим факультетом в 1989 году оказалась вовлеченной в идейную борьбу высокого накала. Развязал эту борьбу Саша Колядко, мой очередной дипломник. Говорю об этом без всякой гордости, потому что, не в обиду ему будь сказано, дипломник он был никудышный – при несомненном уме, начитанности и некотором литературном таланте. Мы с ним даже подружились – в общении со мной он был вежлив, тактичен и обаятелен. Но, к моему сожалению, которого я и тогда не скрывал, всем эти достоинствам сопутствовал один, с моей точки зрения, грандиозный недостаток – Саша был идеологом по духу, а от этой породы людей всегда ждешь неприятностей... Правда, Колядко был идеологом прогрессивным: он ратовал за возвращение к «истинному марксизму», очищенному – сперва от сталинизма, а там, глядишь, и от ленинизма (в необходимости последней операции Саша, помнится, был уверен не до конца).

Когда, пользуясь вещим словом М.С. Горбачева, «процесс

пошел», я был уверен, что Саша ограничится разговорами общего характера. Но время-то было уникальное... Саша написал ряд статей «за марксизм» и вышел на партком с предложением обсудить их публично. Партком счел это «интересным начинанием», как раз в духе инициатив партии и правительства. Первая статья – условное название «Марксизм и литература» – обсуждалась в относительно небольшой аудитории мест на тридцать, которая оказалась забитой студентами до отказа. Для обсуждения второй статьи – «Марксизм и экономика» – Колядко потребовал поточную аудиторию. Партком содрогнулся, но пошел на поводу. Успех был ошеломляющий. После этого парткомовские деятели с помощью более зрелых товарищей разобрались, наконец, в том, кого пригрели на груди, и попытались это дело прекратить. Не тут-то было! Колядко все окрестности университета оклеил сообщениями о третьем действии – обсуждении статьи «Марксизм и политика», – которое обещало стать ударным. При этом он любезно сообщал, что все желающие могут ознакомиться с его тезисами (уж не в апреле ли было дело?..) на историческом факультете, – и, действительно, вывесил оные на факультетской доске объявлений. Народ двинулся к нам толпами. Партийное начальство замечалось – в Сашиных речах и сочинениях замелькали такие термины, как «двоевластие», такие выражения, как «архиважно» и «архинужно»... И вообще, запахло революцией.

И вот тут умные люди нашли гениальное решение: поскольку загнать джинна в бутылку уже не представлялось возможным, то следовало его хотя бы отвлечь от себя, науськав на кого-нибудь другого. Поскольку Колядко специализировался на нашей кафедре, всё это действие было велено перевести в сферу действия кафедрального методсеминара.

...Такого методсеминара, я думаю, не бывало нигде и никогда. Одна из самых больших аудиторий 1-го Гума, Шестерка², – ее Колядко выбил из парткома беспощадно – была забита под завязку; «веселый, молодой народ» водоворотом бурлил на входах. Секретарь парткома вкупе с куратором нашего факультета от соответствующего отдела (в обиходе – «Андрюшка-чекист») заняли позиции в арьергарде, на зад-

них скамьях – малочетные, зато чрезвычайно удобные с точки зрения как наблюдения, так и эвакуации в случае чего... А под всю эту толпу подставили наших стариков...

Сейчас, задним числом, все это выглядит комично; тогда, с непривычки наверное, такого впечатления не было... Я помню, как Иван Антонович Федосов, наш заведующий, человек умный, чуткий, администратор высокого полета, умевший овладевать самыми сложными ситуациями, первым входивший в эту идеологическую парилку, на какое-то мгновение замер на пороге, и его и в старости развернутые, прямые плечи, как мне показалось, чуть дрогнули. Это была ситуация не из тех, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор; это был хаос, который он, человек очень упорядоченный, ненавидел. По-моему, примерно такие же ощущения были и у других стариков, молча и угрюмо занимавших места в президиуме и так же молча и угрюмо просидевших там долгие два часа.

Но надо было видеть Седова! Я сразу же вспомнил, как он поразил меня как-то ностальгическими сожалениями о том, что историческая наука давно уже не знает дискуссий, подобных тем, которые были в его молодости. А ведь во время тех дискуссий оппонентов изничтожали почти в буквальном смысле этого слова, а иногда и прямо в буквальном... Очевидно, Седов, человек добрый и благородный, эту сторону в уме не держал; но сама возможность открытой, неформальной борьбы, столкновений – стенка на стенку – все это его очень привлекало. И – вот оно...

...Обсуждение проходило, скажем так, бурно. Мне кажется, что докладчика никто не слушал – его приветствовали; не слушали и немногих оппонентов – меня, в частности, почти сразу же, как только становилось ясным «вредное направление», их заглушали шиканьем, шумом, а если не помогало – аплодисментами. В сущности это была стихийная демонстрация идейного неповиновения... А вот Седова, руководившего всем этим «процессом», слушали и даже слушались. И снова я залюбовался им – на этот раз в ипостаси трибуна; жест, голос, на глазах формирующаяся харизма... Хотя он ни словом не дал понять, что сочувствует герою это-

го детского праздника, — да Седов, по-моему, и не вслушивался в его вдохновенные речи — молодежь, очевидно, почувяла революционера... И мне подумалось тогда, что, будь Михаил Герасимович помоложе, он бы не ограничился платоническим интересом к перестройке, а проявил бы себя в ней — не знаю, как и на каких позициях, но, как всегда, ярко, честно, благородно. Он иначе и не умел...

Умер Михаил Герасимович, по моим ощущениям, совершенно неожиданно — без того периода одряхления, который обычно подготавливает нас к кончине близких и любимых людей. Тем тяжелее была потеря. Есть люди, смерть которых, что греха таить, воспринимается легко и просто: был, не стало... Забыли. И вопрос еще, был ли ты вообще, настолько быстро и прочно тебя все забыли. А Михаила Герасимовича, по-моему, даже стены факультета помнят. Чуть подумаешь, чуть заговоришь о нем — и вот он уже снова рядом. Будто и не умирал вовсе.

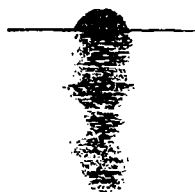
Примечания

¹ До двадцатого до съезда
Жили мы, по простоте,
Безо всякого отъезда
В дальнем городе Инте.

Я. Смеляков. Воробей

² Шестая поточная аудитория 1-го гуманитарного корпуса МГУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ



УЧЕБНИК ДЛЯ РОССИИ

Предварительные замечания

Эта небольшая статья* не претендует – и не может претендовать по определению – на исчерпывающую полноту. Я никогда не изучал специально вопроса о положении дел с учебной литературой в современной России – вопроса, кстати, сложного, запутанного, затрагивающего интересы многих лиц и организаций постольку, поскольку создание и издание учебников дело не только ответственное, но и прибыльное; у нас же ныне всё, что связано с прибылью, почти неизбежно приобретает скандально-криминальный оттенок...

Я сам пишу учебники; занимаюсь этим делом с середины 1990-х годов и более или менее знаком с творчеством моих коллег-конкурентов. Естественно, что у меня выработалась при этом и своя точка зрения на то, каким должен быть учебник в современной России. Всё это, наверное, позволяет мне рискнуть и предложить читателю это небольшое эссе. Правда, как следует из вышеизложенного, оно не может претендовать не только на полноту охвата предмета, но и на объективность. Но, во-первых, где её, вообще, сыщешь, эту объективность? А во-вторых, при достаточно критическом отношении к творчеству моих коллег, моя собственная продукция меня пока что тоже не особенно вдохновляет – о чем и будет сказано ниже.

И последняя оговорка: речь в статье пойдёт только об учебниках по истории России (сам я по специальности историк России XIX – начала XX веков). У нас история оте-

* Статья написана для итальянского журнала «*Elanuova Europa*».

чественная и история зарубежная составляют два отдельных мира, четко ограниченных и почти изолированных друг от друга. Мы и общаемся-то редко... У них, у зарубежных, свои проблемы.

Правила игры раньше

Перемены, потрясшие и развалившие Советский Союз, сказались во всех сферах бытия без исключения. Перестройка и её последствия действительно резко переломили всю нашу жизнь, проведя резкую грань между понятиями «раньше» и «теперь». В то же время сегодняшнее «теперь» сплошь и рядом можно понять и оценить только в сравнении со вчерашним «раньше».

Всё это в полной мере относится и к вопросу об учебниках. Раньше, в Советском Союзе, школа – как и всё прочее – находилась под строжайшим партийно-бюрократическим контролем, осуществлявшимся прежде всего Министерством просвещения (какие-то огрехи и промашки в его деятельности по надзору могли вызвать – и вызывали нередко – вмешательство более высоких инстанций, и прежде всего Центрального Комитета КПСС). Обо всех подробностях этого очень тщательно и всесторонне организованного контроля я распространяться здесь, естественно, не стану; отмечу лишь, что в отношении учебников власть предельно упрощала себе задачу, сводя их количество к минимуму, а содержание – к почти полному единообразию.

В соответствии с марксистско-ленинским учением о формированиях история России – так же, впрочем, как и всего остального человечества, – делилась на периоды: феодальный, капиталистический, социалистический... Из этого исходили и школьные программы: в 7-м классе изучали российский феодализм, в 8-м – капитализм; в 9–10-м – социалистический период. По каждому периоду писался один учебник для всей огромной страны, который должен был полностью, безоговорочно соответствовать жестким партийно-идеологическим установкам (исключения допускались только в специфических случаях: 1-е – существовали

учебники для национальных школ, где в большем, чем обычно, объеме был представлен материал по истории соответствующего региона – Грузии, Украины, Чувашии, Якутии и так далее; 2-е – по особой методике писались учебники, ориентированные на школы для умственно отсталых детей. Всё. Этим исключения, насколько я помню, исчерпывались).

В своё время смена власти в Советском Союзе – Хрущев после Сталина, Брежнев после Хрущева – встряхивала страну, отзываясь и в сфере изучения истории, и, отчасти, в идеологии, а опосредованно – и в соответствующей учебной литературе. Прежде всего, и особенно это касалось самого недавнего прошлого – оценки деятельности «того, кто ушёл», – чудесное и стремительное превращение богоподобной фигуры в некоего демона зла носило характер трагикомический и давало богатый материал для народного творчества – разнообразных частушек и анекдотов. Однако напомним, что последнее «царствование» полновластного главы государства и партии, «дорогого и глубоко любимого товарища Леонида Ильича Брежнева» – почти официальный титул – продолжалось без малого двадцать лет и получило вполне справедливое определение – «застой». В эти годы – середина 1960-х – начало 1980-х – всё утряслось, казалось, навсегда... Все проблемы были выяснены, все решения в сфере идеологии приняты – оставалось только выполнять их самым добросовестным образом.

От учебника по истории любого периода требовалось одно: чтобы в нём на конкретном историческом материале было максимально последовательно и четко воспроизведено марксистско-ленинское учение о формациях. Схема, составляющая костяк этого учения, в соответствии с которой за основу исторического процесса принимались исключительно производственные отношения, а движущей силой его декларирувалась исключительно классовая борьба, порожаемая этими отношениями, я думаю, более или менее известна любому читателю, способному заинтересоваться этой статьей. Марксистско-ленинскому канону учебник должен был соответствовать целиком и полностью. Не только содержание каждого параграфа, но и последовательность этих параграфов были predetermined; более того, даже

язык, которым следовало писать учебник, предписывался свыше: этот ужасный, неуклюжий и совершенно бездушный партийно-канцелярский жаргон, как будто специально изобретенный не для того, чтобы разъяснять, а для того, чтобы затемнять суть дела...

Круг авторов определялся в значительной степени путём естественного отбора. Стать автором учебника в те времена было почетно и, главное, очень выгодно. В самом деле, учебник, принятый и одобренный Министерством просвещения, автоматически делался обязательным для школ всей огромной страны; его автор получал, таким образом, монополию — и, как правило, долговременную — на миллионные тиражи... Естественно, что за право занять подобное положение шла борьба, победа в которой достигалась прежде всего за счёт связей в высших партийно-бюрократических сферах. Учебники по истории писались почти исключительно представителями элиты официальной науки — академиками и членами-корреспондентами, теснейшим образом связанными с элитой партийно-чиновничьей, а нередко и составляющими с ней единое целое.

Авторы учебников, впрочем, могли быть и вполне достойными, умными и талантливыми людьми. В данном случае всё это не имело никакого значения: учебная литература была совсем не той сферой, где раскрывались ум и талант... Дело было поставлено так, что личные качества автора вообще не имели значения. Он мог быть гениален, мог быть совершенно бездарен — в конечном итоге учебники получались почти одинаковые, соответствующие установкам...

К этому стремились и сами авторы, прекрасно знавшие правила игры, — именно поэтому они и становились советскими академиками. И всё-таки самого себя преодолеть не легко, особенно если твои личные качества — будь то талантливость или бездарность — ярко выражены. Но тут на помощь автору в «усовершенствовании» текста приходил редактор.

Советский редактор — это вообще фигура для Запада, я думаю, совершенно необычная; редактор же издательства «Просвещение», монопольно издававшего учебники для всего Советского Союза, занимал среди своих собратьев особое

место. Именно на этом редакторе лежала основная доля ответственности за «конечный продукт» – за качество книги, вышедшей из стен издательства, и прежде всего за её «идейную выдержанность». Зато редактор имел огромные, небывалые, наверное, для западных издательств права по отношению к попавшей под его «опеку» рукописи – права негласные, но мало кем оспариваемые. Он властно вторгался в текст, мог требовать любых изменений, устранял то, что считал опасным, и, наконец, иной раз переписывал текст целыми страницами... Последнее, впрочем, в сфере художественной и научной литературы, как правило, не практиковалось; в отношении же литературы учебной бывало сплошь и рядом. Мой приятель, работавший в издательстве «Просвещение» в 1970-х годах, говорил мне, что от 20 до 70% текста учебников, прошедших его редактуру, написано им самим, – и у меня нет оснований ему не верить.

Вмешательство подобного масштаба, которое не потерпел бы, наверное, самый беспринципный писатель или ученый, у авторов учебной литературы, как правило, не вызывало возражений. Само собой разумелось, что текст учебника должен быть лишен индивидуальности – как любой идеологический документ того времени. Автор учебника давал свое имя и рукопись – далеко не обязательно им самим написанную; дело редакторов было вывести эту рукопись на нужный уровень. Глупо или небрежно написанный текст следовало «подтянуть»; слишком яркий, чрезмерно выразительный – обесцветить, приглушить...

Так и жили... И всё, что сейчас кажется нелепым и диким, еще каких-нибудь пятнадцать лет назад представлялось само собой разумеющимся. Но тут грянула перестройка.

Правила игры теперь

Название этого подзаголовка, наверное, не совсем точно; во всяком случае, оно требует пояснения. Дело в том, что само понятие «раньше» очень статично: в этом «раньше» мы

прожили около двадцати лет без заметных внешних перемен; правила игры тогда были определены чётко и безусловно. Понятие же «теперь» – зыбко и переменчиво. В последние 10–15 лет ситуация во всех сферах жизни меняется – если и не каждый год, то уж точно каждые несколько лет. И сфера учебной литературы здесь, конечно же, не исключение.

Когда в конце 1980-х – начале 1990-х годов всё поплыло, а за тем и рухнуло, общий шок, поразивший страну, сказался и здесь. При этом ни в какой другой школьной дисциплине не возникло такого катастрофического положения с учебниками, как в истории, и в истории отечественной – особенно. Оно и понятно: «единственно верное учение», марксизм-ленинизм, которое пронизывало всю историческую науку в СССР как никакую другую (за исключением, может быть, философии и экономики – но эти науки в средней школе не преподавались), – это учение полностью себя дискредитировало. Коммунистическая партия, чья история не только выделялась в особый предмет, но и определяла своим содержанием всю историю Советского государства в целом, – эта партия была ошельмована и запрещена... Если в первые перестроечные годы ещё сохранялась иллюзия, что положение дел в учебной литературе по истории можно спасти косметическими «усовершенствованиями» и усиленной редакторской правкой, то после событий 1991 года – неудавшегося путча, роспуска КПСС, окончательного распада Советского Союза – стало очевидно: старые учебники переделать на новый лад невозможно. Необходимо писать новые. Принципиально новые...

Писать их, между тем, было некому... Поначалу, во всяком случае. Подавляющее большинство советских академиков, писавших учебники по истории, к новым условиям приспособиться не смогли – все они были в летах, все они очень долго держали монополию на авторство в своих руках, все они привыкли десятилетиями повторять одно и то же до такой степени, что искусственная схема, очевидно, выросла в их сознание крепко-накрепко. Слишком многое нужно было в себе поломать, чтобы суметь соответствовать новой ситуа-

ции. (Единственное известное мне исключение – это как раз то самое, которое подтверждает правило. Издательство «Просвещение» до сих пор издает учебник по истории Отечества (то есть России), одним из соавторов которого является знаменитый академик Б.А. Рыбаков, скончавшийся в 2001 году в возрасте 93 лет. Им написаны главы по истории Киевской Руси – период в нашей истории во многих отношениях мифологический... Борис Александрович, сделавший в советское время блестящую карьеру, сам был человеком, порождавшим мифы: предельно ярким, очень своеобразным и невероятно сильным – и физически, и энергетически. Такие люди никогда ни в какую схему не укладываются; они на любой, самый жесткий постулат накладывают отпечаток своей мощной личности. И сами научные взгляды Б.А. Рыбакова, и те средства, с помощью которых он их отстаивал, нередко повергали его коллег в состояние шока. Но в одном сомневаться не приходится: во всём, что писал Б.А. Рыбаков, его, Рыбакова, было гораздо больше, чем марксизма-ленинизма. Если учесть, что писал он при этом тоже по-своему, с редкой для советских историков живостью и выразительностью, то не удивительно, что его учебник, написанный, в основном, ещё в советские времена, пережил автора. Случай, повторяю, уникальный.)

Итак, писать стало некому... Как, наверное, всегда и повсюду, исчезновение из учебной литературы авторов-монополистов – почти всех и сразу – привело к образованию здесь зияющей лакуны. Дефицит учебников был настолько значителен, что какое-то время в старших классах по наиболее проблемной из всех истории Советского Союза многие учителя использовали литературу не совсем – а иной раз и совсем для этого неподходящую. Например, «Наше отечество» – знаменитый в начале 1990-х годов «черный двухтомник», представлявший собой, скорее, сборник перестроечных публицистических статей и очерков антисоветской направленности, чем учебное пособие. Или переводную «Историю Советского государства» французского историка Н. Верта – книгу серьезную и умную, но совершенно не приспособленную для того, чтобы по ней изучали историю в постсоветской средней школе.

В эту пору, когда инфляция грозила принять обвальный характер, цены ползли вверх чуть ли не каждый день, тем же учителям месяцами не выплачивали зарплату – в эту пору государству было не до учебников по истории (и слава Богу, по-моему). Зато этим делом всерьез заинтересовались издатели... Ведь недаром мы, наконец, «вступили в рыночные отношения». Грандиозные по объему выпускавшейся литературы советские издательства, представлявшие собой так же, как и многие их авторы, монополистов, между которыми власть распределила сферы деятельности, – «Художественная литература», «Политиздат», «Советский писатель» и другие – эти издательства или обрушивались со страшным грохотом или сдавали свои позиции, мучительно приспособляясь к новым условиям. В то же время возникло великое множество новых частных издательств, которые вели между собой и со старыми, чудом выжившими издательствами отчаянную конкурентную борьбу. Подавляющее большинство из них, как и положено в этой ситуации, разорвались; немногие устояли и пошли в рост.

В подобных условиях учебная литература, «обреченная» на огромные, многомиллионные тиражи, представляла для коммерсантов-издателей чуть ли не самый лакомый кусок... Характерно, кстати, что «Просвещение» было, наверное, единственным советским издательством, которое устояло и в новых условиях рынка. Опытные, умелые редакторы, неглупое руководство, налаженные связи по сбыту продукции – всё это обычно было и в других советских издательствах, но – не спасало от крушения. У «Просвещения» же, помимо всего прочего, были гарантированные тиражи, то есть гарантированные доходы... Не удивительно, что издательство относительно благополучно, без особых потрясений пережило крах социалистических отношений и вошло в рыночные. В то же время пришлось потесниться и ему: монополия «Просвещения» на издание учебной литературы была нарушена, появились конкуренты. В настоящее время существует уже целый ряд издательств, издающих однотипную продукцию – учебную литературу для началь-

ной и средней школы. Насколько я могу судить – как потребитель этой литературы, с одной стороны, и как автор, с другой – наиболее мощными из них являются «Дрофа» и «Русское слово» (особенно первое)*.

В начале 1990-х годов на нашего брата, потенциального автора учебника по истории, началась настоящая охота: спрос в этой сфере тогда явно превышал предложение. Это объяснялось прежде всего тем, что в условиях полного идейного и почти полного хозяйственного развала, когда почва, казалось, уходила из-под ног, осилить это трудоемкое и сложное дело, начав его буквально с нуля, было совсем нелегко. Особенно при условии постоянных поисков дополнительных источников существования (напомню, что в то время официальная зарплата доцента Московского университета колебалась от 10 до 15 долларов в месяц). К тому же коммерческие перспективы этого предприятия, сейчас очевидные, тогда представлялись совсем неясными, более того, сомнительными. Тогда наша братия искала что-то более конкретное и позволявшее получить средства к существованию побыстрее, по возможности сразу. Элита со связями или те, кто повезучей, улавливали гранты – прежде всего зарубежные; прочие – работали (и, как правило, продолжают до сих пор) по совместительству на нескольких работах, преподавали на различных подготовительных курсах, занимались репетиторством и тому подобное. Всё это отнимало массу времени и сил. Я, помнится, одно время работал в восьми местах, получая за свои труды на одних курсах 15 долларов в месяц, на других – 10 и так далее... Если те времена нельзя назвать героическими, то романтическими они были несомненно. Работать над рукописями приходилось, волей-неволей, в стиле Э.Т.А. Гофмана, который, как известно, писал исключительно по ночам... В подобных условиях, когда всё время пожирали заработки и силы были постоянно на исходе, сидеть за такой фундаментальный труд, как учебник, было конечно не легко. Авторы приходилось разыскивать... Только

* Сейчас, в 2005 году, соотношение между ними все больше меняется в пользу «Русского слова».

этим можно объяснить тот факт, например, что двум очень скромным доцентам Московского университета, мне и Ю.А. Щетинову, не имевшим ни связей в верхах, ни серьезных покровителей, в 1995 году было предложено издательством «Просвещение» написать учебник по истории России конца XIX – начала XX веков. Непосредственным толчком к этому предложению, насколько я мог судить, стало наше совместно написанное небольшое пособие по русской истории* – по-моему, чуть ли не первое издание в этой области, написанное нормальным человеческим языком и с ясно выраженным стремлением не пропагандировать отвлечённые постулаты и не опровергать их, а выявить и объяснить причинно-следственные связи, из которых состоит исторический процесс. При том отсутствии товара, которое тогда определяло «рынок авторов», эти качества нашей работы, очевидно, и привлекли работников издательства. (Характерно, что через месяц-другой после заключения договора с «Просвещением» мне позвонили из «Дрофы» с аналогичным предложением.)

Положение в этой сфере стало меняться в последнее время. Штаты «своих» авторов издательствами в основном подобраны. Лакуна в целом ликвидирована. (Хотя внутри издательств периодически возникают конфликтные ситуации, которые приводят к «смене караула»; вызываются они, как правило, практикой, принятой некоторыми особо предприимчивыми авторами учебников, – в нарушение договора издавать одни и те же тексты в нескольких издательствах сразу. Дело это, конечно, подсудное, но судиться у нас большинство нормальных людей, какое бы положение они ни занимали, не любят – уж больно это дело в наших условиях долгое, хлопотное, скандальное и, главное, с совершенно непредсказуемым результатом. Нашкодившего автора, как правило, отчисляют из числа сотрудников издательства, подыскивая ему достойную замену.)

* «Ключ к русской истории». Кстати, третий наш соавтор, Н. С. Борисов, тоже совсем недавно издал учебник по русской истории.

Содержательная часть

Теперь о самом главном: о содержании учебников постсоветской эпохи. Надо сразу же сказать, что здесь великих свершений пока что не произошло, так же, впрочем, как и в других сферах творческого характера.

Общая установка всех сколько-нибудь творческих людей в Советском Союзе, включая даже тех, кто публиковал, что хотел, была: дайте нам свободу, и мы поразим весь мир дивными произведениями нашего пера. Несвобода, условия, диктуемые сверху, жесткие официальные рамки, ограничивавшие творческие возможности, – всё это, видите ли, мешало нам выразить свои глубокие мысли и яркие чувства... С начала 1990-х наступило время, небывалое в России, когда внешних ограничений в сфере творческого самовыражения почти совсем не осталось. Однако плоды это принесло, увы, небогатые...

В художественной литературе или, например, в киноискусстве положение, по-моему, вообще катастрофическое – особенно если учесть, что при господстве тоталитарной идеологии в этих сферах постоянно – контрабандой или чудом – появлялись талантливейшие произведения. В той же сфере, о которой идёт речь в статье, сдвиги к лучшему всё-таки, на мой взгляд, произошли несомненные – возможно, потому, что точка отсчёта там находилась даже не на нулевой отметке, а в области отрицательных величин. Каких-то чудесных, особо выдающихся учебников по истории и здесь до сих пор не создано – и едва ли они появятся в ближайшее время. Но приличные – уже налицо. При этом, после того как за ненадобностью, не выдержав конкуренции, отсеялась масса случайных или неудачных произведений – еще недавно, во второй половине 1990-х, счёт учебников по тому или иному периоду истории велся буквально на десятки, – теперь, пожалуй, можно говорить о том, что средний уровень учебной литературы стал заметно выше, чем раньше.

А вот того, что, казалось бы, можно было ожидать при господстве рыночных отношений и сведения почти на нет диктата власти – разнообразия концепций и методических под-

ходов – этого, пожалуй что, и нет или почти нет. После того как в прошлое канули учебники, написанные с позиций «единственно верного» учения, а вслед за ними очень скоро исчезли и книги примитивно-опровергательного типа (выдержанные в духе перемены знаков «плюс» на «минус» и наоборот: большевики, например, были добрыми героями – стали кошмарными злодеями; либералы, которые раньше изображались как хитрые лицемеры, стали очень хорошими – почти как большевики в прежних учебниках, и тому подобное) – в современной литературе в целом восторжествовал подход к историческому материалу, который я охарактеризовал бы, как «обыденно-разумный», как подход с позиций здравого смысла. В основе этого подхода – анализ исторического материала во имя выяснения причинно-следственных связей: как и почему произошло то или иное событие, насколько оно было оправдано общим ходом исторического процесса, как повлияло на этот процесс в дальнейшем – ответы на эти вопросы составляют, пожалуй, главное «идейное основание» большинства современных учебников по истории России. Оценки исторических деятелей в этих учебниках, как правило, сдержанны и нейтральны – особенно это бросается в глаза при самом беглом сравнении современных учебников с советскими. При том же сравнении очевидной становится сдержанность и осторожность большинства современных авторов в отношении глобальных обобщений и конечных выводов – в то время как раньше, в советские времена, эти выводы и обобщения были определяющими; ради них, собственно, и писались учебники...

Разница между учебниками, написанными с подобных позиций, состоит, очевидно, прежде всего в том, насколько умело всё это сделано... Как бы то ни было, в школьных учебниках, наконец, стала проявляться индивидуальность автора – в стиле изложения, во внимании к тем или иным деталям, в отборе и компоновке исторического материала, наконец. Ну вот, например, сравнивая свой недавно написанный учебник по истории России XIX века с аналогичным учебником П.Н. Зырянова, я ясно вижу, что мой коллега

пишет колоритнее и, пожалуй, живее, чем я; у него больше внимания к конкретным историческим событиям, индивидуальные характеристики исторических деятелей у него выразительней – иной раз они вообще очень удачно выписаны; больше ярких деталей... Но на мой, естественно, предельно субъективный взгляд, – все эти несомненные достоинства имеют место быть в какой-то степени за счёт аналитической части учебника, за счёт выяснения некоторых общих понятий, таких, например, как разночинная интеллигенция или народничество. У меня учебник суше, аскетичнее – и скучнее, наверное, – но, как представляется мне, посодержательней в отношении выяснения исторических закономерностей. У меня, собственно, один герой – исторический процесс, чью судьбу в России я и пытаюсь выяснить.

У П.Н. Зырянова, при максимальной добросовестности и хорошем знании дела, своё представление о том, каким должен быть учебник по истории для средней школы; у меня – стремящегося быть столь же добросовестным – своё. Я могу ошибаться в своих оценках этих произведений – в данном случае это неважно. Важно то, что право оценивать и выбирать – учебник Зырянова, мой, ещё нескольких авторов – предоставлено учителям и учащимся... Я понимаю, насколько банально выглядит всё это в глазах читателя любой европейской страны; для нас же это – новость, к которой мы едва-едва начинаем привыкать.

Для полноты картины следует отметить, что кроме учебников подобного рода есть и другие, в которых просматриваются попытки найти принципиально новые подходы к обучению истории. «Цивилизационный» подход, в отношении которого у нас были ожесточенные споры несколько лет назад, – сейчас, по-моему, уже совсем утихшие – представляется мне надуманным в принципе. Во всяком случае, последовательное и дельное описание России как особой «локальной цивилизации», резко отличающейся от других цивилизаций – прежде всего европейской, – подобное описание пока никому не удалось, на уровне учебника во всяком случае. Даже в наиболее последовательном в этом отноше-

нии учебнике И.Н. Ионова «Российская цивилизация» рассуждения на эту тему, как мне кажется, носят несколько внешний, искусственный, так сказать, «обрамляющий» характер. Основное же содержание, посвященное непосредственно историческим событиям, ничем особенным не отличается от «обычных» учебников. Между тем эти рассуждения, нередко глубокие и интересные, очень усложняют восприятие произведения И.Н. Ионова в целом; чтение этой умной книги порождает впечатление, что писалась она явно не для школьников...

Несколько лет назад началась публикация своеобразных – для нашей страны, во всяком случае – учебников, написанных в рамках международного проекта «Уроки Клио». Эти учебники представляют собой подборку разнообразного исторического материала, сопровождаемую вопросами, которые, с точки зрения авторов, должны помочь школьникам самостоятельно осознать материал и сделать из него соответствующие выводы. Как дополнительное пособие подобные издания можно только приветствовать; как учебники в прямом и полном смысле этого слова они вызывают у меня, например, самые серьезные возражения, которые я, впрочем, за ограниченностью объема статьи оставляю при себе. Конечно, мои возражения – это моё личное дело; но, судя по тиражам, эти издания не пользуются особой популярностью в учительской среде. Возможно, потому, что отказываться от определяющего стержня, от более или менее чёткой концепции вообще не в наших традициях.

Перспективы

Повторюсь. Главное, что в распоряжении заинтересованных лиц есть теперь разные учебники, главное, что есть выбор. Характерно, что плюрализм в этой сфере ярко выразился в разнообразии названий учебников: «История России», «История Отечества», «Россия в XX веке»... В советскую эпоху, с её стремлением к полному единообразию, подобное по-

ложение дел было невозможно по определению. Лично мне это положение представляется близким к идеалу. Есть конкурирующие издательства, сотрудничающие с авторами постольку, поскольку эти авторы пишут учебники, имеющие спрос в школах. Некоторую анархию, неизбежно возникающую в подобной ситуации, достаточно разумно сдерживает Министерство общего и профессионального образования (аналог прежнего Министерства просвещения): отказавшись от роли назойливого, мелочного опекуна, оно оценивает конечную продукцию, пропуская учебники через ФЭС – Федеральный Экспертный Совет, состоящий, в основном, из учителей и специалистов-историков. Учебники, прошедшие ФЭС, получают соответствующий министерский гриф «Рекомендовано...», что, естественно, повышает спрос на них (для издания учебника гриф не обязателен). Чего же лучше?.. (Кстати, точно так же вопрос об учебниках решался в дореволюционной России конца XIX – начала XX веков.)

Хотелось бы надеяться, что подобное положение сохранится надолго – к хорошему быстро привыкаешь... Полной уверенности в этом, однако, нет. То, что в русле не утихающей в определенных сферах борьбы за «возрождение патриотизма», за выработку «единой и цельной» государственной идеологии в печати периодически появляются статьи, призывающие власть «навести порядок» в издании учебной литературы, взять это дело под свой жесткий контроль, – всё это в порядке вещей. Постольку, поскольку это всего лишь мнение. Чего только у нас сейчас не пишут... Решающей, естественно, является позиция самой власти.

Осенью 2001 года всех напугал премьер-министр М.М. Касьянов, выступивший с нелицеприятной критикой нашего брата – авторов учебников по истории. Испугала, впрочем, не столько критика, сколько конечный вывод, звучавший примерно так: в стране давно уже победили демократические ценности, а между тем издаётся множество учебников, среди которых есть и такие, в которых эта историческая победа замалчивается или ещё хуже – оспаривается. По этому в интересах демократии необходимо число учеб-

ников свести к минимуму, — лучше всего к цифре 1, — в котором этой демократии будет воздаваться должное...

Утешило — и утешает — лишь то, что внимание премьера привлекли исключительно учебники, посвященные отечественной истории последних десятилетий, а в них — исключительно один раздел. Последний. Тот самый, в котором давалась оценка деятельности самого премьера и его предшественников. Вот здесь и было усмотрено зло, с которым необходимо бороться. Изложение в различных учебниках всей остальной истории России — от призвания Рюрика до ухода Ельцина, — равно как и методика, отбор и подача материала — всё это премьера, судя по отсутствию критических замечаний, полностью удовлетворило...

Тем не менее министерство быстренько организовало официальный конкурс — отбор учебников по истории XX — начала XXI веков, который, впрочем, был проведен вполне либерально и без ненужных жестокостей. В сущности, пока что вся эта история явилась подтверждением хорошо известной истины: хочешь быть счастливым и богатым — не задевай власть имущих... В то же время она напомнила о том, что, для того чтобы понятие «демократия» вошло в плоть и кровь, стало само собой разумеющимся, как воздух, которым мы дышим, — нужны не годы, а десятилетия.

Отношение власти к вопросу об учебной литературе — и по истории, в первую очередь, — является, несомненно, важным критерием в оценке того, насколько эта демократия прижилась в стране. И мне сейчас сложно сказать, результатом чего является относительно благополучное положение в этой сфере в современной России, — то ли демократия у нас победила, то ли у власти руки пока что до учебной литературы не доходят за массой других дел, которые представляются ей значительно более важными. С удовольствием написал бы для вас ещё одну статью на эту тему — об учебниках. Лет эдак через 5–6. Что-то будет?

Содержание

Необходимое объяснение	5
Предисловие	7

В ЗЕРКАЛЕ МИФА

Миф как средство	11
Как попасть в Зурбаган, или Побег с вертикали	45
Последняя заставка (<i>Фильмы Марлена Хуциева как источник для изучения исчезающей ментальности</i>)	93
Угол преломления (<i>Русский предприниматель в зеркале художественной литературы</i>)	117
Роман с «феноменами» (<i>Е. П. Блаватская и Вс. С. Соловьев</i>) ..	135

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Воспитание наследника	173
Карамзин против Сперанского	191
Образцовый государь	213
Крестная ноша	245
Конец реформатора	271
Государственное устройство дореволюционной России: реформы и статика	293
Генерал-губернаторства в России	321
Самоуправление в контексте самовластья	337
Кризис власти глазами деятелей политического сыска ...	349

УЧЕНАЯ РЕСПУБЛИКА

Т. Н. Грановский: «...Мы стали на пороге Европы наблюдателями...»	359
«Умиритель студентов»	375
«Ученая республика» в условиях вечной мерзлоты	395
М. Г. Седов: кафедральные уроки	417

ПРИЛОЖЕНИЕ

Учебник для России	439
--------------------------	-----

Андрей Анатольевич Левандовский

ПОБЕГ С ВЕРТИКАЛИ

Исторические очерки. Эссе.

Воспоминания

Проект С. А. Биговчего

Художник А. Г. Стройло

Технический редактор Л. В. Пошечева
Компьютерная верстка С. В. Лазаренковой
Корректор Т. П. Николаева

Лицензия ИД № 02036 от 13.06.2000 г.

Подписано в печать 07.02.2005.

Формат 84х108¹/₃₂. Печать офсетная.

Гарнитура JournalC. Объем 23,94 усл. п. л.

Заказ № 2230. Тираж 1200.

ГП ПО «Псковская областная типография»
г. Псков, Рижский пр., 17
e-mail: print@obltyp.pskov.ru



Андрей Анатольевич Левандовский,
кандидат исторических наук,
доцент исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова,
автор книги «Железный век»,
учебников по истории России XIX в.,
многочисленных публикаций.

Настоящий сборник включает исторические исследования, в которых исключительное знание материала и любовь к «предмету» сочетаются с прекрасным литературным языком, что превращает документальные очерки в художественную литературу и делает их доступными любому читателю, в большей или меньшей мере интересующемуся историей. Читатель также найдет в сборнике очерки, достойные пера литературоведа и кинокритика, а также статью о положении дел с учебной исторической литературой в современной России.



